

ЗАРУБЕЖНЫЕ *za·za* ЗАДВОРКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

/ № 5 / октябрь 2013

<i>Ян Паул Хинрихс</i>	3	ВОСПОМИНАНИЯ О «СЕНЬОРЕ ВАЛЕРИО»
<i>Каринэ Арутюнова</i>	29	СНЕГ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
<i>Виктор Хатеновский</i>	43	СТУЧИТСЯ НОЧЬ В ОКОННОЕ СТЕКЛО...
<i>Валерий Бочков</i>	48	НИКОТИН
<i>Марина Немарская</i>	58	РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕКАБРЬ ВОЛШЕБНО НЕВЕСОМ
<i>Дмитрий Козлов</i>	61	МЫШЬ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
<i>Радислав Власенко-Гуслин</i>	98	В ФИОЛЕТОВЫЙ РАЗ...
<i>Владимир Алейников</i>	105	ЛЮДИ И КНИГИ
<i>Ольга Шенфельд</i>	126	ВОТ ТАК РОЖДАЮТСЯ НЕВИННЫЕ СЛОВА...
<i>Георгий Тарасов</i>	130	МОТОБОТ
<i>Геннадий Миравов</i>	145	РУЖЬЕ
<i>Сергей Сутулов-Катеринич</i>	150	...ИЗОТОП ИЗУМЛЁННОГО ВРЕМЕНИ
<i>Петр Епифанов</i>	161	ЛУНА НАД УЛИЦЕЙ МОНТЕОЛИВЬЕТО
<i>Дмитрий Ларионов</i>	193	Я СОСТОЯЛСЯ НА ЗЕМЛЕ
<i>Татьяна Шереметева</i>	196	«MAITRESSE EN TITRE» ИЛИ ЛЮБИМАЯ ФАВОРИТКА КОРОЛЯ
<i>Надя Делаланд</i>	223	МОЛЧАНИЕ МОЯ СТИХИЯ
<i>Роман Михеенков</i>	230	ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА
<i>Тимур Раджабов</i>	233	ИСКАТЬ В ОСЕННЕЙ ГЛУХОТЕ...



Дюссельдорф
2013

Расширяется горизонт.

Появляются новые имена.

Приходят на огонек классики.

Делаются открытия — так или иначе, делаются они вполне естественно: и дебютанты, и мастера показывают на страницах За-За свое НОВОЕ.

Новое — значит своеобразное. Уникальное — принадлежащее лишь единственному.

Одно биеение единственного сердца вмещает сразу чувства многих.

Журнал представляет читателю пятый номер, и в этом номере вас ждут и открытия, и радость узнавания, и внутренние споры и несогласия, и обретение родной души. Журнал всегда — спектр имен, и мы предоставляем нашим читателям возможность выбора СВОЕГО искусства, что прозвучит с вашим сердцем в унисон.

Авторская география расширяется; впрочем, еще в электронном варианте За-За можно было наблюдать пишущих по-русски авторов со всех концов света. Мы не теряем своих традиций. Мы представляем вам русскую литературу вселенного масштаба.

Каждый номер журнала — писательская лодка, ладья искусств, со своим экипажем; она плывет в неизвестное, перед ней океан современности и далекие берега истории. В добрый путь, № 5 За-За!

Елена КРЮКОВА

*В продолжение темы, начатой в предыдущем номере —
«К столетию со дня рождения Валерия Перелешина»
мы публикуем мемуары Яна Паула Хинрихса
в переводе Евгения Витковского.*

Ян Паул ХИНРИХС



Photograph / Copyright Willemien Timmers, 2013

Ян Паул Хинрихс (Jan Paul Hinrichs; род. Гаара, 1956 г.) — нидерландский славист, доктор наук, работающий в Лейденском университете. Автор многочисленных книг по русской и болгарской литературе и по истории славистики, вышедших на английском, немецком и нидерландском языках, среди которых «Verbannte Muse. Zehn Essays über Russische Lyriker der Emigration» (München, 1992), «In search of another St Petersburg: Venice in Russian poetry (1823-1997)» (München, 1997), «Nicolaas van Wijk (1880-1941): Slavist, linguist, philanthropist» (Amsterdam-New York, 2006). На украинском языке были изданы переводы его книг «Лемберг — Lwów — Львов — фатальный город» (Киев, 2010) и «Миф Одессы» (Киев, 2011). Его воспоминания о Валерии Перелешине были опубликованы на нидерландском языке под названием «Senhor Valério» (Nijmegen, 2011). В юбилейный Перелешинский год — год столетия поэта Воспоминания о «сеньоре Валерио» Яна Паула Хинрихса впервые публикуются на русском языке.

Уникальные по знанию, чувству, мысли воспоминания о том, как поэт Валерий Перелешин переходил по узкому радужному мосту из жизни — через смерть — в бессмертие.

Елена Крюкова

ВОСПОМИНАНИЯ О «СЕНЬОРЕ ВАЛЕРИО»

Что наша жизнь? Лишь облаков паренье.
Что наша встреча? Мнимый их союз.
Нас разлучит короткое мгновенье,
Причуда бури, несогласье муз.

Валерий Перелешин

Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как я видел его последний раз: больной, почти слепой калека, обложенный памперсами, он сидел в инвалидной коляске в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Последний раз он возвращался из зарубежной поездки в свою страну — в Бразилию. И хотя некогда он жил в России и в Китае, нельзя с уверенностью сказать, что он много путешествовал. Десятилетиями он безвыездно жил в Бразилии, покинув ее лишь четыре раза. Один раз он посетил Соединенные Штаты Америки, еще раз — Францию. В конце жизни он дважды совершил путешествие в Нидерланды. Нашу страну он назвал в одном из стихотворений «четвертой родиной»: *«Трем родинам я честно послужил, — / Не станет ли Голландия четвертой?»* Он был настроен весьма скептически — и закончил фразу вопросительным знаком.

То, что связывает меня с Перелешиним, стало стопкой бумаги: переводы его стихотворений на нидерландский, русские издания его воспоминаний о Китае и его созданные в Китае стихи, каталог выставки в Лейдене, посвященной ему и его творчеству, каталог его Лейденского архива, фотографии, множество писем и статей на всех языках. Лейденский университет, помимо этого, хранит официальные документы, связавшие Перелешина и меня единой судьбой.

Если начать размышлять, какими путями сошлись эти документы с самых разных сторон в единое целое, может показаться, что это произошло по некоему единому плану. На самом же деле лишь ряд случайных событий выстроился здесь в единое целое. Самые разные люди, никогда не имевшие дела друг с другом, благодаря Перелешину вступили в контакт друг с другом; это длилось долгое время, и связи между ними за долгое время не ослабели. Однако — случилось именно так, и теперь, более чем через тридцать лет после первого появления Перелешина в моей жизни, становится ясно, что всё было не случайно.

Моя «история с Перелешиним» началась ранним летом 1978 года.

«Не забудь», — сказал профессор Карел ван хет Реве, когда отделился от компании в пабе Баррера на берегу канала в Лейдене, куда после лекций со студентами заходил выпить кампари, — «не звони мне вечером, если я смотрю боевик». Я тогда был студентом третьего курса славянских языков и считал, что половина десятого — время не позднее. Ван хет Реве, позвонив жене по телефону, раздобыл по имени и фамилии адрес русского, — этот адрес был у него в пабе под рукой, наготове. «Это Садовое кольцо, — пояснил он, — в центре Москвы, наверное, легко будет найти. Вы поблагодарите его за присланную книгу и поищите что-то стоящее для него взамен. Конечно, у этого человека нет ни одной голландской книги». Могу сознаться, что нашел в шкафу у родителей старые сборники П. К. Баутенса и Алберта Вервея, мне разрешили взять их с собой. Он одобрил это. «Удачи», — сказал профессор с невозмутимым видом, как он часто говорил, провожая студентов, которые собирались ехать на Восток.

С двумя однокашниками, которые так же, как я, впервые были в Москве, всего через несколько дней я стоял в огромном дворе на Садовом кольце. Мы вошли; там громоздились дома казарменного вида по четыре-пять этажей высотой. Шел мягкий дождь. Кто-то выгуливал пуделя между жалкими деревьями, но все как-то сливалось воедино. Дверь на лестницу, по которой мы должны были подняться, висела на петлях. Окна пролетов были открыты. Нам пришлось подняться на четвертый этаж. После звонка в квартиру кто-то несколько недоверчиво выглянул из нее: «Здравствуйте! Кто там? Кто там?» Один из нас решился сказать по-голландски «Holland!», после чего повторил по-русски: «Голландия!»

Дверь открылась, и молодой человек окинул нас ироническим взглядом, улыбаясь и как будто желая этим сказать, что он знал о нас, что он ожидал нашего визита.

В первую очередь Евгений Витковский — а это был он — попросил, чтобы мы записали имена гостей — иначе говоря, наши — на бумаге. Он вынул из шкафа три книги и надписал каждый экземпляр; это была антология «Из современной поэзии Нидерландов», составленная им и вышедшая в Москве в 1977 году. Несомненно, это была та самая книга, которую он послал профессору ван хет Реве. «Человек не должен бы особенно бояться», сказал ван хет Реве о Витковском, — «в противном случае он не отправил бы книгу в Амстердам».

Это были времена «холодной войны». Ван хет Реве, профессор славистики в университете Лейдена в Нидерландах, был известен как яростный борец с советским режимом и как человек, близко связанный с видными российскими диссидентами. Он был также одним из основателей Фонда Александра Герцена в Амстердаме, делал все для издания диссидентов на русском языке. Он был аккредитован в 1960-х годах как корреспондент газеты *Het Parool* в Москве, но времена изменились, и визу в Советский Союз в 1978 году, он, само собой, уже не мог получить. Вероятно, Витковский отправил книгу ему в Амстердам по собственной инициативе.

Витковский, высокий длинноволосый шатен с заразительно блестящими глазами, быстро и без особой придирчивости подверг испытанию наши знания русского языка. Он особенно не заботился, могут ли гости понять все, о чем идет речь. Он беседовал с нами, стараясь извлечь пользу из разговора. Во всяком случае, мы понимали достаточно, чтобы произвести впечатление энтузиазма и знаний, касающихся голландской поэзии XVII века. Случись такой семинар в Нидерландах, могло оказаться, что речь идет о чем-то никому не известном.

Позже зашла речь о русской литературе. Мы сообщили с гордостью, что вместе с нашим профессором мы читали стихи поэта Иосифа Бродского, который за несколько лет до того эмигрировал на Запад и которого в Советском Союзе было запрещено публиковать. Против нашего ожидания, мы не получили комплимента. Зато мы услышали от Витковского панегирик поэзии Хеймана Дюлларт, поэта нашего Золотого Века.

Когда тишина перешла в монолог, Витковский встал и вынес из другой комнаты синюю книгу в простой типографской обложке. Она была отпечатана в 1976 году во Франкфурте-на-Майне, это был сборник стихотворений под названием «Ариэль»; автор ее был обозначен как Валерий Перелешин. Кроме того, хозяин дома показал нам «Архив» — коробку с надписью «Архив Перелешина». Это имя ничего нам не говорило. С веселой, но и гордой улыбкой Витковский сказал, что Перелешин, который на протяжении многих десятилетий оставался русским поэтом в таком необычном городе как Рио-де-Жанейро, жил почти одной только корреспонденцией, что почти все стихи в этом сборнике посвящены ему, москвичу. Он и был на самом деле тот самый Ариэль. Мы сочли, что эта история необыкновенна, и пообещали без шума привлечь внимание нашего профессора к Перелешину.

В ходе визита, который продолжался часа полтора, в доме было все время приятно тихо, соседние дома отгораживали нас от шума улицы, и телефон не звонил. Один раз, перейдя на шепот в разговоре, Витковский указал на стены. Нет сомнения, он всегда помнил, что его могут прослушивать.

В начале осени я поговорил с профессором ван хет Реве после семинара о Перелешине. Он не знал этого имени и занес его к себе в записную книжку. Но он не вернулся к этой теме.

Осенью я послал по почте записку, где поблагодарил Витковского за прием и книгу. Я закончил свое письмо с необыкновенной любезностью, уверял его в том, что если ему нужны какие-то материалы из Нидерландов, он их получит. Месяц спустя я получил заказное письмо, оклеенное чудовищно большими марками, от Витковского. Таким было начало обмена письмами, который затеял Витковский из-за необходимости в его делах, касающейся целого ряда фотокопий. Он работал над антологией поэзии голландского Золотого Века, но библиографии указывали на множество материалов, которые отсутствовали в библиотеках Москвы или вовсе были недоступны. В то время в Москве было практически невозможно сделать фотокопии. В итоге я узнал множество имен поэтов — с просьбой по возможности выбрать что-то на мой вкус для поэтического перевода, и сделать копии. Я посылал то, что мог найти, заказными письмами в Москву. В свою очередь Витковский посылал мне русские книги.

Я получил от Валерия Перелешина 15 мая 1979 года без предварительного уведомления из Рио-де-Жанейро «Ариэль», поэтический сборник, который ранее уже в Москве видел у Витковского. На книге стоял автограф специально для меня, написанный по старой, дореволюционной российской орфографии, с намеком на шекспировскую книгу сонетов: *«Иоанну-Павлу (имя-то какое, оно стало папским!), другу Жени Витковского (Женя — “the onlie begetter” этих и множества других сонетов), с радостью посылаю свою странную, но лучшую из всех моих книгу.»* Датировка и подпись отсутствовали, но отправитель указал свои координаты на обороте: «Мое имя и адрес: Sr. Valério F. Salatko-Petryshche, Rua Djalma Ulrich, 229, apto. 802, 22071 Rio de Janeiro, R.J., Brazil». Я сразу же поблагодарил отправителя за эту книгу, которую Перелешин послал мне явно по просьбе Витковского. В ответ на это я получил ответную благодарность, и письмо начиналось характерным обращением: *«Дорогой друг Иоанн-Павел»*. Он продолжил эти слова следующими: *«Ваше двойное имя теперь стало папским, причем папа Иоанн-Павел II — поляк, мой соотечественник. Я не католик, а Вам советую: станьте католиком! Это спасет Вас от протестантской самоуверенности — и от пресловутого гуманизма, то есть бездуховного материализма, ставящего себе целью устроиться на земле удобно — и без Бога»* (19.V.1979).

После этой преамбулы Перелешин рассказал, что необходимо внести некоторые разъяснения в смысле его предыдущей жизни, а также и его общения с Витковским. Перелешин писал, что он после российской гражданской войны жил в Китае. Я знал российских эмигрантов в Париже, но о других, к сожалению, я узнал тогда впервые. В эти дни российская эмигрантская литература не считалась серьезной темой даже в западной славистике — там, где я проходил мою профессиональную подготовку. В Советском же Союзе, при том, что письменные контакты были почти невозможны, Витковский установил связь с Перелешиним в 1971 году, едва достигнув двадцати лет, и интенсивно занялся изучением русской литературной жизни в Китае. В контексте тех лет, полных политических репрессий, это был смелый шаг для молодого человека, к тому же студента: находясь в Москве, он предпринял поиск контактов с представителями старой эмиграции. Перелешин считал, что его почтовая встреча с Витковским — *«чудо истории мировой литературы»*.

Контакты Перелешина с Витковским оказали влияние и на других литераторов: *«Через меня он связался и с другими поэтами и литературоведами Зарубежья. И мы все, русские поэты эмиграции, особенно ее первой волны (вскоре после 1918-го года), счастливы, что мы теперь «возвращаемся на родину своих предков».* Женя делает для нас

огромное дело. Теперь он и его друзья переписываются с десятком зарубежных поэтов и литературоведов, но первыми были Женя и я. Как это прекрасно, что Вы видели «архив Перелешина». Думаю, что есть и другие архивы: Иваска, Моршена, Елагина, Чиннова». Перелешин видел себя едва ли не первопроходцем: тем, кто открыл дорогу для молодых литераторов Москвы к старым поэтам русской эмиграции, которые жили за пределами своей родины на протяжении десятилетий.

Скромностью он не страдал. Он был целиком откровенен в своем одиночестве: «Боюсь, что Вас утомил. Извините. Пишите, когда захочется. Я здесь живу «под стеклянным колпаком»: письма — единственная отдушина. По почте я подружился с лучшими литературоведами, лучшими поэтами, по почте я нашел Женю».

Приветствие в ответ на следующее мое письмо было совершенно необычным, что и показали слова Перелешина: «Не называйте меня «уважаемым»: это советский жаргон. Еще недавно я выбрасывал письма, начинавшиеся этим обращением, в мусорную корзину. Для Вас делаю исключение, как для человека, еще только начавшего знакомство с русской (исключительно зарубежной, а не подсоветской) культуры. Больше ворчать не буду, но прошу называть меня «дорогим» или, если это Вам не нравится, то «многоуважаемым»» (4.VI.1979). В следующем письме Перелешин подчеркнул этот момент еще больше. Он решительно представил себя сторонником старой русской культуры: ««До революции обращение «уважаемый» было ироническим. И для нас, людей старой русской культуры, значит оно — меньше, чем уважаемый, то есть НЕ-уважаемый» (20.VI.1979).

Кем и чем чувствовал себя этот человек? Одиноким паяц, утешавшийся публикацией собственных стихов или сокровенный мастер, влюбленный в собственное творчество? Он был одним из пяти главных поэтов эмиграции, как сам он считал. Им возмущалась еврейская пресса эмиграции, которая — по его словам — незаслуженно превозносила поэзию Иосифа Бродского, — что возмущало его. Но он не мог не понимать, что география — расстояние до его местожительства, удаленность от Америки и Франции, работает против него.

После троекратного обмена письмами между Лейденом и Рио-де-Жанейро, мы потеряли связь друг с другом. От него приходили просьбы, которых я никоим образом не мог выполнить: заняться переводами разнообразных эмигрантских поэтов. Вскоре я на год был послан стажироваться в Болгарию, — и Перелешин, как и Витковский, казалось бы, навсегда исчезли с моего горизонта.

После окончания университета я на некоторое время оказался безработным. Не случись этого, я, возможно, не обратился бы к Перелешину, не прикоснулся бы к истории «Ариэля». Это было время, когда я превратил перевод российских и болгарских поэтов в свое кратковременное хобби. Творчество Перелешина не разочаровало меня. В этой поэзии, пронизанной как романтизмом, так и мрачностью холостяцкой жизни, я столкнулся с неизвестной мне ранее в стихии русского языка атмосферой. Ожесточенные страсть и интеллект сосуществовали здесь бок о бок, без напряжения. Весной 1982 года я написал Перелешину по его старому адресу и попросил разрешения опубликовать несколько переводов его стихотворений. Письмо возвратилось через несколько недель с печатью бразильской почты и пометкой, гласившей, что адресат выбыл в неизвестном направлении.

Год спустя я получил письмо от Витковского, с которым все годы, после моего отъезда в Болгарию, у меня тоже не было контактов. Письмо пришло на мой старый студенческий

адрес в Лейдене, где я некогда жил. Однако владелец дома добросовестно передал почту по адресу моих родителей в Гааге (и если бы он этого не сделал, вероятно, не было бы и всего этого продолжения!). Теперь я мог спросить у Витковского новый адрес Перелешина. Он тоже не мог назвать его точно, но он знал адрес его брата Виктора Салатко в Рио-де-Жанейро. По нему можно было попробовать отправить письмо. Вот так я с задержкой в год добрался до пожилого поэта. Перелешину было почти семьдесят, а мне — двадцать семь лет. Тем временем я подыскал временную работу в Лейденском университете и написал диссертацию, которая не имела ничего общего с русской поэзией. Только на досуге я мог заниматься этой темой.

Ответ Перелешина пришел из Дома для престарелых художников в Жакарепагуа, пригороде Рио-де-Жанейро. Он был обрадован моему интересу к его творчеству и дал карт-бланш для перевода его произведений на голландский язык. Он писал, что его жизнь переменилась: мать его умерла в 1980 году, и с 4 февраля 1983 года, в зеленом Жакарепагуа, он живет в частном трехкомнатном домике. Он также писал о Умберто Маркесе Пассосе, своем бразильском друге, вместе с которым он переводил произведения русских поэтов на португальский язык, о других мужчинах, с которыми у него сложились близкие отношения. Перелешин умел во всех отношениях наслаждаться жизнью. Судьба его хранила. Дом престарелых в Жакарепагуа был в ней конечной точкой: «Уйти отсюда мне просто будет некуда: пути отступления отрезаны. Брат делает вид, что обижен моим уходом, но думаю (и Умберто со мною согласен), что в глубине души он чувствует себя легче без моего присутствия». (21.III.1983).

Как раз в то время студент из Лейдена побывал с братом в Москве и привез мне экземпляр антологии Витковского «Из поэзии Нидерландов XVII века», которая была опубликована в 1983 году в Ленинграде. Витковский писал, что книга была бы без меня «несравненно беднее». Выяснилось, что многие представленные в антологии стихи принесли книге куда большую пользу, чем я мог подозревать. Все, что я посылал в Москву, пришло по адресу, работа дала плоды! Значит, отправляя пакеты, полные фотокопий, я не зря «бросал в море бутылки».

Была весна 1983 года. Именно тогда мы с моим сверстником по имени Пим ван Самбеек, — с ним мы в 1978 году посетили Витковского в Москве, — обзавелись серьезным хобби: мы основали собственное издательство «Фонарь» [«De Lantaarn»]. Книжки печатались на электрической пишущей машинке тиражом в 200-300 экземпляров. Для любительского предприятия они были весьма успешны, получив серьезные и всесторонние отзывы в национальной прессе. Максимальный успех выпал на нашу долю в 1982 году, когда трижды была переиздана моя брошюра с переводами стихотворений Владислава Ходасевича. Фотография разрушенного надгробия Ходасевича в Париже, сделанная мной, несколько раз позднее воспроизводилась в российских изданиях. Замечательно было то, что я открыл для себя имя Ходасевича, практически неизвестное на Западе среди славистов. Только много позже я понял, что в это же время тем же поэтом занимался и Витковский. Без всяких обсуждений совместных планов здесь наши интересы полностью совпали.

Возобновив переписку с Перелешиним, я между делом упомянул, что в «De Lantaarn» изданы книжечки бразильских поэтов Мануэла Бандейры и Жоана Кабрала де Мело Нето. Я послал их ему и получил такой ответ: *«Ну, вот и я размечтался: как было бы приятно увидеть такую же (по ее внешнему виду) книжечку с переводами избранных стихотво-*



Ян Паул Хинрихс и Пим ван Самбеек у прилавка с книгами их издательства «Де Лантаарн» (Амстердам, декабрь 1983 г.) — Photograph / Copyright by Yolanda Bloemen

рений Валерия Перелешина!» (21.III.1983). Старые книги Перелешина выпускались в Китае тиражами не более двух сотен экземпляров. Он обнаружил, что перепечатать их ему будет не в тягость: *«Сделаю это охотно, даже с великим удовольствием»* (28.III.1983). Старый поэт оказался полон жизни и энтузиазма. Именно тогда вместе с Умберто он был занят переводом тридцати пяти написанных по-английски сонетов Фернандо Пессоа — на португальский. Но на русском, на его родном языке, в Рио-де-Жанейро ему практически не с кем было говорить: его мать умерла, дом своего брата он покинул. Поэтому столь важны были для него корреспонденты, с которыми он мог общаться по-русски.

Перелешин стал мне писать два раза в неделю, и я столкнулся с проблемой: не будут ли мои ответы отставать от темпов переписки. Он переписывал вручную по старой орфографии тексты, уже отпечатанные на пишущей машинке, с использованием орфографии новой. Хотя у меня был выбор для перевода из числа его стихотворений, я уже не успевал прочитать всё, что он перепечатывал для меня. Тем не менее он делал намеки на то, каким хотел бы видеть буклет своих стихов. Перелешин переживал, что наш письменный контакт терял темпы, и даже гадал на картах: все ли письма пришли, не случилось ли еще чего-нибудь: *«Очень ждал Ваших писем, но не получал ничего. Сегодня даже загадывал*

по картам: всё ли благополучно? Пасьянс не сошелся, но затем я вытянул наугад одну карту: оказалась пятерка бубен. Это значит: всё в порядке» (10.V.1983).

Перелешин, кроме того, предложил еще одну идею: он хотел продать библиотеке Лейденского университета свое собрание редких книг и журналов, хранившихся у него. Он начал с составления списка книг, которые предлагал для продажи. Вскоре впервые зашла речь и о его собственном литературном архиве: он отбирал из него материалы для меня, надеясь, очевидно, что Университет приобретет их, предложив достойную цену.

Несколькими неделями позже он писал: *«Просто не верится, что наши Gedichten уже в наборе. От радости голова могла бы пойти кругом»* (20.VIII.1983). Для Перелешина эта публикация голландских переводов была важна, она открывала для него, как он написал, *«путь к международной известности»* (10.IX.1983). Внове для него было и то, что это издание происходило не по его собственной инициативе: до этого все книги, которые были опубликованы им или под его именем, оплачивались его матерью, принимавшей на себя типографские расходы. По сути дела, у него никогда не было подлинного издателя.

Книжечка Gedichten («Стихотворения», нид.) возымела неожиданный побочный эффект: Перелешин вдруг начал по частям отправку своего архива в Лейден. Он начал с писателей, которых больше не было в живых. Так что я внезапно стал получать на свой домашний адрес письма известных эмигрантских авторов: таких, как Георгий Адамович, Антонин Ладинский, Владимир Вейдле и Дмитрий Кленовский. Предполагалось, что эти письма поступят в библиотеку Университета Лейдена, хотя пересылка их и не шла напрямую. Поэт предполагал, что там по-прежнему зарабатывают деньги. Однажды, предполагал он, настанет время в Лейдене, и все, что лежит у меня, попадет туда: *«Да будет навеки благословен день и час Вашей встречи со мною... в Москве у Жени Витковского»* (3.X.1983). Но он хотел бы постепенно отправлять документы, сопровождая их своими комментариями. Я мог связаться с библиотекой Лейденского университета. Она была готова принять бумаги Перелешина в качестве подарка и взамен купить у него книги за разумную сумму. Голландский вице-консул в Рио-де-Жанейро по просьбе самой библиотеки согласился разделить материалы на десятки больших пакетов дипломатической почты, отправляемой в Нидерланды.

Таким образом более сотни писем Витковского — с которого началась вся эта эпопея — были переданы в наш архив. Здесь хранится также множество писем от Глеба Струве (свыше 700) и Юрия Иваска (около 600): двух профессоров из США, которые для Перелешина, вероятно, были главными корреспондентами. Перелешин также направил нам письма таких поэтов, как Николай Моршен и Иван Елагин, с которыми мне и самому довелось переписываться. Кроме писем, он прислал в Лейден фотографии, газетные вырезки и материалы, собранные его матерью. Она была журналисткой и сопровождала сына в их путешествии из Китая через Гонконг в Бразилию (ноябрь 1952 — январь 1953).

Перелешин считал, что его архив не будет востребован бразильскими учреждениями, причем именно потому, что он не видит причин для возникновения к нему в Бразилии хоть какого-то интереса: *«Мой друг Умберто требует, чтобы я передал свой архив кому-либо в Бразилии» (ведь я живу здесь уже три десятка лет). На это возражаю: никакого интереса к моей литературной работе никто в Бразилии не проявил; архив мой, попав в подвал или сарай при одном из университетов, скоро был бы съеден крысами, гигантскими тараканами «баратами» и молью... Было бы это страшно «патриотично», но, увы, совершенно напрасно. В Лейдене издана брошюрка о моем недо-стоинстве уже дважды, мои стихи читались по радио...»* (2.VIII.1985).

В январе 1986 года Перелешин впервые упомянул о своем новом проекте: публикации его писем к матери. Такое издание было принципиальным новшеством, и Перелешин посчитал необходимым описать тип будущей книги: *«Постепенно готовлю для Вас еще один сюрприз: переписываю мои письма к матери, начиная с детских 1926-го года. Сейчас заканчиваю переписку и комментирование писем 1936-го года из Дайрена. Дальше будет опять долгий перерыв: до 1939-го года, когда я переехал в Пекин и писал оттуда маме почти ежедневно. Там настоящая жизнь: это ведь не литературное произведение, а домашние письма сына к матери, очень откровенные, богатые подробностями. Перечитываю (дошел до двенадцатого письма) эти страницы и сам себе удивляюсь: сколько там жемчужных зерен! Вы получите оригиналы всех уцелевших писем и первую машинописную копию с комментариями. Сколько всего писем, не знаю (считать не хочется), но в них отражена вся моя жизнь того периода. Знаю, что будете довольны»* (17.1.1986).

В то же время Перелешина осенила идея слетать в Нидерланды, чтобы лично познакомиться со мной. Кроме того, он собирался предпринять поездку во Францию. Видимо, у него были деньги, чтобы заплатить за это. Но этот вопрос я попытался уладить: он не знал, что Лейденский университет намерен пригласить его. Таким образом, его билет на самолет и двухнедельное пребывание в Голландии оплатил Лейден. Поэтому он смог прибыть в нашу страну, и поэтому Перелешин появился здесь в мае 1986 года за счет средств университета Нидерландов: предполагались два его выступления и открытие выставки, которая была посвящена его архиву.

Перелешин появился в аэропорту, в ожидании багажа опираясь на руку стюардессы. Он тихо курил сигареты, ожидая чемодана: яркая трезвость ума тех, кто в жизни много раз сменял место жительства, однако не так уж много путешествовал между континентами. Таков он был: похожий на веретено, искривленный человек, с длинным, сильно морщинистым лицом, в очках, матовое стекло которых невольно увеличивало его глаза. Пе-



Валерий Перелешин, Ян Паул Хинрихс и Тео ван Линт (Лейден, май 1986 г.) — Photograph / Copyright by Pim van Sambeek

релешин заговорил с моей женой и элегантно поцеловал ей руку; в разговорах он был непрерывным источником разнообразных тем. Вскоре мы узнали, что он хромает. Он по-прежнему был полон энергии, хотя лестницы Международного Центра на Канале Раппенбурх, где ему отвели комнату, оказались слишком крутыми для него.

Поведение Перелешина был дружелюбно, вежливо и лаконично. Он курил много, но почти не пил. Иной раз он натикался на предметы, теряя равновесие, и выбрасывал руки вперед, ища опоры. Не совсем ясно, насколько слеп он был. Перелешин не носил ни зонтика, ни плаща. Я отдал ему свой плащ, потому что он довольно скоро стал мерзнуть: по бразильским меркам погода стояла холодная.

На следующий день после его прилета было организовано интервью с ним, которое провела журналистка и славистка Лаура Старинк в NRC Handelsblad, наиболее известной нидерландской ежедневной газете. Он высоко оценил организованную ему встречу, что следует из текста, появившегося несколько дней спустя в газете: «Китай оказался лишь одной из обсуждавшихся Валерием Перелешиним тем, которых мы коснулись во время нашего разговора. Он был очень счастлив также поговорить о Бразилии, о гостеприимных хозяевах и о нидерландском издании его стихотворений. Он не проявлял никаких следов усталости после длительного перелета из Рио-де-Жанейро. Свою речь он нередко прерывал по-молодому ярко звучащим смехом». Несмотря на плохое зрение и глухоту (сам он называл себя «обугленным поленом»), казалось, что в Лейдене он чувствует себя очень уверенно. Никогда ранее он не видел ни в какой газете столь обширной статьи, которая была бы ему посвящена. На тех же страницах размещены его очень удачные фотографии, и теперь в Лейдене люди иной раз узнавали его на улице.

Я ожидал, что Перелешин будет в общении гораздо более циничным. Дружелюбный Перелешин, которого мы видели, отнюдь не напоминал того Перелешина, образ которого можно было вывести из строк его писем. Пребывая в бразильской изоляции, он был совсем иным, и пишущая машинка делала его куда более горестным; мелочи перерастали для него в нечто несоответствующее по масштабам.



Валерий Перелешин перед мельницей «Де Валк» (Лейден, май 1986 г.) — Photograph / Copyright by Pim van Sambeek

Он был на открытии выставки *Поэт с тремя родинами* в библиотеке Университета, на которой был представлен материал из его архивов. В университете он прочел две лекции по литературной жизни в Харбине и Шанхае и об Арсении Несмелове. Он был гостем во многих местах, общаясь даже с людьми, дома у которых я сам никогда не был. Он наведался в национальный музей в Лейдене, — это был первый музей, который он посетил в жизни: он загипнотизированно смотрел на мумии и статуи. Моя жена и я позже побывали с ним в Гааге, Гауде и Маастрихте. *De Lantaarn* выступил с новым изданием его стихов, которые благодаря статье, в *NRC Handelsblad* пришлось снова переиздать. По случаю празднования очередного чтения в издательстве в Маастрихте имело место также библиофильское издание стихотворения в Gerards & Schreurs «Три родины» в сорока экземплярах. Когда после этого управление библиотекой дало в его честь обед в шикарном ресторане De Beukenhof в Угстеесте в предместье Лейдена, он сказал, не без насмешки над самим собой: «Я начинаю учиться вести себя как знаменитость».

В моей рабочей комнате в университете он внес исправления в текст своих мемуаров «*Два полустанка*». Теперь я увидел собственными глазами, как дисциплинированно он работал. Он не останавливался прежде, чем текст был окончательно готов к печати. В это время бесполезно было предлагать ему чашку кофе. «Так привык работать Перелешин», — сказал он со счастливой улыбкой.



Валерий Перелешин в Музее Древностей (Лейден, май 1986 г.) — Photograph / Copyright by Pim van Sambeek

Перелешин воспринял свое голландское путешествие как триумф. Он никогда не испытывал такой вещи — и больше никогда ничего подобного не увидел. Для многих могло показаться странным такое внимание, проявленное к Перелешину, ибо в Бразилии никто не знал его. Но он сам хорошо понимал, что он — русский поэт, и что известность в конечном счете принесут ему не переводы на голландский язык в Нидерландах, и не исследования славистов: его признает сама Россия.

Через две недели мы посадили Перелешина на самолет, улетающий в Париж. Толпа вокруг него была всегда настолько велика, что говорить с ним я мог лишь изредка. Он всегда отзывался с большим теплом об этих лейденских неделях, и писал: *«Основательный отрезок моего старого сердца остался в королевстве Нидерландском»* (2.VIII.1988).

Вскоре стало ясно, что Перелешин, благодаря поездке в Нидерланды, обрел некий новый импульс литературной карьеры. Его последняя книга, *Ариэль*, к тому времени была издана уже более десяти лет тому назад. В 1987 году были опубликованы в Амстердаме его мемуары, *«Два полустанка»*, в рукопись которых он вносил исправления непосредственно во время визита в Лейден. Я оплатил это издание и отправил по его просьбе примерно сорок экземпляров разным лицам во всем мире, от Австралии до Парагвая. Я получил много ответов, включая один из Австралии, в котором Михаил Волин угрожал мне через адвоката судебным процессом в связи с комментариями, которые сделал Перелешин о нем. В том же году в Париже был издан поэтический сборник Перелешина «Три родины». В дополнение к этому в Издательский дом в Холиоке, штат Массачусетс, Перелешин заказал издание еще двух поэтических книг. Видимо, он располагал некоторыми средствами для этого, — как и до сих пор, в умеренных пределах.

Темы наших контактов вращались в это время в основном вокруг практических дел, и прежде всего его архива. Перелешин рассказывал в письмах также о своей повседневной жизни, в которой присутствовали страсть к мужчинам, почта, обмен денег, ведущую же роль играли проблемы с книгоизданием. Он постоянно возвращался к своему архиву: *«Архив — весь целиком, без исключений, предназначается Лейденскому университету [...] Мой наследник по завещанию — Умберто — подтвердил на днях, что весь мой архив поможет переправить в Лейден»* (3.XI.1987). Он регулярно планировал новое объявление о своем завещании. Он то ссорился с Умберто, то говорил, что тот будет его наследником. Несколько раз он заявлял, что договорился с нотариусом, но так этого дела и не окончил: *«Мне всё еще не удастся сделать новое завещание. Мой прежний нотариус почему-то крайне занят»* (12.VIII.1988).

Перелешин писал мне о своей скуке, зачастую происходившей от того, что почта не приносила писем. Перелешин писал мне часто. Однажды он написал такое: *«Как Вы знаете, я буквально живу письмами»* (28.V.1985). В Бразильском доме престарелых, где он жил, с тоскою старости наблюдая смену времен года, даже его скука оснащалась неукротимой трудовой этикой: *«В пятницу я очень скучал: ждал писем хотя бы из Занзибара или с Огненной Земли. Убил время работой над переводом одного эпизода из «Сатирикона» Петрония (эпизода, который в «целомудренных» изданиях пропускается, хотя он не «хуже», чем многие другие страницы, на которых рассказывается о приключениях героев с женщинами) с латыни на английский язык, а затем и на португальский. Сегодня снял несколько ксерокопий и раздаю их всем, кто заслуживает. Даже одной женщине, хозяйке писчебумажного магазина поблизости, подарил один экземплярчик...»* (11.XII.1987).

Перелешин всегда спешил на почту: *«Сегодня суббота, надо было спешить, ибо в понедельник — день работника торговли, и всё будет мертво. Таких дней у нас хоть пруд пруди: на этой неделе был День Ребенка, на другой день — День Куклы, бывает и День Матери, и День Папаши, и День Влюбленных, и День Уборщика, и День Жулика (празднование которого — всеобщее)»* (17.X.1987).

Лучшими чертами Перелешина были его энтузиазм и безумная трудовая этика. Мне приходилось быть осторожным, прежде чем просить его о чем-то, ибо следовало помнить, что из простого вопроса он был способен воздвигнуть проект, отнимавший недели. После того, как я занялся собиранием русских стихотворений о Венеции, надеясь собрать их вместе и написать работу на эту тему, он принялся пересматривать буквально весь свой книжный шкаф на предмет изыскания в нем чего-либо о Венеции. После работы поступали доклады: неделю за неделей я получал сообщения о том, что он прочитал и о том, что он нашел, — однако и о том, что ни в каких книгах им ничего не найдено. Многие стихотворения, найденные Перелешиним, я отметил в монографии, посвященной этой теме, которую я опубликовал в Мюнхене в 1997 году. Перелешин был уже давно мертв, но все же я был очень рад, что смог поблагодарить его за помощь во введении к книге.

В 1988 году, в Нидерландах, я сблизился с Антони Крёнером, состоятельным человеком из Гааги, который хотел бы потратить кое-какие деньги на издание русских книг. Он делал это из любви к России, из интереса к ней, никак не ради заработка. Он просил меня стать редактором основанной им серии. Издатель жил в доме возле дорогого теннисного парка, владельцем которого он был, как я понял. Он был достойный человек, говоривший на хорошем и благородном русском языке, но плохо представлял, как книга делается и переплетается технически, и как книгу потом еще и продать. В итоге в издательстве Крёнера «Лёксенхофф» были опубликованы шесть книг, среди которых — собрания произведений парижских эмигрантов Юрия Мандельштама и Анны Присмановой, а также первое книжное издание романа Гайто Газданова «Полет». Тяжелые, переплетенные в картон и обтянутые льняным бордовым материалом книги издательства «Лёксенхофф» привлекли внимание и получили хорошие отзывы, они были замечены специалистами по славистике, ответственными за комплектовку университетских библиотек во всем мире, но оказались настолько дороги, что почти никто из частных покупателей не решился их приобрести.

В «Лёксенхоффе» возник и такой план: собрать под один переплет стихотворения, созданные Перелешиним в Китае: *Русский поэт в гостях у Китая 1920-1952*; это было представлено на титульном листе, название Перелешин сам выбрал для этой книги, составленной из того, что было создано им в основном в Харбине и издано небольшими сборниками, тиражом примерно в 200 экземплярах каждый, и которые уже почти нельзя было найти в библиотеках.

В это время Перелешину стала приходиться в голову мысль о том, чтобы вернуться. Он написал, что хочет обратиться в Советское консульство в Рио-де-Жанейро с заявлением о том, что хочет умереть на своей родине и с радостью принял бы помощь. Однако, по всей вероятности, до консульства он так и не добрался: *«До советского консульства я так и не добрался: выбрал неприятный день и приемный час. И больше идти туда не собираюсь. Временные поездки (такие, как в Роттердам и Лейден) остаются в программе, а для такого шага, как «возвращение на родину», я попросту слишком стар. Первая же зима под Москвой меня прикончит. Тридцать пять лет бразильского зноя — и вдруг прыжок в ледовитое море. Никуда я не двинусь — разве только на кладбище, когда вре-*

мя придет» (27.I.1989). И окончательно давал понять: «Если бы Вы устроили мне переезд в Голландию, я не стал бы и думать о Москве» (7.I.1989).

Ранее он говорил о планах поехать в Австралию и во Францию. Все эти уведомления об изменениях завещания и любых путешествиях преследовали одну цель: он взывал к моим чувствам, чтобы заставить сделать что-либо в его пользу. Я не мог предоставить Перелешину постоянное проживание в Нидерландах. Но он был приглашен по моему предложению для участия в фестивале в Роттердамском интернациональном фестивале поэзии в июне 1989 года, ибо дополнял собой картину русской поэзии. Были также приглашены Иосиф Бродский, Александр Кушнер, Евгений Рейн, Геннадий Айги и Белла Ахмадулина.

За несколько месяцев до своего прилета на Поэтический фестиваль Перелешин дал интервью голландскому журналисту Роланду Вонку. Он написал мне об этом: «Позавчера неожиданно пришел ко мне голландский журналист Роланд Вонк от роттердамской газеты «Свободный народ». Взял краткое интервью, но просмотрел в моем архиве всё, что Вы написали. И сделал выписки. Снова придет он в понедельник 13-го — чтобы сделать с меня снимок» (10.II.1989). За несколько дней до выступления Перелешина на фестивале появилось интервью в газете Het Vrije Volk, и потом, в сокращенном виде, во многих региональных газетах. Статья впервые описывала Улицу Приюта Художников, улицу, где жил Перелешин в своем домике для престарелых, как «богатую деревьями, красивой и очень чистой по бразильским понятиям». Описывался сделанный из кованого железа забор, за которым располагалась администрация: «Там висит указатель с ветхой дощечкой. Перелешин, как сообщает дежурный, дома. До большого здания рядом с общественной телефонной подстанцией — несколько шагов, а дальше — корпус 5. Перелешин живет в маленьком домике с синей гофрированной кровлей, и, по голландским стандартам, это скорее коттедж, чем дом в поселке для престарелых. Трижды молоточком я постучал в открытую дверь. Сам поэт явно не готовился к приему корреспондента. Осторожный взгляд внутрь выдает простой, беспорядочный интерьер. Распахнутый дорожный чемодан, стол завален желтыми свернутыми бумагами, ряды покосившихся книг на искривленных навесных полках. Постер на стене с портретом Перелешина: это с выставки, посвященной ему в 1986 году в библиотеке Лейденского университета».

Затем нечто происходит: где-то в коттедже к жизни пробуждается туалет. Еще раз стучу. Ничего. Но стучать дольше уже неловко. И вот человек приходит из глубины жилища в комнату. Немного кривое, загорелое до бурого цвета лицо с очками, в которых одно стекло кажется матовым. Он идет, не подавая виду, что слышал меня. Затем неожиданно видит мою тень. Он приближается, обращает на меня свой «хороший», зрячий глаз, смотрит на мое лицо с расстояния дюймов в десять и говорит на португальском языке: «Я знаю вас?»

Перелешин, видимо, был очень рад визиту голландского журналиста, статья которого оказалась одним из очень немногих всеобъемлющих описаний его окружения, в котором он пребывал сейчас в Жакарепагуа. Здесь обрисована атмосфера жизни почти слепого человека, страдающего от запрета курения, — врач поставил ему жесткий ультиматум, — и лишь с большим трудом ему удалось отыскать документы, которые требовались интервьюеру. Между тем по крыше хлещет проливной дождь: «Температура и влажность в коттедже душит и давит, как это всегда бывает во время летней бури. Между ударами грома то и дело сверкают небольшие молнии. Издалека звенят голоса детей, занятых игрой даже во время дождя». На вопрос — собирается ли он искать способ вернуться в Рос-

сию, поэт ответил, что первая же зима будет стоять ему жизни: «Я на протяжении тридцати пяти лет живу в Бразилии, я старый человек, и холодная Москва теперь не для меня».

Но поэт очень хорошо знал, что в конечном итоге он не должен ждать интереса к своей персоне от иностранцев: «Да, я привык учитывать внимание, проявляемое к поэзии русских беженцев, преимущественно в кругах профессоров-славистов и переводчиков, но только люди, которые живут в Москве, способны дать мне своего рода бессмертие. Конечно, я ценю интересы, проявляемые, к примеру, с бразильской, с американской, с голландской стороны, но эти читатели не могут определить моё отдаленное будущее. Если мы говорим о двух или трех поколениях, начиная от нынешнего, то мне следует стремиться привлечь внимание тех моих читателей, которые будут жить там, в Москве».

Журналист хотел узнать, откуда берутся у Перелешина доходы. Зашла речь о том, как могут стихи приносить деньги, но поэт сказал: «У меня есть три пенсии. В Бразилии очень маленькие пенсии, инфляцией и экономическими планами правительства сейчас, пожалуй, превращенные лишь в несколько сентаво. Кроме того, я получаю деньги от литературного фонда из Нью-Йорка. И есть американский миллионер, который поддерживает меня. Я учился в школе его жены в Харбине, а здесь, в Бразилии, я однажды получил письмо от нее, в котором она сказала, что я лучший русский поэт, но что музы редко кормят тех, кто о них заботится. С этого времени я ежемесячно получаю деньги».

В доме престарелых он завел несколько дружб. Перелешин отметил: «У меня есть друг, с которым я обмениваюсь марками. Но, видимо, придется отказаться от этого из-за моей слепоты. В действительности же здешнее большинство — женщины. В очень многих из них все еще преобладают земные инстинкты. Две даже пытались соблазнить меня, но, конечно, у них ничего не вышло».

Моя встреча с Перелешиним состоялась в аэропорте Схипхол утром 14 июня 1989 года. Сын директора фестиваля доставил нас в отель Centraal в Роттердаме. Еще не добравшись до своей комнаты, он уже начал, несмотря на преклонный возраст и проделанный утомительный путь, сразу же исправлять опечатки в книге *Русский поэт в гостях у Китая 1920-1952*. Слово, его слово, заставляло его забыть всё остальное.

У меня не было в то время возможности постоянно приезжать в Роттердам, не мог я быть там даже в вечер прибытия Перелешина в Нидерланды: у меня родилась младшая дочь. Когда я появился через два дня в отеле, то обнаружил, что выходящая в холл дверь Перелешина стоит открытой. Он лежал и спал на кровати, не снимая одежды. Его постель была испачкана, пол был завален мусором, все было в беспорядке, повсюду стоял невероятный запах нечистот. Менеджер отеля попросил меня заступиться: человек не мог оставаться в отеле в таком виде. Накануне его напоили, как и прочих русских поэтов, — среди которых был Евгений Рейн, — и он не смог сопротивляться. Теперь всё с ним было не так: он был глух, слеп, у него нестерпимо болели ноги, его мучила тесная городская обувь, ибо он привык к сандалиям или тапочкам у себя дома, — к тому же он страдал недержанием, и его штаны нужно было менять через каждые несколько часов. Директор Фестиваля временно договорился с помощью Роттердамского муниципалитета, чтобы для него выделили комнату в доме престарелых.

На следующий день Перелешин внезапно появился в фойе театра Де Дулен в новой синей рубашке, в легких летних брюках и великолепных черных лакированных ботинках. Казалось, что он переродился. Очень яркий, видный издалика, он стоял, опираясь на палку. Я представил его поэту Александру Кушнеру. Он беседовал и с другими россий-

скими участниками, среди которых была поэтесса Белла Ахмадулина. Он вел себя не высокомерно и не старался выделиться. Голландская поэтесса, которая также была медсестрой, сменяла каждые три часа его памперсы. Новую одежду он получил в доме престарелых, и мешок с запасной одеждой прибыл вместе с ним. Водитель сообщил, что Перелешин был очень популярен среди пансинеров дома престарелых, он повторял, что медсестры там — истинные *ангелы*. Мне вспомнилось, как в 1986 году он жил в международном центре в Лейдене, где экономка была совершенно очарована им, называвшим ее *Дона Ада*.

Двумя днями позже было его выступление. «Пожилой русский произвел фурор в поэзии интимными темами», озаглавила статью газета *Trouw* в обзоре, где мы читаем: «Любопытно было это видеть: на подиуме появляется полуслепой старик, который опирается на палку и читает нам вслух свои весьма интимные поэтические произведения». *De Haagsche Courant* блеснула заголовком: «Кристально чистая поэзия старого русского беженца»; газета так оценила это выступление: «Главным событием вечера оказалось нечто, после чего трудно было продолжать разговор: именно его стихи оказались такими. [...] Поэта почти пришлось почти уговорить встать в его инвалидной коляске за кафедру. И там он стоял, руина человека, но все еще с очень чистой головой. Три родины — и все больше тоски по дому. Все время он держал руку поднятой, держа в ней трость во время своего увлекательного чтения. Это было почти символом его поэтического труда. Он все время был в движении: перемещался по сцене, ковылял по ней. Классическая, простая поэзия, высокого уровня, остается уделом Перелешина. Не удивительно, что этот поэт стал в Нидерландах объектом неизвестного, но страстно исповедующего его культа.

В театре *De Doelen* Перелешина неудобно было выставлять на всеобщее обозрение в инвалидном кресле. Несколько раз он стоял всего в нескольких метрах от Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Поэты не были знакомы. Намерение познакомиться должно было исходить от Бродского: он должен был понимать, что Перелешин ничего не видит. Бродский, увидев Перелешина, хорошо понял, кто был этот старый человек с бантом, и странно и нервно ходил вокруг него. Но Бродский не заинтересовал Перелешина: я ни разу не слышал, что он спрашивал о присутствии Бродского.

После окончания и утверждения его кандидатуры у Перелешина состоялся разговор с Элко Бринкманом, в десять минут длиной: в ту ночь голландский министр культуры посетил фестиваль. Позднее в тот же день с поэтом провело беседу голландское телевидение; он открыл полотно, растянутое роттердамскими мусоровозами (!): на нем выстраивалась строка из его стихотворения «Поэт» (1944), с голландским переводом и русским текстом: «Нет пощады поэтам». Эмоции и сочувствие, казалось, повсеместно были обращены к Перелешину, но внимание других русских поэтов, с момента, когда Бродский появился в Роттердаме, не было больше приковано к нему.

За день до его отъезда я смог провести с ним еще целый день в доме престарелых. Мы запланировали на будущее, после его смерти, что он даст разрешение опубликовать подборку из более двухсот двадцати писем ко мне, и условились о названии: «Письма из Жак-карепауга». Он оставил автографы во всех неподписанных книгах, которые имелись у меня и касались его, и еще он записал стихотворение «Три родины» полным текстом на плакате с Лейденской выставки «Поэт с тремя родинками» от 1986 года. Я хотел, чтобы поэт выступил и на телевидении; но он, видимо, решил отказаться от этого. Он сидел на телестудии из вежливости. Когда он уехал, я подумал: какая жалость, что нельзя сделать так, чтобы богатые Нидерланды приютили у себя старого русского поэта. Неужели нель-

зя было дать ему приют в доме для престарелых вместо какой-нибудь дряхлой тетки из роттердамских трущоб?

Он снова был в аэропорту Схипхол, выставленный на всеобщее обозрение в инвалидном кресле. Учетчица багажа авиакомпании скептически оценила его внешний вид. Дама-блондинка решительно сказала, что авиакомпания должна сделать запрос разрешения у медицинской службы. Но в этот момент подошла бразильская стюардесса, ответственная за полет, которая допустила его к рейсу. Она сказала, что это очень хороший человек, с которым не будет сложностей, и взяла его под свое наблюдение. Затем пришел момент прощания: он взял мои руки и долго не отпускал их. Было ясно, что он предпочел бы не улетать. Фотографии, которые тогда были сделаны, позже оказались испорчены.

Перелешин беспокоился насчет своего прибытия в Рио-де-Жанейро. Там должно было быть поздно, а в свой дом он попасть не сможет; ворота закрывали в семь часов и выпускали бегать вокруг дома злых собак. Он надеялся уведомить администратора из аэропорта. В противном случае ему пришлось бы ночевать в отеле. Дом престарелых снабдил его целым чемоданом белья, рубашек и свитеров.

Однако в Рио-де-Жанейро у него был брат, которого он редко видел, но который мог появиться, когда возникала необходимость реальной помощи. Три года назад у него был друг Умберто, на которого тоже можно было рассчитывать, но он давно исчез из поля зрения. Перед его отъездом Перелешин сказал журналисту из *Het Vrije Volk*: «После смерти моей матери, в 1980 году, год я прожил с моим братом в Рио-де-Жанейро. Мой брат, я говорю вам, это лицемер и пьяница. Грубый человек. С подобным никто из вас не смог бы жить».

Вскоре после возвращения Перелешин внезапно назначил себе нового наследника: это был юрист Александр Кириллов, сын русских, который ранее знал Перелешина в Китае. В очередном письме Перелешин сделал несколько весьма ядовитых замечаний о Фестивале, куда был приглашена совершенно неверная группа поэтов. Почему не пригласили Евгения Витковского? Он казался физически плох, и его состояние быстро ухудшалось.

В августе 1989 года в Гааге, в издательстве «Лёксенхофф» дошла очередь до публикации книги *Русский поэт в гостях у Китая 1920-1952*, коллекции стихотворений Перелешина, написанных в Китае. Как я понял, это последняя книга, которая была отпечатана в столетней лейденской типографии Брилл. Далее книги заказывались в других местах.

Перелешину поездка в Роттердам дала понять, что он на самом деле больше не может путешествовать, но именно в это время он стал вновь думать о поездке в Россию, где теперь в журналах, таких как *Новый мир*, *Литературная Армения*, *Огонек* и *Литературная учеба* его работы стали публиковаться. Но он понимал, как тяжело было бы такое путешествие для него: «Иногда мне кажется, что никуда лететь не следует — из-за возраста (76) и телесной слабости. Но, с другой стороны, именно сейчас лучшее время для посещения первой родины» (6.IX.1989). После этого он уже не возвращался к идее такого путешествия.

Сеньор Валерио, как называли его старики в поселке для престарелых, почувствовал истинный триумф, когда получил первый экземпляр книги *Русский поэт в гостях у Китая 1920-1952*. В день ее получения он отослал мне наиболее ценные книги из своего собрания: книги с расписанным на них тройным посвящением, которые ему подарил крупнейший поэт русского Китая и Маньчжурии Арсений Несмелов. Ранее он писал мне: «Как Вам известно, на первых трех книгах сделан общий автограф, а на трех последних — отдельные надписи на каждой» (16.VI.1989). По его словам, антикварные книж-

ные магазины и коллекционеры на протяжении многих лет интересовались этими уникальными экземплярами. *«Чтобы отодвинуть предпринимателей и пиратов на должное расстояние, я определил цену уникального комплекта харбинских изданий Несмелова в двенадцать тысяч долларов»* (23.IX.1988).

Следующий день полностью пригласил восторги Перелешина. Он нашел несколько опечаток, хотя он признал, что обнаружил в почти одновременно опубликованном издании «Поэмы без предмета» под редакцией Симона Карлинского значительно больше ошибок: *«Я выписал все опечатки, искажения и пропуски, и они заняли три с лишним страницы»* (30.IX.1989). Заодно он обвинил «Лёксенхофф» в грубом капитализме, потому что издатель не отправляет шестьдесят пяти лицам, которых он назвал, бесплатные экземпляры. Но это были издательские расходы, а что эти расходы никогда не окупаются, он не думал. Он, очевидно, предполагал, что тираж книги является его собственностью и что он может им свободно распоряжаться. Но он забыл, что до этого все его книги, — за исключением мемуаров, которые оплатил я, — он финансировал сам, теперь же выплаты произвел издатель, и не всё можно раздавать бесплатно.

Потом обрушилось долгое молчание. Только через два месяца пришло письмо, вместо прежнего приветствия «Дорогой» оно начиналось — «Многоуважаемый г. Хинрихс», а далее следовало ворчание на все и вся. Месяц спустя я получил письмо почти нечитаемым почерком и прожженное сигаретами. Перелешин вновь бесконечно жаловался, и основные жалобы были снова на то, что он от Издательского дома «Лёксенхофф» получил слишком мало экземпляров книги. Он также вдруг стал требовать вернуть ему документы, ранее переданные в дар Лейденской библиотеке. Намного позже я понял, что одновременно в письмах, адресованных Витковскому и другим, он обвиняет меня в краже золотого креста. Он сочинил стихотворение об этой краже, но оно было отвергнуто журналами, в которые он его предложил. Я никогда не видел этот золотой крест и только услышал почти через двадцать лет об этой истории. Однако у меня крест оказался как личный подарок. Этот крест виден на фотографии Перелешина, еще бывшего монахом в Китае. И крест этот был простым нагрудным металлическим крестом.

Много месяцев я не имел контактов с Перелешиним. В 1990 году в Лейдене была издана моя книга «Изгнанные музы»; она содержит 15 эссе об изгнанных музах писателей русской эмиграции. Большая глава была посвящена Перелешину. Я послал ему экземпляр. Он написал мне дважды, как рад он был этой книге. Так на довольно дружественной ноте закончилась наша переписка. Его последнее письмо, начинающееся с обращения: «Дорогой Иоанн-Павел», было от 19 июня 1990 года. С тех пор я больше не писал ему. Я не слышал ничего больше о нем. Из Москвы несколько раз доходили слухи, что он умер, но они не подтверждались. В августе 1992 года Витковский написал, что он слышал, будто кто-то встретился с братом Перелешина в Америке. Брат сказал, что поэт жив, но что он больше никого не узнает. Далее следы терялись.

Это было осенью 1992 года. Известный и теперь синолог прибыла тогда из России, из Санкт-Петербурга в Лейденский университет. Я подошел к ней в зале библиотеки университета, где я работал. После разговора она обернулась и вроде бы вскользь сказала: «Перелешин умер». Это уже старые новости, добавила она. В тот же день я позвонил Витковскому. Это был первый и последний случай, когда я звонил ему из Нидерландов. Но и он ничего не знал об этом. Витковский воспринял новость довольно трезво. Настоящим сюрпризом смерть Перелешина не могла быть и для него.

Прежнее обещание Перелешина, что он все собирается завещать библиотеке университета Лейдена, кажется, уже ничего больше не стоило. Мало чем могло помочь голландское консульство в Рио-де-Жанейро. Сотрудник консульства по просьбе библиотеки позвонил «наследнику» Кириллову, но тот повел себя довольно неучтиво. Я написал от своего имени и получил дипломатический ответ: Кириллов введен в курс пожертвований, которые сделал Перелешин, но он также знает и о том, что имело место после переписки. Очевидно, он имел в виду гневные письма, так как осенью 1989 года Перелешин присылал именно такие. Но касательно брата Перелешина, Виктора Салатко, Кириллов написал, что он находился в это время в Рио-де-Жанейро и пересмотрел все документы. Сам он уходит в отпуск, но, после своего возвращения, в течение нескольких недель они готовы найти форму для соглашения. По-прежнему осталось неясно: действительно ли Кириллов стал наследником, или же завещание так и не было оформлено? Возможно, что Кириллов был всего лишь агентом наследника.

Я был по-прежнему заинтересован обстоятельствами смерти Перелешина, пусть даже я узнал бы об этом и от Кириллова. Конец его жизни должен был оказаться болезненным: «Вот что могу сообщить об обстоятельствах, которые привели к смерти Валерия Перелешина. Состояние его здоровья стало ухудшаться в 1990 году, и он был госпитализирован из дома престарелых, где проживал. В течение следующих двух лет его здоровье оставалось на одном уровне. В конце октября 1992 года он упал и сломал шейку бедра. Это стало основной причиной его смерти 7 ноября 1992 года. Другими причинами были пневмония и проблемы с дыханием. 9 ноября 1992 года он был похоронен на английском кладбище в Рио-де-Жанейро». Кроме этого, я ничего больше не услышал от Кириллова. Я также написал брату Перелешина, который возвратился во временно покинутые им Соединенные Штаты. Салатко ответил на английском языке, как и Кириллов: «Целью моей поездки в Рио было обеспечение того, чтобы пожелания г-на Валерия были исполнены, вот и все. Я не берусь судить о том, что правильно или неправильно. Это не играет роли». Мы ничего больше не смогли узнать в Лейдене.

После этого я похоронил идею создания полной перелешинской коллекции в Лейденской Университетской библиотеке, ограничившись одноразовыми попытками пополнения материалов в его фонде. Примерно пятидесяти людям во всем мире, у которых были какие-то отношения с ним, я послал письма за своей подписью, где говорил о том, что библиотека проявляет особый интерес ко всем материалам, имеющим какое-то отношение к Перелешину. Я советовал им подумать о том, чтобы драгоценные документы не были потеряны и остались доступными и для будущих поколений исследователей. Некоторые письма вернулись, отмеченные такими штемпелями, как «адресат отбыл» или «адресат скончался». Это было неудивительно, потому что очень часто письма отправлялись старым людям.

Это было весной 1993 года. Быстрый ответ пришел из Парижа от почти девяностолетней княгини Зинаиды Шаховской. Дрожащим почерком она написала, что два письма Перелешина хотела бы подарить. Когда я позвонил ей, она потребовала, чтобы я приехал сразу, потому что состояние ее здоровья было настолько катастрофическим, что в любой момент она могла проститься с жизнью.

Два дня спустя я взял билет на поезд до Парижа. Я должен был попасть в Шестнадцатый округ, в квартиру в величественном здании с блестящими мраморными лестницами и колоссальными дубовыми дверями. Княжна приветствовала меня с легким смехом.

ком, отнюдь не приветственным в отношении учреждения, которое я представлял: «А я-то ждала старую библиотечную крысу!» Они шаркала, с трудом передвигаясь по комнате, но острых заболеваний у нее практически нельзя было заметить. В отличие от почерка в полном порядке оказалась ее память. Я получил письма от Перелешина и купил за несколько сотен долларов еще и несколько писем, которые в свое время написали ей поэты Игорь Чиннов и Юрий Иваск. Она сказала, что хорошо знала также и Владимира Набокова. Но ничего не сказала о встрече, которая была у нее в 1986 году с Перелешиним в Париже.

Наиболее ценное пожертвование пришло от другой старой леди, от Дагмары Гинценберг из Латвии. Эта дама не значилась в списке людей, которых я разыскивал. Чудесным образом материалы как бы сами нашли путь ко мне: надпись на пакете, заказная печать, никакого сопроводительного письма: одни лишь имя и адрес отправителя. Внутри нашлось около сотни писем Перелешина к Аните Гинценберг, цветные фотографии Перелешина и некоторые очень редкие, отпечатанные в Китае русские книги.

Это было весной 1994 года. Дагмара, таким образом, будь она сестра или дочь Аниты, явно имела право на теплую благодарность. Случайно несколько дней спустя у меня имелся повод слетать на самолете в Таллин, чтобы принять участие в конгрессе. Следовательно, возник план, по которому я собрался пропутешествовать через Латвию в Литву для участия в Дне голландской культуры. Это включало возможность лично поблагодарить дарителей, ибо в субботу я прибывал в столицу Латвии, Ригу.

Дагмара жила в городе Гулбене. В Риге выяснилось, что автобусная поездка туда занимает четыре часа. Я решил рискнуть. Отъезд был утром, еще до начала завтрака в отеле «Латвия». После поездки через восточную часть Латвии, в зеленой сельской местности, проникнутой лютеранством, в час я приехал в Гулбене. Меньше чем за полтора часа я успел все: смог найти Дагмару, поблагодарить ее и возвратиться на автобусную станцию, иначе я бы не успел на последний автобус, уходящий обратно в Ригу.

Было очень жарко, пыльно, сады были полны цветов, но зато было очень тихо на улицах. Я нигде не мог раздобыть карту города. Люди, с которыми я говорил, не были особенно словоохотливы. Единственная информация была та, что улица Мира находится за железнодорожным переходом. Я шагал сельскими кварталами по полудеревенской улице и был наконец вознагражден, отыскав № 6, отдельно стоящий дом жертвовательницы. Я позвонил, и мне открыла женщина лет тридцати, но это была не Дагмара и не дочь Дагмары, хотя и была одним из трех жильцов этого дома. Женщина не так много знала о той, которая обитала под этой крышей. Впрочем, она знала, что соседка бывает на кладбище на могиле своей сестры, Аниты. Она сказала, что видят ее там регулярно. Женщина добавила: «Она скоро вернется».

Я посмотрел на часы: с момента моего прибытия в город прошло двадцать минут. Мне оставалось еще минут сорок пять, чтобы добраться от этого жилища и уехать с автобусной станции. В то время как женщина оставила меня в гостиной перед телевизором, любопытный маленький мальчик суетился вокруг и присматривал за кофе на кухне. Я решил остаться здесь на четверть часа. «Если она за это время не придет, — думал я, — пойду искать ее на кладбище». Когда же назначенный мной срок уже превысил три минуты, то женщина вернулась с сообщением, что потерянная Дагмара нашлась.

Женщина примерно восьмидесяти лет в темной одежде, шерстяных чулках и с забранными в пучок волосами была очень удивлена такому неожиданному приезду иностранца. Но она сразу поняла, кто я такой. У нее немного дрожали руки и волнение слышалось в ее голосе; она открыла дверь своей комнаты. Присев за стол, она успокоилась.

Дагмара, как выяснилось, никогда не была замужем, не имела ни семьи, ни собственного жилья и осталась совсем одна после смерти сестры Аниты. В 1950-х обе сестры переехали из Маньчжурии в Латвию. До выхода на пенсию они в Гулбене работали в швейной мастерской. Поэзия, как она рассказала, была их большой любовью на протяжении всей жизни. Свидетельство этой любви имелось в шкафу: разнообразная коллекция поэзии на русском и латышском языках и литературные журналы за многие годы. Но теперь не было больше денег на книги.

Выяснилось, что ее сестра Анита была поклонницей Перелешина в Китае, но что она никогда не говорила с ним. От латвийской подруги из Сан-Паулу, — которая тем временем уже все свои материалы в Лейден отправила, — она узнала, что библиотека собирает рукописи Перелешина. Тогда она приняла решение: наудачу весь материал своей сестры Аниты отправить в Лейден. Она и сама состарилась, а после ее смерти в Гулбене ничто не уцелеет. Почтовое отделение в Гулбене весьма перепугалось, когда получило для отправки заказной почтой рукописи. Началось сопротивление: «Мы не можем пересылать рукописи почтой, на это нет разрешения!» Но она добилась своего. Для меня утешение знать, сказала она, убедившись, что все прибыло к адресату. Она выбрасывала никому не нужные старые вещи. В комнате, и без того пустой, послышался ревнивый и аккуратный вздох облегчения человека, который прожил свою жизнь и готов умереть.

Я вручил ей официальное благодарственное письмо от библиотеки и наборы голландских сыров и конфет. Через полчаса я должен был вернуться в Ригу, где Дагмара не была уже много лет. На пути назад показалось, что автобус промелькнул мимо ее коттеджа, набирая скорость и оставляя облако пыли позади. Фигура женщины казалась тенью. Я видел ее словно сквозь витраж. Хотя, возможно она все еще там, где я покинул ее, окаменевшая как стела, давно уже не живая, будто бы лишь ненадолго появившаяся для иностранных посетителей кладбища.

Географически эта поездка показала мне окончательное запустение Балтийского региона. Ведь некогда это был еще один форпост русской эмиграции, в котором Дагмара, дочь российского русскоязычного латвийского пастора в Маньчжурии, оставалась последней частицей. В конце концов, в таком же положении находился в Бразилии и Перелешин. Он сидел в небольшом коттедже, ни с кем не мог говорить, ему оставалось вести переписку с другими больными, — пожалуй, он имел в виду Аниту Гинценберг в России, для которой письмо из Бразилии в Гулбене, вероятно, значило не меньше письма от нее. На самом деле у меня было чувство, что нигде я так не испытал чувств самого Перелешина, как в латвийской сельской местности, отличавшейся от той Бразилии, где жил поэт, — и где никогда не бывает карнавала.

Как долго прожила Дагмара — я пока не знаю. Кто ухаживает после её смерти за могилой ее сестры, как он делала каждый день, — я не знаю. Теперь я думаю, что для отправки пакета руководствовалась Дагмара какой-то частью мнения своей сестры, чтобы спасти её в вечности и придать ее жизни более или менее прочный смысл. И кажется, что сестрам удалось осуществить свои намерения. Хотя никто в большом русском мире не будет знать, кто такая Дагмара, но она занимает видное место в научном каталоге лейденской перелешинской коллекции.

Несколько лет я не слышал больше ничего больше о работах с проектами Перелешина. Но в начале 1994 года я получил записку от Ричарда Дэвиса, архивариуса Русского архива Лидса, известного как хранилище архивов Ивана Бунина: «Мне довелось запомнить Вас

во время недавнего визита в Институт мировой литературы в Москве. Мы прошли вверх по лестнице в архиве Института, и там я увидел большой металлический чемодан с бразильским адресом отправителя, и я сразу же догадался, что, когда я переступил порог архива, мне аккуратно дали знать, что чемодан содержит часть бумаг Перелешина. Это соответствовало действительности, и сотрудник архива был чрезвычайно рад возможности сообщить, что брат покойного организовал отгрузку рукописей в Москву».

В 1995 году я принимал участие в симпозиуме Московского лингвистического университета на конференции по голландско-русским контактам; Витковский там тоже появился. С момента первого разговора в 1978 году мы встречались друг с другом только раз, в Москве в 1988 году. Я воспользовался возможностью посетить Институт мировой литературы. Архивариуса не было на месте, но сотрудник показал мне несколько десятков ящиков, которые были доставлены из Бразилии нераспакованными, их нагромодили под лестницей. Столь большое количество ящиков удивило меня. Коробки за всё это время так и не были распакованы. Есть основания полагать, что не только перелешинский архив находился тут, но и его библиотека, не проданная в библиотеку Лейденского университета, как и его собственные нераспроданные авторские экземпляры, были отправлены в Москву. Трудно было себе представить, что все эти вещи помещались в небольшом домике поселка для престарелых в деревне Жакарепауга.

Тем временем я сам приступил к работе над каталогом лейденской коллекции материалов Перелешина. Я получил комнату в библиотеке, где я сделал эту работу за три года. В 1997 году вышел из печати английский каталог, а также первая монография о Перелешине. Наиболее важными из документов, хранящихся в Лейденском архиве, на мой взгляд, являются материалы, напрямую попавшие от Перелешина в Лейден: почти триста писем, посланных Перелешиним во время второй мировой войны из Пекина и Шанхая своей матери в Харбин, находившийся под оккупацией. Единую рукопись этих писем, под названием «Письма к матери», можно считать неопубликованной книгой Перелешина. Эти письма он отослал, вместе с переписанными на машинке версиями, десятками отправлений на мой домашний адрес в Лейдене. Некоторые конверты так никогда и не прибыли, но их текст уцелел в распечатках Перелешина в Жакарепауга. *«С ужасом прочел я список недошедших страниц «Писем к матери...». Отсутствует двадцать одна страница, да еще не совсем ясно, есть ли последние страницы. Мои копии — на тонкой бумаге, читать их трудно, а делать ксерокопии и вовсе безнадежно».* (22.VII.1988) Позже оказалось, что некоторые посланные письма он не включил в список неопубликованной машинописи, так что эта книга в авторской редакции так и не была завершена.

В то же время, пока я писал каталог, немецкий славист Томас Хаут подготовил отдельный выпуск несобранных и неопубликованных автобиографических статей Перелешина, которые хранятся в лейденской коллекции. Эта книга вышла в конце 1996 года: как шестой и последний взнос в культуру, сделанный под грифом серии издательства «Лёксенхофф». Это было время, когда Антони Крёнер, владелец издательского дома, вновь стал проявлять активность, но в другой области: он купил винодельческую ферму около Бордо, и теперь у его дома в теннисном парке в Гааге выстроен холодильный погреб для хранения бутылок. Но и на благотворительность он, как и прежде, хотел отдавать часть доходов, — в частности, мог профинансировать издание этой книги. Что он когда-либо задумывал, то осуществлял: слово мужчины — это слово мужчины! Но тираж составил всего сто экземпляров. Тем не менее на книгу появилось шесть отзывов в лучших журналах, посвященных славистике. (Позже к той же российской сфере Крёнер вернулся вновь и са-

мостоятельно написал на английском языке биографию белого генерала Врангеля, которая появилась в русском переводе в 2011 году в Москве).

С Томасом Хаутом случилось еще одно чудо, которое напоминает упомянутую выше историю, когда издатель из Гааги появился на сцене просто ниоткуда. Томас был женат на голландской славистке, ему захотелось заняться переводами нидерландской литературы на немецкий язык. Он ознакомился с хвалебной рецензией на мою голландскую книгу «Изгнанные музы» кёльнского слависта Вольфганга Казака. Он не знал меня, не читал отрецензированную книгу, но попросил дать разрешение на перевод моей книги. Он работал бесплатно, и не запросил никаких отчислений, когда появилось его издание неопубликованных мемуаров Перелешина. Перевод моей книги вышел в 1992 году в серии Вольфганга Казака, который тоже был поклонником поэзии Перелешина.

В ходе работы над каталогом мне написала из Чикаго Ли Мен, китайская славистка, написавшая диссертацию о литературе русских эмигрантов в Китае. Она вышла на меня, занимаясь материалами Перелешина, архив которого стал для нее главной темой, хотя и распределился теперь в основном между библиотеками в Москве и в Лейдене. Она провела исследования в Москве, оттуда прибыла на пять недель в Лейден. Время, отведенное на исследования, Ли Мэн распланировала строжайшим образом. Еще в Москве она успела получить письмо от меня, с адресом Витковского. Я направил ее к нему по тому самому адресу, который сам получил когда-то от профессора Ван хет Реве; тогда по нему в Москве я шел сам.

Ли Мэн сделала то же самое, что и Перелешин, когда он прибыл в Роттердам: чемодан она не распаковывала, но сразу пришла работать. Она устроилась в читальном зале и попросила выдать первые материалы. В дни, которые она провела в Лейдене, она приходила точно по часам и оставалась до закрытия. Она располагала полным текстом моего каталога коллекции, еще раз изучила его перед публикацией и указала мне на все еще никем не замеченные кое-какие опечатки.

В 2001 году, во время моей последней поездки в Москву, я взял с собой кассету с голосом Перелешина для Витковского. Записи были те самые, которые я сделал в 1986 году в Лейдене. Полные сдерживаемого жара стихотворения Перелешина, которые я любил, хотел слышать не только я. Как странно: везти в чемодане голос обратно в страну, в действительности знакомую автору лишь по самым ранним воспоминаниям. Перелешину было всего лет семь, когда он покинул Россию навсегда.

Это были времена, когда наши контакты перешли от писем на бумаге к письмам в компьютере. Наступила эпоха электронной почты. Теперь все могли видеть, что мир значительно изменился: ушло время «холодной войны», когда отправленное в Москву заказное письмо вовсе не гарантировало вам, что дойдет до адресата. Рукописи, которые раньше приходилось перевозить кривыми дорогами, доставлялись теперь через все границы мгновенно, ибо их было достаточно прикрепить к электронной записке. Раньше, когда Витковский переводил голландские стихи, он должен был переписывать их в Библиотеке Ленина, — теперь основное, что было нужно сделать, вознамерившись перевести «Назидательные картинки» Константейна Хёйгенса, — это найти нужные материалы в Интернете.

В начале 2008 года, точно в мой пятьдесят второй день рождения, я получил из Пекина китайское издание диссертации Ли Мэн. Наибольшее впечатление в китайской книге произвели на меня фотографии могил Перелешина и его матери на британском кладбище в Рио-де-Жанейро. Повесть о Перелешине была в конечном счете повестью о челове-

ке, который жил со своей матерью. Тем не менее он обрел свой истинный голос без нее, в те годы, когда жил еще только в Китае, в Пекине и Шанхае.

В непонятном мне китайском переводе английской диссертации я обнаружил рукописи с хорошо известными лейденскими штампами; обложки моих собственных книг; сделанную писательницей фотографию: я с монашеской цепью в руках, с той самой, которую некогда подарил мне Перелешин. Хотя настало время, когда я прекратил продолжение работы с наследием Перелешина и ограничиваю свою роль тем, что отвечаю на запросы информации, красная нить, которая ведет от встречи в Москве в 1978 году, стала благодаря книге в моих руках много более зрима, чем когда-либо.

То, что часть архивов Перелешина «возвратилась» в Москву, в последнее время кажется мне весьма изящным: именно там я впервые услышал о нем. Однако Москва упустила больше, чем упустил Лейден. То, что некогда стало «лейденским архивом», появилось в результате действия какого-то непонятного механизма «холодной войны». Тогда западный человек мог наткнуться на закрытую дверь, или же, наоборот, получить незамедлительный прием. Редкие шансы на удачу в случайных авантюрах всегда были возможны, и не только в амурной сфере.

Но для Перелешина Нидерланды остались единственной страной, где он когда-либо отпраздновал некоторый триумф, промежуточной станцией где-то между Москвой, куда он не мог бы попасть, и Бразилией, где он был одинок, но где он надеялся когда-нибудь стать знаменитым. Он давал интервью только в Нидерландах, где были сделаны его красивые портретные фотографии, которые еще долго будут сопутствовать упоминанию его имени. В Нидерландах также осталась часть его документов, а еще сохранен и его голос в радиотелевизионных архивах.

До сих пор странно приветствовать в Лейдене иностранцев, которые хотят познакомиться со старым архивом Перелешина: профессора из Беркли, который в молодости жил в Харбине, украинца из Нью-Йорка, который сравнивает Перелешина с Витольдом Гомбровичем, русскую женщину из Канады, которая вела переписку с Перелешиним и чьи родители знали его в Китае. Они — словно чертики из коробочки, которую когда-то и кто-то увез из Москвы. Уже в начале девяностых годов XX века русская леди немела, встречая молодого человека лет тридцати с чем-то. Ведь она ожидала увидеть престарелого мужчину, который приедет к ней из Лейдена.

Это была некая великая игра, которая началась в Москве в 1978 году, когда я был очень молод, почти так же молод, как Витковский, когда он впервые установил контакт с Перелешиним. Через много лет Витковский написал для меня на титульном листе выпущенной под его редакцией энциклопедии Дмитрия Лесного «*Игорный дом*» (1994), намекая на роман Германа Гессе: «...участнику нашей общей *Glasperlenspiel* — Великой Игры в Литературу (26.IV.1997 г., Страстная Суббота, Москва)».

Может быть, и теперь длится та же игра? Все то, что началось в Москве, продолжалось. Однажды взлетевший мяч полетел обратно, оттуда, где он сначала также был пойман. В начале 2008 года появился каталог «*Из библиотеки Карела Ван хет Реве*», опубликованный антикварным магазином *Aioloz* в Лейдене. Как № 1280 содержал он антологию нидерландской поэзии, изданную в Москве в 1977 году: книга, которую в 1978 году Витковский отослал профессору Ван хет Реве. Я поспешил в антикварный магазин, чтобы купить книгу. К сожалению, на ней нет никакого автографа, к тому же суперобложка и надписи Ван хет Реве отсутствуют начисто. Когда я пришел домой, я стал сомневаться по поводу моей покупки: тот ли это самый экземпляр?

Моя работа иногда также приводила к непредсказуемым событиям в рамках сюжета о Перелешине в Нидерландах, к таким, где русские уже не участвовали. Теперь, наконец, я расскажу одну такую историю, в силу того, что он кажется очень типичным для Перелешина и его поэтического мира.

В сентябре 2009 года, я получил письмо от неизвестного мне жителя Утрехта по имени Ян Эрик Бауман, представившегося, как библиофил-печатник. Он был поклонником поэзии Валерия Перелешина, которого узнал по моим старым переводам. Он попросил меня перевести несколько стихотворений Перелешина для библиофильского издания, которое он хотел сделать. Оно должно было выйти в свет под грифом Издательского дома Hugin & Munin, который также был неизвестен мне.

Хотя я уже давно не перевожу поэзию, я принял вызов. Он надеялся получить для своей книги сонеты из *Ариэля* о «ночи, одиночестве, распаде, книге, встречах на улице, о дружбе, смерти и т.д.» Так что появился повод опять поговорить о Перелешине в моих переводах, о далеком Витковском, с которого началась вся эта история. Весной 2010 года я получил стопку издания — *«День и ночь»*.

Книжечки, которые я получил, отправил мне друг Баумана, который сообщил, что тот находился в больнице. Некоторое время спустя Бауман написал мне, что он больше не надеется выздороветь, иначе говоря — что скоро умрет. В начале августа 2010 года я впервые встретился с ним. Он жил на первом этаже дома, похожего на общежитие для студентов, которым когда-то и был. Его кабинет состоял из большой комнаты, которая раньше использовалась как танцевальный зал, с подсобками и с кухней в углу. Все стены были в темных стеллажах, на которых мне бросились в глаза полки с Францем Кафкой, Йозефом Ротом и переводами из китайской поэзии. Кровать была отделена от комнаты шкафом. В одном углов стоял пресс для тиснения. Везде лежали папки и стопки. Это была переполненная богатствами сокровищница фантастического читателя, коллекционера и печатника, для которого внешний мир не имел никакого значения. Это был жильё, достойное героя «Степного волка» Германа Гессе.

Пригласивший меня хозяин был ослаблен болезнью, но пребывал в хорошем настроении. Он сказал, что у него диагностировали рак легких, прогнозы на оставшуюся жизнь колеблются от трех до восьми месяцев, но смерть его не особенно занимает. Он недавно вновь женился, причем на француженке, с которой расстался несколько десятилетий тому назад. Он надеялся, что после продажи имущества она сможет купить коттедж в Бретани. Он рассказывал о своей жизни. Он гасил окурки за окурком.

В скандинавской мифологии два ворона, Хугин и Мунин, служат высшему богу Одину, ежедневно облетая все девять миров Асгарда и в конце концов возвращаясь к Одину, чтобы прошептать ему все новости. У Баумана тоже вызывали безграничный интерес предметы, которые он находил красивыми. Из корреспонденции, которую я вел с ним по поводу перелешинского издания, он вывел впечатление о великой возможности любоваться и сопереживать («я слышу поэта, его речитатив, он совсем рядом») в сочетании с крайним перфекционизмом. Он еще говорил, что в иных текстах чувствует квесты. Помимо этого, он знал вообще всё, что касалось Перелешина, даже без знания русского. Англоязычные публикации специалистов он также прочёл.

Мы договорились о новой встрече. Наш план состоял в том, чтобы в мои руки попали все его библиофильские издания, оставалось только сделать список. Бауман дал мне знать, что его положение очень серьезное, но он не отменил нашу встречу в середине сентября 2010 года. Дверь открыла его жена, которая разъяснила, что Яну внезапно ста-

ло плохо, и она останется с ним на всю ночь. В комнате появились приехавшие невеста и брат. На столе лежал список имен и адресов. Чувствовалось, что уже началась организация похорон.

За шкафом мягкий шепот был прекрасно слышен. Бауман лежал в постели, худой, с пятнами на лице. Я мог еще коснуться его дрожащих рук, но он еле мог говорить. Ему было теперь все ясно. «Еще два дня», — шепнул он и попытался привстать. Я привез ему плакат с Лейденской выставки Перелешина 1986 года: на нем курил полуслепой поэт; он смотрел на нас с голубой бумаги, иронически подмигивая единственным глазом. Он все еще мог улыбаться.

По просьбе Баумана я получил три плоские коробки, в которых он хранил свои личные пробные экземпляры собственных библиофильских изданий: я взял их с собой и разглядел уже дома. «Это вся его жизнь», — сказала жена, взглянув на жестянки. Бауман, покидая жизнь и расставаясь со своим творчеством, отдавал самое драгоценное достояние: уникальное произведение, которое едва ли было известно за пределами круга в две дюжины любителей ручной свинцовой печати, вовсе не стремившихся к рекламе, вероятно, впервые покинуло дом своего создателя, и теперь он видел его со стороны уже в чужих руках кого-то, кого он видел ранее только раз, лишь несколько часов, и о ком, по сути дела, ничего не знал. Однако так пожелал Бауман, и его воля была исполнена.

Я провел в доме Баумана не более десяти минут, а потом с коробками, вспотев, вышел под дождь. Возвратившись в Угстгеесте, я расставил все издания в хронологическом порядке. Они сильно пахнут табаком, который для печатника неизбежно приводил к смертельному исходу. На них, как правило, стоит номер «1», тираж его изданий не превышал 70 экземпляров; в этих книжках я нашел посвящения, рукописи, еще многое того же рода. Одиночество, ночь, дружба, смерть — сфера того, что Баумана интересовало в бытии Перелешина, об этом говорит и то, что среди других книжечек Hugin & Munin мы находим два издания переводов поэзии Кавафиса.

На следующей неделе я получил траурное извещение. В нем сообщалось, что на следующий день после моего визита он умер, шестидесяти трех лет.

Чьего посланника опознал во мне Бауман в критический миг, почему проявил такое доверие к неизвестному? Посланника самого Перелешина, так я думаю. В конечном итоге все было вызвано мощью и красотой, которые Перелешин воплотил в сонеты, в условиях, далеких и от Бразилии и от России: именно из-за них вещи были приведены в движение. В любом случае он имел право внести свой вклад в то, чего на расстоянии нельзя предсказать. Так же поступил и Перелешин с Евгением Витковским. Но не так же ли было и тогда, когда престарелая дочь пастора Дагмара из своего одиночества в сельской местности Латвии все свое самое драгоценное, старые письма, отослала в Лейден? И не так ли поступал я сам, когда стихи малоизвестных голландских поэтов Золотого века на протяжении длительного времени наудачу отправлял в Москву?

Угстгеест, декабрь 2011

Каринэ АРУТЮНОВА



Каринэ Арутюнова (Тель-Авив-Киев). Прозаик, иногда «болеющий» стихами. По профессии художник.

Автор книги «Пепел красной коровы» (серия «Уроки русского»), родилась в Киеве, с 1994 года живет в Израиле. Лауреат фестиваля памяти Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (июнь 2009, Иерусалим). Публиковалась в «Зарубежных записках» (Германия), «Интерпоэзии» (США), «Крещатике» (Германия), «Отражении» (США).

Шорт-лист премии Андрея Белого за сборник рассказов «Ангел Гофман и другие». Лонг-лист премий «Большая книга», «НОС» за сборник «Пепел красной коровы».

Чистая поэзия. Поэзия в прозе.

Поэзия детства. Картины любви.

Эти рассказы пропитаны любовью, как хлеб — медом или вином.

Тончайшие нюансы. Каринэ Арутюнова музыкант, она пишет ноты словами, для нее слово звучит, плывет, тает и рождается из снега и воздуха, из радости сердца.

Елена Крюкова

СНЕГ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Наши в городе

В детстве я любила Мартина Лютера Кинга и Че Гевару. Вообще, я любила все прогрессивное. Сочетание слов — двадцать шесть бакинских комиссаров — казалось магической аббревиатурой, понятной лишь посвященным.

Имя одного из двадцати шести было все же известно. Степан Шаумян.

Все они стояли рядом. Плечом к плечу. Степан Шаумян, Че Гевара и Мартин Лютер Кинг.

Со снимков на меня смотрели вдохновенные смуглые и совсем черные лица, — сердце мое успешно совмещало любовь к метисам, мулатам, кварталонам, цыганам и немножечко армянам.

Все мятежное и непокорное находило мгновенный приют в моей душе. Ах, появись-

ся бы мне на свет чуть раньше, чуть южнее, чуть западнее, восточней и северней, — в индейском вигваме, цыганском таборе или вообще в каком-нибудь штате Иллинойс.

Вместо этого угораздило меня родиться в тривиальнейшем из мест на земле, в котором если что-то интересное и происходило, то, увы, без моего участия.

В партизанских схронах и революционных митингах мне бы не было равных.

Единственное, чего я страшилась, были не пули, а, допустим, монотонность летнего дня, условно летнего, но от этого не менее промозглого, опровергающего минимальную возможность прожить его бурно и ошеломительно на каких-нибудь импровизированных баррикадах.

Отчего реальность так безжизненна, бесцветна, постыла?

Отчего в подъезде пахнет вчерашним супом и кошачьими ссаками, отчего вокруг живут все эти неинтересные люди, которым не то что баррикады...

Отчего ни одного из них не зовут Джон, Мартин или Лаура? Правда, в соседнем подъезде живет Давид, но и тот — врач-ухогорлонос, пожилой и малоинтересный. Добрый, но какой-то совсем не героический. А по двору ходит старуха в обрезанных ботах и гнусавым голосом кричит: — Масюня! Масюня!

Отчего?

Отчего мигают дневные лампы, освещая лица безрадостным светом?

Отчего так медленно ползет соседская старуха? Отчего нелепы ее одежды? Разве знакомо ей нетерпение и жар юности, разве может она думать о чем-нибудь еще, кроме пенсии, кефира и бессонницы?

Ведь так и пройдет бесследно жизнь, скроется за поворотом, как эта жалкая тень...

Праздник

А ночью было холодно, потом горячо, а потом — тепло и сонно, как во втором классе.

Будто всё плохое позади, а впереди только хорошее.

Сломанная рука срослась, и на дом пока не задают много, и боженька (которого как бы нет) меня любит.

Вместо боженьки — дедушка Ленин. Везде, на всех стенах, — в спортзале и на уроке пения. Добрый ужасно, и не такой уж старичок, между нами, вполне интересный мужчина. Явно снисходителен к детским шалостям. Прищур, и пальчиком так, укоризненно, но не страшно, почти как дядя Бусик, родственник моей тёти Ляли...

Вообще-то их двое, — Бусик и Абраша, Абраша и Бусик. Где стол, там и они. Бусик — точная копия Бубы Касторского. Он смешной, круглый, краснолицый, от голубых глаз его не укрывается ничего. Абраша — построже. Но тоже добрый. Что примечательно, они никогда не появляются по отдельности, и за столом сидят рядом, — оба грузные, шумные, но ничуть не страшные.

— А вот и армяне! — кричит Бусик, подпирая животом угол длиннющего стола буквой Т, и чего на них, на этих столах, только нет, закуски, горячее, десерт, тут, главное, затаиться и переждать, пока огромное блюдо с горячим проплывает над головой, сделать вид, что ты усердно ешь, сидишь прямо-таки с набитым ртом, — а вот и армяне! — кричит Бусик и размахивает вилкой, и живот его подпрыгивает как бы отдельно от него.

Армяне — это мы, наша маленькая семья, и самый главный армянин — мой папа, мама

не в счёт, — она вносит на руках другого армянина — моего новорожденного братца, которого срочно нужно перепеленать.

Бабушка Роза подбрасывает его на руках и напевает, и приговаривает что-то, раскрасневшись, с озорной улыбкой.

Совсем не так давно я узнала, что же такое приговаривала моя бабушка Роза своему армянскому внуку. Если вы не законченный ханжа и вам более шестнадцати...

«Шейне эялах», — ворковала моя дорогая бабушка, подбрасывая моего брата на руках. В ответ на это брат заливисто хохотал и плутовато косил глазом, будто отлично понимал, о чём идёт речь.

Пока гости воркуют над младенцем, я успеваю обежать обе комнаты, порыться в огромной библиотеке и забиться в уютный уголок с новой книгой и каким-нибудь сладким пирожком.

Горячее, ты не ела горячее, — взрослые укоризненно всплёскивают руками, покачивают головами, но недолго, все знают, что я — не едок, только расковыряю тарелку и всё равно ускользну из-за стола, и замру где-нибудь у этажерки с вожделенным томиком — Гоголя? Майн-Рида? О' Генри?

Здесь никогда не ругают, и про уроки — ни-ни, здесь всегда вкусно и тепло, пахнет выпечкой и вишнёвой наливкой, — здесь ещё живы Бусик и Абраша, и дед Иосиф, и бабушка Даша, та, которая танцует на столе, — здесь произносят тосты и украдкой вытирают слёзы.

До понедельника ещё далеко — я влезаю на стул и обвожу красным грифелем следующую субботу и воскресенье, и все самые главные праздники, — мой день рождения, ноябрьские, Новый год...

Это мой главный секрет.

Я живу от праздника до праздника — все остальное время умело имитирую жизнь. Хожу в школу, учу уроки, выхожу во двор, но все это так, пробелы, паузы, которые необходимо чем-то заполнить, усыпить бдительность.

Чью, вы спросите?

Ведь это так несправедливо, — это тягостное ожидание воскресного дня, это томление, бессмысленное заполнение каждого дня и часа.

Нет, что говорить, будни — не для меня.

Я завидую тем, у кого жизнь, по моему мнению, сплошной праздник.

Артистам, клоунам, акробатам. Писателям.

Когда-нибудь, мечтаю я, наступит день, и мне не нужно будет корпеть над уроками, фонетическим разбором и арифметическими задачками, рассчитанными на абсолютных идиотов.

«Из пункта А в пункт Б» — ну, надо же придумать этакую чушь? Что может быть глупей и бессмысленней для того, кто давно определил себя в великие... ну, допустим... клоуны... или писатели, или даже поэты.

Я снисходительно посматриваю на учителей, — многие из них откровенно неумны, — это, например, если сравнить со знакомыми мне взрослыми...

Они неумны и явно несчастны, эти старые тетки с шиньонами, крикливые, взвинченные и откровенно не понимающие моих пространных откровений в сочинениях на вольную тему.

Потому что вольную тему я выбираю всегда.

О чем бы ни шла речь в предыдущих двух, я сглатываю слюну и расправляю лопатки, —

вольная тема трепещет и, точно птица, взмывает над партами...

До понедельника ещё далеко, я влезаю на стул и обвожу красным грифелем все самые главные праздники — мой день рождения, ноябрьские, Новый год...

Холодец

— Покушайте моего холодца, тетя Роза! — соседка Мария на вытянутых руках торжественно вносит громадную тарелку, накрытую салфеткой. Бабушка всплескивает руками, семенит, склоняет голову набок, отказывается, благодарит, — в общем, театр!

Дверь за Марией захлопывается, бабушка, еще секунду назад чуть ли не рыдавшая на соседкиной груди, резко разворачивается и тычет кому-то невидимому конфигурацию из трех сложенных пальцев, попросту говоря, дулю.

Бабушка раздражается длиннющей тирадой по поводу свиного холодца, — ну, как же, станет она его есть, придется звать кривую Любу из первого подъезда, она, бедняжка, живет впроголодь, и некошерное творчество нашей соседки оценит по достоинству.

Тарелка с холодцом тем временем стоит на кухонном столе, распространяя волнующий аромат. Бабушка двумя пальцами сдвигает салфетку и с подозрением всматривается в желеобразную поверхность, с застывшими оазисами жира и яичными желтками, весьма аппетитными с виду.

— Как же, как же, стану я его есть, ОНИ не дождут! — в голосе бабушки проскальзывают неуверенные нотки (кто такие эти загадочные «ОНИ», остается только догадываться). Она берет ложечку, зачерпывает ну совсем с краешку, чуть-чуть...

— Ничего, — медленно пережевывает, с величайшей осторожностью, кусочек злополучного холодца.

— Таки неплохо (в слове неплохо ударение на первом слогѐ).

Несколько дней Мариин холодец занимает место в холодильнике — приходит кривая Люба, крошечная старушка с плачущим лицом. Бабушка с Любой долго колдуют над блюдом, Люба машет руками, и лицо ее еще больше съеживается, — глаза слезятся, угол рта сползает ниже некуда.

— Побойтесь бога, Розочка, я что, голодная? — Люба, прижимая к груди тарелку, все никак не уходит, и до меня доносятся вздохи, бормотания, жалобы. Сумашедшая семья, больной ребенок, придурок зять, — Роза, он по пять часов не выходит из уборной, а вчера бросил в меня стул, а дочка, эта жирная корова, вы думаете, Розочка, она вступилась?

— Вот, — Люба отворачивает рукав, ее сухая ручонка сплошь покрыта синяками. Бабушка кивает головой. Слава богу, ей тоже есть что рассказать.

Она переходит на трагический шепот, косясь на меня, тихо играющую в комнате (тише, ребенок!): — Нет, Люба, не обижают, но, честное слово, я их не понимаю, как это — ни серванта, ни обстановки, ни мебели, одни книги, книги... я вас спрашиваю, Люба, что, это можно кушать? С маслом? Меня никто не слушает, я последний человек, Люба! Мне что, я смолчу, а ребенка (тут бабушка громко сморкается)... ребенка жалко...

Наконец, почти счастливые, бабушка с Любой расстаются.

А через несколько дней новое блюдо с холодцом на вытянутых руках моей бабушки торжественно всплывает в Мариину дверь, — слышны бурные изъявления благодарности, восторга, певучий Мариин голос (Мария с Западной Украины, с выступающими ску-

лами и стройными икрами жгучая брюнетка, состарившаяся и спившаяся на моих глазах):

— Та ну, тетя Роза, та шо вы придумаете такое?

Удовлетворенная бабушка возвращается в дом, глаза ее блестят, — формальности соблюдены. Накормлены свои и чужие. День прожит не зря.

Карусель

Время от времени она поднимала на меня глаза и восклицала, — иногда восклицала, а иногда выпевала протяжно, смакуя каждую букву: — Мирзолзайн...

Я, конечно, понятия не имела, что же такое это самое «мирзолзайн», но ощущения были приятные. Это было какое-то специальное, возможно, даже волшебное слово. Оно, будто кокон, обертывало меня и подбрасывало, — легко, как пушинку, и я, без преувеличения, казалась себе неуязвимой.

— Мирзолзайн, — пела бабушка, жонглируя нехитрой кухонной утварью на нашей кухне, выходящей окнами прямо на школу и пролегающий между домом и школой бульвар. Тут у меня все было как на ладони. Весь мир.

Какое колесо обозрения?

По шоссе (между бульваром и школой) весело пролетали автобусы, — однажды и я улетела на одном из них, и, уцепившись за поручень, тряслась, точно заячий хвост — автобус уносил меня в даль далекую, заповедную, — до сих пор не могу понять, что же вынудило меня пойти на этот отчаянный шаг, согласиться на предложение Юлика, моего полудруга-полуврага, коварно заманившего черт знает куда под предлогом игры в казаков-разбойников, — уже и не вспомнить, в каком тумане возвращалась я домой, и какими прекрасными, вырастающими словно из доброй сказки, казались родные пятиэтажки с балконами, увитыми хмелем и плющом, — а вон и наш, синий, на котором стояла, подобная капитану дальнего плавания или штурману, или мичману, или верховному главнокомандующему, стояла, будто изваяние, приложив козырек ладони ко лбу, кто бы вы думали?

У нее уже и сил не оставалось всплескивать ладонями, выбегать во двор, выпытывать у всезнающих соседских старушек...

Казалось, все вдохи, выдохи, причитания ушли в одно смешное, непонятное слово, которое, как охранная грамота, сопровождало меня в скитаниях по чужому и страшному микрорайону. Наверное, оно сверкало у меня во лбу.

Любимых детей видно издалека. Что-то такое они несут в себе... или носят, — похожее на амулет, зашитый в потайном кармашке.

* * *

Однажды в нашем доме на Перова завелась жаба. Огромное, пупырчатое, жадное существо тускло-зеленого цвета, с прорезью жадного рта, — с неизменным энтузиазмом оно пожирало все: медные монетки, серебряные рубли и мятые бумажки достоинством в рубль или даже три.

Мне нравилось трясти ее, вслушиваясь в шорох и звон, и воображать себе несметные

сокровища, которые, уж будьте мне покойны, я найду на что истратить! Иногда я пыталась просунуть указательный палец в щель ее рта, но жаба была начеку и не спешила расставаться с богатством.

Она стояла на почетном месте, вытаращив глаза. И ждала. Ее зрачки следовали за каждым входящим. Казалось, еще немного, и она щелкнет челюстью. Она жирела с каждым днем, белесое брюхо ее раздувалось, а глаза вылезали из орбит. Бедная, бедная жаба!

Предчувствовала ли она свою судьбу?

Свою бесславную и скоропостижную кончину?

Проходя мимо жабы, бабушка жестом фокусника выуживала свернутую бумажку, и, озираясь по сторонам, подмигивала, — мне или ей, или обеим вместе, но однажды, когда вспоротая и поверженная хранительница сокровищ лежала на боку, а по столу перекатывались монетки и шуршали рубли, я без труда узнала эти, меченые, свернутые в трубочку...

Их было больше остальных.

Самое смешное, что мне и не вспомнить уже, на что были потрачены все эти копейки и рублики. Кажется, я торжественно преподнесла их маме, ощутив приятную усталость добытчика, хранителя и защитника очага.

Точно еж с наколотыми на колючках осенними припасами, я торопилась избавиться от накоплений, вновь стать свободной и безмятежной.

И это было очень приятное чувство.

Ведь, на самом деле, у меня и так было все.

Все, чего может пожелать девочка, живущая в пятиэтажке с балконом, с которого, как на ладони...

Автобусы, школа, бульвар, очередь, стекающая от гастронома к противоположной стороне улицы, — за живой рыбой, или за квасом, или еще за чем-нибудь, — если свернуть плотный лист бумаги, то получится подозрная труба.

Я навожу ее на крыши, окна, людей. Вижу покрасневшие лица соседей, а еще мальчишек из соседнего подъезда, вечно они трутся у бочки с квасом. Я слышу острый запах хмеля. Пахнет летом, прудом, ряской, горячим асфальтом, прелыми листьями, осенью, первым снегом.

Золотая паутина носится в воздухе, щекочет ноздри.

А вот и моя бабушка, — кажется, уже оттуда.

Помахивая авоськой, переходит дорогу. Щеки ее разрумянились от быстрой ходьбы. Время от времени она поглядывает на наши окна и шевелит губами, — конечно, «на людях» бабушка не дает себе воли и из последних сил сдерживает присущий ей темперамент.

— Ша, я сейчас умру, нет, ну, где вы видели такое нахальство? — что может быть интересней, чем рассказ о двух или даже трех очередях, — не рассказ даже, а сводка с полей, — с количеством павших, раненых, победителей и побежденных, — вот, — говорит бабушка и вытаскивает из авоськи изможденную курицу с растопыренными желтыми лапами и изогнутой волосатой шеей, — лицо ее светится (не куриное, разумеется, бабушкино).

Меня бабушка как бы не замечает. Вначале — прелюдия. Ритуал. Очень подробный, живописный, — порхающее лезвие ножа: это на бульон, а это — на котлеты.

Курица — это жизнь!

Кастрюля золотистого бульона и много-много крошечных котлет. Не котлеты, а сплош-

ное удовольствие, я уже не говорю про сладкую фаршированную шейку, — а! — вскрикивает бабушка время от времени как бы в некотором забытьи, — а! — завидев меня, она спохватывается, — ну, что ты стоишь? А кто будет фарш крутить? — она вытирает руки и выдыхает ... Смешное, непонятное и такое длинное слово, но отчего-то лопатки мои расправляются, а ручка мясорубки вертится как карусель.

Судный день

В Судный день моя бабушка поднималась ни свет ни заря.

Собственно, она всегда просыпалась рано, но пробуждение пробуждению рознь.

В этот день она не суетилась на кухне и не гремела посудой.

Уходила очень рано и, как выяснялось позже, ехала через весь город чуть ли не двумя трамваями, — и это под холодным проливным дождем — а дождь, как неперменный атрибут скорби, сопровождал ее до самой синагоги.

В общем, бабушка моя в этот день являла собой совершенный образ скорбящего иудея, — бледная, в мокром плаще и с мокрыми щеками, она долго разматывала платок в прихожей и долго вздыхала. Я помню непонятное и немного пугающее слово «берковцы» и смешное — «синагога».

Я мало что понимала.

Дети вообще воспринимают события и явления как некую данность, — да, такой вот день, и положено в этот день грустить, ездить через весь город двумя трамваями и мокнуть под дождем.

И все это — заметьте! — без маковой росинки во рту.

Я понятия не имела о скрепляемом невидимой подписью сговоре с Всевышним.

Да и бабушка явно не торопилась посвящать меня в тонкости обряда. Во-первых, ребенок, шоб он был здоров, и так все время болеет. То горло, то уши, то, не про нас будь сказано.

Ребенок еще настрадается.

Тем более, школа на носу. В которой, как известно, о Судном дне особо не распространялись.

Моя бабушка в советской школе не училась. Разве что закончила несколько классов хедера. И, думаю, она прекрасно понимала, что ребенку (без пяти минут советскому школьнику, октябренку и пионеру) беседы с Ним явно ни к чему.

Сама же бабушка общалась с Всевышним регулярно. Она вела с Ним долгие, изнурительные и сладкие беседы. Как правило, на нашей крохотной кухне, за столом.

— Ты слышишь меня, готеню?

Подозреваю, «готеню» она поверяла тайны и сомнения, которые не доверила бы лучшей из подруг. Хотя какие могут быть подруги?

На лавочке под «второй парадной», — досиживающие свой век старушки в платках, — все, как одна, чужие, чужого роду-племени... Их тоже занесло в эти дворы из прежних жизней — из пригородов, сел и местечек.

Пожалуй, это их явно сближало.

Подол остался далеко, в другой жизни, до которой добираться надо было двумя трамваями, и еще черт знает сколько идти под проливным дождем.

Конечно, можно было добраться на метро — гораздо быстрее!

Но что-то мешало моей бабушке ступить на лесенку эскалатора, и она надевала нарядные, немного тесные балетки (они ей жали в пальцах) и практически ненадеванное синее платье с пуговками, и шла к трамвайной остановке, покупала талончик и занимала место у окна.

Иногда я думаю, — сколько надо проехать, чтобы вернуться в город своего детства? Сколько раз трамвай должен выйти из депо и сколько кругов отмотать от района, застроенного типовыми пятиэтажками?

Зато «готеню» всегда был рядом, всегда начеку. К нему не нужно было ехать в переполненном трамвае.

— Как Тебе это нравится, готеню? — с горестной иронией вопрошала бабушка и застывала, видимо, в ожидании ответа.

Иногда, впрочем, она отвечала, не мешкая, за «Него», и удовлетворенно покачивала головой.

У нее, чтоб не сглазить, все хорошо...

Антисемиты

Н. везде мерещатся антисемиты. В метро она едет, крепко прижимая сумку к груди. Ее губы сжаты, а лихорадочно блестящие глаза извергают молнии, способные поразить любую цель. Она красивая женщина, — во всяком случае, уже немало лет пребывает в счастливой уверенности. Красивая женщина всегда подвергается некоторой... мм... опасности.

Мужчины, везде мужчины, — она вздергивает подбородок, — так и норовят стать поближе, пристроиться, — сзади, спереди, сбоку, — прижаться, выдохнуть в лицо. Вчерашним перегаром, чесночной колбасой. Утренней затхлостью. Чаще всего эти мужчины оказываются еще и антисемитами. Вот иди знай, он пялится на ее грудь или все-таки от того, что в голове его зреют коварные антисемитские планы. Например, вырвать сумочку и сигануть на перрон. Антисемитизм, знаете ли, стал изощренным. Совсем необязательно обозвать человека и плюнуть в его сторону. Можно просто подумать и отвернуться. А можно подкараулить в темном углу и треснуть по башке. И опять же отнять сумочку. Выдрать сережки, кольца, да что там, — элементарно надругаться! Э-ле-мен-тарно. Одно дело — надругаться над незащищенной женщиной, стрекочущей по едва освещенному городу, — и совсем иное — надругаться над... В этом городе сплошные антисемиты. Сосед — антисемит, скребется ножовкой по ночам. Слесарь — антисемит, дерет втридорога, — с молоком матери усвоил, что евреи нищими не рождаются. Продавщица в молочном — та еще антисемитка — уже в пятый раз подсовывает прокисшее молоко.

Антисемиты! — кричит Н. и судорожно собирает документы. Да, она таки уедет, она обязательно уедет, назло всем, — кому как не ей, — но в консульстве все, будто сговорились, выворачивают сумку, заставляют снять туфли, — кстати, подъем у нее тоже ничего. Охранник ухмыляется, здоровый как боров — где вы видели борова-еврея? Фальшивые евреи шушукуются в зале, носят с фальшивыми документами, — им, видите ли, требуется доказать, что дедушка по материнской линии был чистокровным иудеем. Откуда их понаехало столько. Документы вываливаются из сумочки. Аккуратно накрашенная не-

молодая дама натянуто улыбается явно искусственной челюстью, равнодушно просматривает метрику.

Все идут и идут, — дети евреев, внуки, полукровки, пятая вода на киселе.

И тут выходит она. Настоящая. Все у нее настоящее. Миндалевидное. И бабушку звали как положено. Пустите, кричит она, покрываясь пятнами, хамы, всюду без очереди, — ну и что, что дети. Пустите, я стояла, давно стою, — роняет сумочку и расталкивает этих, наглых, юрких, — с самого Бердичева? Неужели? С ночи?

Чужие дети теребят край платья, чуть ли не сопли вытирают, — оставьте, — кричит она, — заберите ваших детей, какая наглость, вы только посмотрите на них, везде заговор, решительно везде, — в молочном, в трамвае, в консульстве, — у нее тоже могли быть дети, — мальчик или даже девочка, сто раз могли быть, — но где взять настоящего еврея? Настоящего еврейского отца для еврейских детей?

Спотыкаясь, она идет к дому, — сворачивает в переулок, — царапает каблучками асфальт, — все еще красивая, — осенней тяжеловесной красотой, южной, терпкой, такими красивыми бывают женщины, выросшие на плодородных черноземных землях, — темпераментными, легко полнеющими брюнетками с прохладной влажной кожей, под которой бегут стремительные ручьи жаркой крови, — не женщина, а сплошной цимес, экзотический цветок, чуть привядший, но не лишенный известного очарования, находка для антисемита, или даже двоих, — выбегающих из-за угла, выдирающих прижатую к груди сумочку с документами, — проклятая страна, кричит она, запрокинув голову, в слепые окна, в опрокинутый колодец двора.

Про Мотю

О том, что расстояние от задницы до глаз огромно.

И ничтожно в то же самое время.

Все взаимосвязано.

...

Достижения человеческого ума и тяготы телесного низа. Впрочем, отчего только тяготы? И удовольствия тоже.

Забавно и поучительно наблюдать за животными. В них нет диссонанса. Они не подвержены внезапным приступам пафоса. Они всегда голые. Голые и абсолютно искренние.

Как, например, моя такса Мотя.

Если такса Мотя терзает башмак, то отдается этому занятию всем телом и душой. А если изнывает по косточке, то убедительней ее глаз...

Ее вихляющая походка не менее выразительна, чем юркий ноздреватый нос.

Глаза ее бывают скорбными, плутовскими, лицемерными, выжидающими.

А когда Мотя тоскует, с ней тоскует весь мир. Начиная от вздыбленного многократно изнасилованного половичка и заканчивая пропавшими без вести комнатными тапками.

Если вы полагаете, что в жилах Моти течет голубая кровь, то ошибаетесь.

По сути, моя Мотя — мещанка, существо суетливое и беспринципное. И обаятельно жадное.

За мозговой костью она побежит, даже не обернувшись. Причем глаза ее по-прежнему будут обманчиво преданными, лучистыми, искренними.

Мотя уже немолода. Иногда она выразительно грустит о чем-то явно несбыточном. О каких-то упущенных возможностях и перспективах.

Порой мы грустим вместе.

Я здесь, а она — там, на своем истерзанном половичке.

Говорят, мы похожи. Выражением глаз, суетливостью движений, общей судьбой.

Ну, и расстоянием, разумеется, тем самым, — «от» и «до»

Кошка, лампочка, печка

Чем эта ночь прекрасней других ночей?

Тишиной. Редкой для шумного прибрежного города. Нарушаемой лишь шепотом волн, шорохом галльской речи беспечных туристов (да, куда они, эти туристы, не делись, все так же непринужденно осваивают местные кафешки, пабы и ресторанчики, ведь у них там — стильный ноябрь, а здесь — тоже ноябрь, немного более жаркий, чем предполагалось, чуть более тревожный).

Открыты кафе, рестораны.

В Тель-Авиве множество счастливых собак. В этом я убеждаюсь не впервые.

Ухоженных, уверенных в завтрашнем дне гораздо более своих хозяев. Вон как неуклюже перебирает лапами коричнево-замшевый подросток. Как весело шагают лабрадоры, — бежевый и снежно-белый. Хозяева приветствуют друг друга, собаки обнюхивают, виляют хвостами.

Открыты галереи. Внутри — смеющиеся люди, листают проспекты, развешивают картины.

Говорят о чьей-то неподписанной работе. Подумать только, не о ракетах говорят они. Не о ракетах говорят картины, висящие на стенах. Картины, как и люди, мирные, очень мирные. В них нет ничего угрожающего. Разве что иногда грустное, как, допустим, вот эти раскаленные добела крыши белого города, — эта дымка, этот безжалостный свет, не знающий полутонов, не ведающий стыда. Здесь все наружу — лестницы, балконы, белье. И тишина. Такая глубокая, безбрежная. Сиеста. Посапывает носом зеленщик, дремлет в углу кошка.

Или вот эта обнаженная, вполоборота, со склоненной головой. Или вот эта, опрокинутая навзничь.

Танцующие в лапсердаках и котелках. Кошки, евреи, женщины. Нет, женщины, как правило, без ничего. Женщине лапсердак ни к чему. Достаточно спущенного чулка или небрежно приколотой к волосам розы.

Хотя нет, вот здесь, кажется, все прилично. Приличнее не бывает. Бабушка читает внуку книжку. Давно читает, года с этак сорок девятого, в крайнем случае, пятьдесят третьего.

Внук, поди, вырос давно, своим внукам книжки читает.

Если дожил, конечно. Столько воды утело, песка. Столько войн.

Стоп. О войнах — ни слова. Я бы эту картину повесила. Она вечная. Это детство. Подольское, тель-авивское, любое. Там, в этом детстве, всегда уютно. Книжка, бабушка, тишина за окном.

Это наша родина, дорогой внучек, — все самое дорогое мы взяли с собой. Кошку, лампу, печку, книжку.

Зато

Зато у нас в подземке продают средство от папиллом и бородавок.

И вообще довольно живо.

Справа — турецкие шарфики, радующие глаз пестротой и многообразием, слева — мирно посапывающие младенцы кошачьего роду-племени, а неподалеку — толстобокие щенки непонятной, но неизъяснимо прелестной породы. Цитрусовые — тут же, в ящиках, и прибившаяся сбоку старушка с вязаными игрушечками, нанизанными на все десять пальцев отмороженных рук.

У нас весело. Чего только нет! Плотные стручки лука-порей и роскошные, воистину живописные, лопающиеся от избытка сока плоды гранатового дерева. Но это все сезонные радости.

Зато средство от папиллом и бородавок есть всегда! Этот округлый певучий говорок, эта растопыренная у входа женская фигура в пуховике, это абсолютная уверенность в качестве и надежности товара, — а, главное, в неизменности спроса.

Пока человечество существует, средство от бородавок актуально.

От бородавок, прыщей и прочих малоприятных штук.

Признаться, я соскучилась. По лицам, голосам, интонациям.

По надвинутым на лбы платкам, по ветхим старушкам, гнездящимся на обочине. По ангельскому свечению глаз в сети правдивых морщинок. По напряженным ладоням, по пальцам с обломанными ногтями, по этой давнишней привычке — терпеть, мириться, не роптать.

— Возьми, дочечка, недорого отдам.

Наши люди, вообще, если хотите знать, лучшие.

Легко быть добрым, когда не дует и не каплет за шиворот.

А вот попробуйте на морозе, со смешной пенсией, до которой еще дожить...

Попробуйте улыбнуться смиренной улыбкой, обнажающей беззубые десны.

Попробуйте полюбить все, что вы видите, — перекупщиков, ядреных теток в пуховиках, полуосвещенный переход и стекленеющие лужи, в которых отражаются вечерние огни.

Киевский двор

Киев — это вам не Одесса. У нас нет Ланжерона, Дерибасовской и бельевых веревок, соединяющих балконы противоположных домов.

Зато в нашем дворе одуряюще пахнет сиренью, жасмином, а в окно упираются ветви цветущего каштана и соперничающего с ним клена, листья которого пока еще юны и влажны, и на солнце отсвечивают изумрудной слезой.

Киевский двор после летнего дождика пробуждается медленно, томно потягивает свой утренний кофе, любит росой, птичьей братией, сосредоточенно копошащейся в асфальтовых разломах, наполненных темной дождевой водой, пухом облетающих одуванчиков и мелким подножным кормом.

В киевском дворе облетают тополя и одуванчики, а еще — обитает собачка Моня, кургузое, нелепое существо, похоже, совсем не подверженное возрастным изменениям, а, возможно, даже бессмертное.

Бессмертная потрепанная Моня (он или она) носится как угорелая, а потом, вывалив лиловый язык, укоризненно поглядывает на прохожих из-под тяжелых век, — я-то здесь живу, с меня лето начинается, мною же и заканчивается, а вы, кто вы такие и куда идете?

Идут в основном девушки в легких платьях, — именно той самой «летающей походкой», стремительной, подчеркивающей все, что нужно подчеркнуть, чтобы бредущие с холодными пивными бутылками окончательно не уснули по пути, ведущему из ближайшего гастронома, — по узкой тропинке, над которой волшебная ива плывет, точно юная дева с распущенными волосами, тоскующая по прошедшей — уже! — весне, буквально только что, сию минуту.

Не уснули, не застыли, сморенные жаром и влагой, которую отдает земля, выдыхая, волнуясь, пьянея, выпуская нежную младенческую поросль, — из всех своих пор, впадин и отверстий, раскрытых, распахнутых навстречу бесстыдному ветерку, разгоняющему ночную усталость, утреннюю истому и рыхлое, ленивое тепло киевского двора.

О близости

На фоне экстравертного одессита киевлянин сильно проигрывает. Хотя выигрывает на фоне москвича.

Возьмем, например, метро.

В московском метро молчат. Совсем не так как в киевском (в Одессе, кажется, метро нет, поэтому не с чем сравнивать).

Трамваи не в счет.

Трамваи — это вообще отдельная категория.

За поездку в трамвае можно многое отдать.

Люди, которые волею судеб оказались втиснутыми в один трамвай, становятся или врагами или почти родственниками.

Одна тетенька, довольно пожилая, доверилась мне уже на второй остановке. На пятой я знала о ней практически все. На седьмой меня оштрафовали. Фальшивые дяденьки с фальшивыми удостоверениями.

Я, человек, рожденный в добротные советские времена, на удостоверения с печатями реагирую очень живо. В силу благоприобретенной близорукости я не особо вдаюсь в детали, но сам факт наличия удостоверения производит на меня неизгладимое впечатление.

В общем, на седьмой, как вы поняли, фальшивые дяденьки с лицами профессиональных вымогателей, кладбищенских сторожей и убийц сделали свое черное дело, а вот тетенька, все это время наблюдавшая за этим действием (и это после откровений и почти родственной доверительности), не вымолвила ни слова. Бог ты мой, ведь она видела, как я купила талон, и видела, как рассеянно верчу я его в пальцах, взволнованная историей ее непростой судьбы, и как увлеченно я его ем...

Ну что ей стоило проронить пару-другую словечек в мою защиту?

Зато, когда удовлетворенные псевдокондукторы выкатились, та же самая тетенька выкатила глаза и заверещала: как же это вы позволили обвести себя вокруг пальца? Ведь кондукторы — фальшивые! И удостоверения у них липовые!

Но я не о том.

Трамвай — это путешествие. Событие. То ли дело — метро. В метро все слишком прилично. Эти, с удостоверениями, к нему на пушечный выстрел не подходят. И зайцев нет.

В метро едут приличные, в основном, люди. И откровениями почти не делятся. Разве что думают всякие мысли, рыскают по айпадам и айфонам, спят или читают дорожные журналы.

И все-таки в киевском метро молчат иначе.

Московское молчание — оно глубже. Отстраненней.

Выдернуть из этого молчания сложно и неловко.

Дистанция. Слишком много чужих. И своих, но еще более чужих, тоже немало. И тех, кто был свой, а стал...

Может быть, это от ширины вагона зависит?

Киевские вагоны уже московских, и люди, следовательно, друг другу ближе.

Не так, как в трамвае, но гораздо, гораздо ближе.

Пока вас не было

Возвращаясь, убедитесь, что все на местах.

Например, в том, что стол стоит на том же месте, люстра висит перпендикулярно потолку, а закладки между страницами не выпали и не затерялись. Пока вас не было, улицы десятки раз заносило снегом, — снег таял и чавкал под ногами, а потом проливался дождем, а небо оставалось таким же серым и сумрачным, каким вы успели его запомнить.

Пока вас не было, много раз звонил телефон, снимались трубки и, возможно даже, иногда произносилось ваше имя. Пока вас не было, почта приносила письма, нужные и второстепенные, а ненужные аккуратно заносила в спам.

Возвратившись, убедитесь, что все на местах.

Потому что четыре недели или даже три — это не слишком много и не слишком мало. Для кого-то — целая жизнь, а для кого-то — один бесконечный день, напоминающий очередь в поликлинике. В обычной районной поликлинике, в которой стены выкрашены в унылый тусклый цвет, а заклеенные окна не пропускают унции воздуха.

Для кого-то это дорога на работу и обратно, в забитом вагоне метро или пригородной электрички, — или серый рассвет, или катышки на одеяле, а, может быть, несчастная любовь или случайное письмо со штемпелем на конверте. Или звонок, как всегда, неожиданный, особенно, если раннее утро и поздняя ночь, а вы не готовы.

Убедитесь, что все на местах. Записные книжки, номера. Голоса, лица.

Снег и все остальное

Оказывается, я все это люблю.

Это очень трудная такая любовь, выстраданная.

Разве все то, что тебя окружает, можно любить? Как-то специально к этому относиться? К зеленому забору, бельевым веревкам, старушечьему десанту во дворе?

Разве можно как-то особенно любить все, что окружает тебя с рождения? Всю эту бо-

лее чем реальную реальность, в которой все самое первое, а, стало быть, важное? Слова, шаги, лица.

Разве можно любить то, что дается авансом, — казалось бы, на всю жизнь.

Санки, стоящие у порога, красные валенки в галошах, варежки на резинках, — помните такое хитрое приспособление, из которого так сложно было выпутаться, — вся взмокнешь, пока стащишь шубку, галоши, рейтузы...

Вот и снег, вот и снег. Оказывается, это красиво. А когда зажигают фонари, все светится, искрится, — кажется, будто для тебя весь этот нарядный фейерверк, и такая глубокая тишина, в которой тают любые звуки.

Оказывается, я это люблю. Необъяснимо, необъяснимо.

Очень трудная любовь.

Сложная. Потому что вместе со снегом приходится как-то считаться с холодом, замерзающими птицами и брошенными псами. С людьми, которые не решаются заходить в нарядные супермаркеты, в которых все равно все ненастоящее, пластиковое. Муляжи.

Но зато у меня есть...

Знаете это волшебное слово — зато?

Зато у меня есть тихий ангел, — шаркающие звуки шагов из глубины комнаты и это радостное, — але, деточка, я так и знала, что ты позвонишь, уже несколько дней о тебе думала.

Конечно, позвоню, — позвоню и обязательно приду.

В том месте, которое я действительно люблю, круглый стол и часы на стене. Смешная суета вокруг чайника — детское удивление, возгласы, и такое... тихое, очень тихое счастье, за которым люди гонятся, бывает, всю жизнь, а оно здесь, на десятом этаже высотного дома, лакомится ирисками, шелестит фантиками, прихлебывает из пузатой чашки.



Виктор ХАТЕНОВСКИЙ



Родился в Минске. В 1985 г. окончил Саратовское театральное училище по специальности актёр драматического театра. В 2007 году, после семнадцатилетнего перерыва возобновил актёрскую деятельность. Стихи опубликованы в литературно-художественных журналах и интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады. Живёт и работает в Москве.

Хатеновский определенно ожесточён, и для созерцающего русскую жизнь это вполне натурально. Так ожесточены бывают только молодые. Календарно молодые или экзистенциально молодые. Судя по возрасту, Хатеновский уже переходит из первой категории молодых во вторую, но ярость посылает сохраняет — значит, не расстался ещё с иллюзиями. А стих и выживает только там, где иллюзии не утрачены. По первому впечатлению от его стихов всплывает Саша Черный, хотя тот изящней и много ловчей, мастеровитей. Хатеновский проще и прямей, но о нём сразу понимаешь, этот не по блажи перо взял, не эксгибиционизма ради, а по крайней уже нестерпимости «глумящейся чехарды» и «неистовствующего вздора» (рискованно предлагать стиху такие словечки, как — неистовство — ... в любых родо-падежно-временных комбинациях!). Но дожимает, вот что удивительно и радостно... так дожимает, что и придирка на ум нейдёт. В стихах Хатеновского нет версификаторских претензий, зато много неподдельной горечи и горьких поэтических находок. Чего стоит хотя бы вот это: «Распластанный зажавшейся Москвой...», или: «Ночь бьётся грудью об карниз...». Или вот это:

Ночная мгла не так страшна
Содружеству... В застенках рая
Жена, как смерть, ему нужна;
Ей нужен муж, как боль зубная.

Атмосферой злобной иронии напололам с горечью прошиты даже строки к матери, что уж говорить об общей ауре этих стихов. Одно слово:

В разноголосицу взрачных окраин,
Как батискаф, погружается Каин.

И конечно, Бердяев тут невыносим (потому интеллектуальная Россия его первого же и возненавидела!), и как-то сразу припоминается чудовищная «взрачность» этих окраин, да что там — окраин... всей богоспасаемой московии, у которой теперь светлая... о, поистине светлая судьба, ибо согрета она «прижизненной славой».

Чьей?

Ну, известно чьей!..

Б. Левит-Броун

* * *

Быт мой мерзок, жизнь убога:
Печь дымит, скрипит кровать.
Тридцать дней просил я Бога:
Новый френч мне даровать.
Вдруг раздался голос с неба;
Смертных он сбивает с ног:
«Попросил бы, сын мой, хлеба;
Отказать бы я — не смог».

* * *

Ночь бьётся грудью об карниз.
В обшарпанной восьмизетажке
Не Пётр, не Виктор, не Борис
Коньяк пьёт из литровой фляжки.

«Свершилось! Львы разведены.
Ты — здесь. Она — везде, как птица», —
Шесть дней талдычат со стены
В портреты втиснутые лица.

30.09.2013

* * *

Распластанный зажавшейся Москвой,
Отвергнутый благопристойным Минском,
Клятвопреступник с крупной головой
Юродствовал пред мрачным обелиском.

Глумилась над пространством чехарда.
Неистовствовал вздор. В мертвецкой хмуро
В застиранных халатах ждут — когда
Под пальцы приплывёт клавиатура.

* * *

Маме, Нине Павловне

Сколько непритворных слёз,
Бедствий, стрессов нервных
Отпрыск ваш Вам преподнёс,
Будучи, во-первых —
Хворым, хрупким, щипцевым,
Вздорным...

С колыбели —
Плакальщицы стадом злым
Над блаженным пели:
«Для тебя под Минском вы —
Выдолблена яма!»...
Где б я был, когда б не Вы,
Дорогая мама?!

* * *

Стучится ночь в оконное стекло.
Отравлен город сворой негодяев.
И темнота подтрунивает зло
Над городской бессонницей. Бердяев
Невыносим, как боль зубная... Здесь,
Где круглый год спирт заедают салом,
Ты, расчихлив взлохмаченную спесь,
Расправы ждёшь под скользким одеялом?
А, может, мысль к молитве пристегнуть,
И жизнь на прочность испытать — покуда,
Приказом царским прикрывая грудь,
К тебе губами тянется Иуда?!

* * *

Жизнь непроста.
Смерть многогранна.
С верой в Христа
Спит Дона Анна.
Спит Командор.
Скромно и смело
Спят с давних пор
Гамлет, Отелло.
В гроб Дон Гуан
Снёс васильковый,
Модный кафтан.
Для Казановы —
Дочка, жена,
Сваха, невеста —
Где-то нашла
Тихое место...
Сколько их, Бог,
Тех, кто из блюдца
Выпив, не смог

Утром проснуться?!
Выскоблив лбы
Жизненным стажем,
Скоро и — мы
Где-нибудь ляжем.

* * *

Стены в пробоинах, пол из паркета...
В воздухе — запах продрогшего лета.
В разноголосицу взрачных окраин,
Как батискаф, погружается Каин.

В цепких объятьях взопревшей свободы
Слышится крик прокажённого: «Кто ты?!
Разве гордыне твоей не обрыдла
Скорбная участь бесстрашного быдла?!»

* * *

Октябрь. Слякоть. Листопад
Флиртует с ветром. День обвалом
Надежд отмечен. Двое спят,
Укрывшись плотным покрывалом.
Ночная мгла не так страшна
Содружеству... В застенках рая
Жена, как смерть, ему нужна;
Ей нужен муж, как боль зубная.
Так — было, есть. Так будет впредь.
Вновь умертвив в октавах звуки,
Она рискует растолстеть,
А он — состариться от скуки.

* * *

Под колокольный гром
Застывшего металла
Крестом воскресным днем
Смерть отсоборовала.
Сидеть бы — взаперти,
Когда судьба украдкой
Вдоль рыхлой паперти
Вприпрыжку шла за шапкой.
Друзья, врагов не зля,
С юродивой не споря,
Как крысы с корабля,

Бежали с поля боя...
В Саратове, в Твери,
В Санкт-Петербурге, в Курске,
Собачась, звонари
Горланят по французски:
«Ату его! Он трус —
Хоть был когда-то графом.
Не в состояньи Русь
Сражаться с Голиафом!»
Что ж, господа, пора,
Не тратьа время даром,
В шальные вечера
Кинжальных ждать ударов
В Саратове, в Твери,
В Санкт-Петербурге, в Курске...
Когда же звонари
Заговорят по-русски?!

* * *

Страна, над убогим страдальцем не плачь:
Закончилось время — сплошных неудач.
Сегодня меня, в крайнем случае завтра,
Согреет в объятьях своих Клеопатра.

Отныне прижизненной славой согреты
Сократовский лоб мой, стакан, сигареты,
Московский коньяк в привокзальном буфете
И даже мои нерождённые дети.

Валерий БОЧКОВ



Родился в Латвии в семье военного лётчика. Вырос в Москве, на Таганке. Окончил художественно-графический факультет МГПИ в Москве. Профессиональный художник. Владеет русским, английским, немецким языками. С 2000 года живёт и работает в Вашингтоне, США.

Основатель и креативный директор “The Val Bochkov Studio” — творческой студии, сотрудничающей в сфере визуальной коммуникации с каналом Дискавери и ведущими рекламными и PR агентствами.

Проза Валерия Бочкова публикуется в журналах «Знамя», «Волга», «Новая Юность», «Настоящее время». Журнал «Октябрь» готовит к печати в 2014 году повесть Бочкова «Берлинская латунь».

Лауреат Литературной Премии 2012 «ZA-ZA Verlag» в номинации «Малая Проза». Сборник рассказов «Брайтон Блюз» получил звание «Книга Года». Победитель литературного конкурса «Московского Комсомольца» за 2012 год. Автор следующих книг: «К югу от Виджинии», «Брайтон-блюз», «Время воды», «Ничего личного», «Автопортрет с луной на шее», «ZA-ZA Verlag» готовит к выпуску в конце 2013 года сборник прозы Валерия Бочкова «Сахарная мельница».

Колоссальная художественная, социальная, трагическая живопись. Насмешка и фантастика. Жесткая реальность и чистая поэзия. Мрачное пространство распахивается и играет светом забытой человечности. Боль внезапно становится обещанием радости, и это обещание гибнет в наплывающих волнах времени. Иного, еще не прожитого нами.

Елена Крюкова

НИКОТИН

Мачека взяли в пятницу. Я промаялся до вторника, в среду утром позвонил Курту, хотя прекрасно знал, что делать этого нельзя. Договорились на девять вечера у западного входа в Центральный парк, на 72-ой, там, где «Дакота».

Предстояло убить целый день, я решил сделать это снаружи. В лифте столкнулся с мисс Гейл, старая стерва кивнула мне не разжимая губ, в её рыбьих глазах стояла обычная настороженная муть, но чутьё мне подсказало — мырма знает, что меня вычистили.

Ноябрь, плотная серая морось, входная дверь, взвыв пружинной, с грохотом закрылась, оставив мисс Гейл ковыряться в своём почтовом ящике. Я поднял воротник, зонт я не забыл, зонта у меня отродясь не было. Сунув кулаки в карманы, свернул на Амстердам Авеню, бодро отшагав два квартала, понял, что так я за пару часов отмахую через весь Манхэттен. Сбавил темп, запутался с ногами — оказалось, что медленно ходить я не умею. На

углу промокший негр, сияя баклажановым лицом, торговал зонтами, я выбрал английского фасона, длинную трость с кривой ручкой из фальшивой слоновой кости. Зонт, если его не раскрывать, оказался вполне занятой вещью. Я шагал, звонко цокая стальным наконечником в асфальт, подставив лицо колючей мерзости и не думая совершенно ни о чём. Желтые фонари то ли ещё не погасили, то ли их уже зажгли.

Прохожих было мало, ядовито-желтое такси, с мятым бампером, притормозило и без особой надежды проводило меня до угла. Я маршальским жестом отсалютовал таксисту зонтом, он уныло библикнул в ответ. Страшно хотелось кофе, но обжорки открывались теперь не раньше полудня: после перевода столицы в Даллас, в Техас переехала и Биржа (по привычке продолжавшая именоваться Нью-Йоркской), за ней поспешили банки, ну, а после этого весь бизнес потянулся на юг.

Амстердам Авеню незаметно перешла в Десятую, за кованой оградой Челси-парка торчали голые сучья, мокрые и чёрные, похожие на гнутые резиновые трубы. На лавке спал бродяга, упакованный в чёрную клеёнку — я машинально потянулся за телефоном, вдруг вспомнил, что меня это уже не касается. Собор святого Кристофора, где меня крестили сорок семь лет назад, снова трансформировался в Божий храм — на моей памяти в этом здании последовательно размещались католическая библиотека, потом какая-то inferнальная галерея, увешанная красными фонарями, неизбежная дискотека в восьмидесятые, потом ночной клуб. Теперь снова церковь. О возобновлении службы, причастиях и отпеваниях оповещал раскисший самодельный плакат на стене.

В просвете между домами тускло сверкнул свинцовой водой Гудзон, я повернул на запад и направился к реке. С набережной открывался вид на Уолл-стрит и заново отстроенный Бизнес-Центр. Сияющие утёсы опустевших небоскрёбов втыкались в мохнатую изнанку серых туч, поражая своей циклопической ненужностью. Вспомнилось помпезное открытие Центра — я руководил оцеплением у Либерти Плазы, — слепящая медь военного оркестра, красные ковры на ступенях, из-за приезда Президента все словно посходили с ума. Я тогда видел её совсем рядом, она прошла мимо, бойкая, с прямой спиной, я мог запросто дотянуться до неё. О'Рэйли стоял у трибуны, ему повезло больше, Мишель пожала ему руку и похлопала по плечу, вечером он врал по пьяни, что она нечаянно даже ткнула его бюстом. Брехня, конечно, но, если честно, там было чем ткнуть.

У пирса внезапно потянуло подгоревшим кофе, под жёлтым навесом скучал араб со своей тележкой. Из хромированного титана он набуровил мне большой картонный стакан чёрной бурды, спросил про сахар, я отрицательно мотнул головой. Жидкость напоминала кофе лишь запахом и температурой. Я оставил арабу сдачу, сунул зонт подмышку, ледяная струя с навеса угодила мне прямоком за шиворот. Это, наверное, мне вместо спасибо.

По набережной гнал ветер, он упрямо толкал меня в спину, где-то бряцала по железу цепь, унылый звук проводил меня до теннисных кортов. Сетки были оборваны, перед входом мокла гора мусора. По мусору бродил некто в рыжем спасательном плаще с островерхим капюшоном, он тыкал палкой в мусор, что-то подбирал, внимательно разглядывал. Иногда опускал находку в грязную наволочку, притороченную к поясу вроде сумки, чаще небрежно бросал через плечо.

Первый раз я пришёл на эти корты в пятнадцать лет, тогда я только начал бриться, только начал привыкать к своим неожиданно раздавшимся плечам. Я приводил сюда Лорейн — я только начал встречаться с ней, калифорнийской девчонкой с золотистыми конопушками. Она смеялась всем моим шутками, её губы пахли сладкой лесной земляникой, и я всегда выбирал себе в соперники Большого Эда, он был на голову выше меня,

да и играл получше, но именно это заставляло Лорейн хлопать ещё громче, когда мне удавалось вклеить удачный мяч.

— Партнёра ищем? — капюшон повернулся и кивнул в сторону кортов. На конец палки он подцепил спортивный ботинок. Из капюшона торчала пегая борода в блёстках дождя.

Я остановился, в мусоре валялись сплюснутые жестянки из-под колы, пёстрый пластик смятых упаковок, спутанные наушники, тряпье, старые журналы, концом зонта я поддел драную майку. Ветер тут же сорвал её и кувырком погнал по мокрой набережной.

— Всё правильно! — капюшон крикнул в сторону небоскрёбов. — Всё правильно... Жадность... Жадность и глупость. Но природа пустоты не терпит. Не-ет! Природа обожает размножаться, плодиться, расти. Туда придут мыши и крысы, птицы, сорная трава, маленькие шустрые жуки. Как только вся эта банкирская сволочь съехала, в тот же миг туда уже вселялись новые обитатели. Всё правильно! — Он погрозил небоскрёбам палкой.

Я пнул ногой мокрый «Эсквайр», журнал раскрылся на рекламе «Абсолюта». Я присел на корточки, расклеил сырые страницы, стал листать. Пальцы дрожали и липли к мокрой бумаге.

— Дореформенный, — капюшон присел рядом. — Странно, что не сожгли. За такой за-просто в Канзас можно загреметь.

Бумага промокла насквозь, текст было не разобрать, фото стали пятнистыми, девица в бикини из-за потёков казалась больной какой-то страшной кожной болезнью. Капюшон крикнул и довольно засопел. Я перевернул страницу, на задней обложке была реклама «Кэмела».

Я дошёл до Баттери Парк, дальше идти не стоило даже днём. Сгоревшее два года назад здание яхт-клуба, пустая веранда, из грязной воды торчала мачта с болтающимися на ветру снастями. В маслянистых волнах среди мелкого мусора качалось плетёное дачное кресло. На горизонте, в дождливом мареве я разглядел статую Свободы. Воняло каким-то гнильём, я огляделся, сплюнул, во рту было сухо и горько. Нужно было что-то съесть, иначе до вечера мне не дотянуть.

Начался Чайна-Таун, Канал-Стрит прямая, как труба, продувалась насквозь, китайские лавки так и стояли заколоченные, ни уличных торговцев, ни прохожих. На серой стене здания почты краснела корявая надпись аэрозолем «Крысы — вон!» и Реформаторский крест. Я свернул в сторону Сохо.

Бар по-прежнему назывался «Глория», только само слово «бар» на вывеске было замазано белой краской. Я толкнул дверь, шагнул в сумрак, кроме хозяина, никого не было. Он полулежал на стойке и пялился в телевизор. За его спиной, там, где раньше выставлялись бутылки, висел флаг Конфедерации и плакат братства «Чистый Город».

— Пожевать что есть? — спросил я, гремя табуретом и влезая за стойку. Вытер ладони о штаны — все вокруг казалось влажным на ощупь, будто в холодном поту.

— Сэндвич. Сыр, ветчина... — не отрываясь от экрана, буркнул хозяин. Там крутили вчерашний «Колокол Свободы». Мак-Ларен, блестя жирным лбом, беседовал с каким-то бледным аналитиком. Хозяин нехотя сполз со стойки и пошаркал на кухню. Мак-Ларен напористо спрашивал, аналитик открывал рот, Мак-Ларен тут же перебивал его и сам отвечал на вопрос.

— ...вернулись к истокам... — попытался встрять аналитик, безуспешно.

— К истокам истинной демократии, завещанной нам отцами-основателями и закреплённой в нашей Конституции.

На кухне что-то с весёлым звоном грохнулось на пол, хозяин выматерился.

— Основанном на... — аналитик без особой надежды начал.

— Христианских ценностях, христианской морали. Патриотизм, нравственность и демократия — вот три столпа Реформации.

— Чистота...

— Нравственная и физическая чистота, без физической чистоты нет чистоты нравственной, без нравственной чистоты нет государства. Страшно представить, что мы стояли на краю пропасти, — камера наехала на Мак-Ларена, он выпучил глаза. — На краю пропасти! Мы едва не потеряли Америку! Страну, которую основали наши предки, которую любили и завещали нам.

— Едва не потеряли... — аналитика даже не показали.

— Либерализм, терпимость, — Мак-Ларен скривил рот. — Терпимость к чему? Что какие-то дикари приезжают в мою страну и устанавливают здесь свои дикарские порядки? Строят тут свои мечети, капища, молельни?

С кухни неожиданно запахло жареным хлебом. От желания курить у меня заломило в висках.

— И не надо стесняться! Да, это крестовый поход! Да, это борьба! — Мак-Ларен разошёлся и стал пунцовым. — Америка была основана белыми для белых, такой она и останется! — он стукнул кулаком в стол. Аналитик молчал.

Сэндвич оказался неожиданно вкусным.

— Молодец мужик! — лениво восхитился хозяин, кивнув на экран. — Молодец.

Пошла реклама каких-то медикаментов.

— Вчера Вашингтон показывали, — хозяин хохотнул. — Не смотрели?

Я, жуя, отрицательно мотнул головой.

— Да-а... Как всё быстро это... — хозяин погрузился, спросил. — Может, имеет смысл тоже в Техас, вы как думаете? Или во Флориду?

Я пожал плечами.

— Хотя кому это сейчас продашь? — он мрачно посмотрел на потолок. — Раньше надо было... Раньше.

Отодвинув тарелку, я полез за бумажником.

— Сорок пять, — буркнул хозяин.

Я достал триста, он долго отсчитывал сдачу, ворча, что эти новые деньги все на одно лицо. Тут он был прав, на всех купюрах был напечатан Рейган, разнились лишь цифры.

Я оставил на стойке пятёрку, запахнул плащ, хозяин окликнул меня у дверей.

— Зонтик забыли.

Я вернулся, сунул зонтик подмышку. Хозяин перегнулся через стойку, посмотрел сенбернарьими глазами:

— Хотя с бухлом они переборщили. На мой взгляд.

— Если бы только с бухлом, — я кивнул ему и вышел.

Дождь почти перестал, до встречи оставалось три часа. Пальцы пахли маслом и жареным хлебом, я поднял воротник и пошёл в сторону Мидтауна. Ближе к Таймс-Сквер стали попадаться прохожие, мокрые и торопливые. Уже совсем стемнело, небо вдруг стало грязно-розовым, каким-то осязаемо шершавым. Я вышел на площадь, от фонарей и рекламы понималось вверх молочное марево, с гигантского вертикального биллборда мне улыбался циклопический Рейган, румяный и белозубый, под ним сияла неоновая надпись «Господи, благослови Америку!». На углу Сорок Второй настырно гремел колокольчик, там пара толстоногих девиц собирала пожертвования для «Белого Креста», я отмахнулся. Откуда-то пахло подгоревшими сосисками.

На Мэдисон я перешёл на другую сторону, не хотелось столкнуться ни с кем из наших. В Управлении горели почти все окна, в моём кабинете тоже, в моём бывшем. Я прикинул, кого посадили на моё место, скорее всего, Гордона. Или этого зануду, Расмуссена. Я удивился, с каким безразличием я подумал об этом, без злобы, без зависти. Пожалуй, Джуди была права — моя лояльность может соперничать лишь с моей наивностью.

«Настоящий мужик должен знать, за что он готов умереть», — говорил мне отец. Отец был настоящим мужиком, ему точно было известно, за что он готов отдать жизнь: за нас с матерью, за друзей, за родину. Он служил в Безопасности, мне было тринадцать лет, и отцовские убеждения тогда казались мне бесспорными. Сегодня ситуация не выглядит так просто — Джуди, забрав дочек, уехала в Канаду четыре года назад, друзей у меня не осталось, с родиной тоже всё не так гладко.

Я не идеалист, скорее, прагматик. Человек должен иметь цель, если у него нет её, он должен стать частью чего-то большего, примкнуть. И тогда появится и цель, и смысл. Благослови Господь моё наивное сердце, но я, в отличие от других ребят из Управления, никогда не думал о справедливости, что бы это странное слово ни значило. Единственное, ради чего я работал, была истина. Если очистить шелуху, то окажется, что истина это та основа, на которой всё держится. Истина это порядок, который противостоит хаосу. Порядок всегда структурирован, хаос деконструктивен по своей природе. Упорядоченная система может делать ошибки, заблуждаться, но в ней заложено главное — структура. Гарантия поступательного развития в верном направлении. А ошибки будут исправлены рано или поздно.

Западный вход в Центральный Парк, без двадцати девять. Чёрное на чёрном, путаница голых сучьев на фоне грязного неба, парк похож на глухую тёмную стену. Бледные фонари вдоль Парк-Авеню делали темень парка ещё непроглядней. У входа в «Дакоту» на углу стоял патрульный «форд», на другом углу я заметил топтуна, он делал вид, что ждёт автобус, разглядывая расписание. Поднялась изжога, я сглотнул тягучую слюну. Появилось желание уйти, но я знал, что не сделаю этого и дождусь Курта.

Я перебежал через улицу, встал в тень и огляделся, после прошмыгнул в парк. Влажный холодный воздух, тут пахло мокрой землёй, гнилыми листьями. Над головой пронеслась стая невидимых птиц, так низко, я даже пригнул голову. Курт опоздал на двадцать минут, мерзавец не торопился, знал, что я никуда не денусь. Тем более после того, как взяли Мачека. Я тихо свистнул, Курт вздрогнул. Я моргнул фонариком сквозь карман.

— Это тебе не корейская трава! Турецкий табак, настоящий! — от Курта разило чем-то молочным, приторным, как от грудничка. — Как в «Кэмеле», помнишь?

Я помнил. Ещё я был уверен, что Клаус сдаст меня, вопрос заключался — когда. Зная его практичность, я решил, что всё-таки после того, как я расплачусь за товар. Я ухватил его за локоть, потащил за собой в темноту, по петляющей вниз дорожке. Глаза привыкли, я мог разглядеть решётку ограды, просветы между деревьями.

— Ты что? — он дёрнулся, попытался упереться, я сильнее сжал его локоть. — Больно! Куда ты тащишь?

— Не на улице же. Заткнись.

Где-то на Ист-Сайд, за чёрной громадой мокрого парка, завывала полицейская сирена, дикий, повторяющийся снова и снова звук.

— Всё! — Клаус ухватился рукой за ограду. — Я дальше не пойду.

— Я тоже, — я отпустил его.

Видел лишь его силуэт, он согнулся, расстегнул куртку, послышался звук молнии, что-то зашуршало.

— Посвети... — сдавленно проговорил он. — Осторожней...

Сигареты были совсем короткие, не длинней мизинца, каждая аккуратно завернута в прозрачный целлофан, как рождественская конфета.

— Шестьсот «ронов». За обе.

Мачек получал свой товар из Канады, его «пахитоски» были длинней на дюйм и стоили в два раза дешевле. Но это уже не имело никакого значения. Я отсчитал деньги, осторожно убрал сигареты во внутренний карман.

— Приятно иметь бизнес... — скороговоркой проговорил Курт, торопливо застёгиваясь. — Ч-чёрт. В любое время...

Я ощущал кожей, что вот именно сейчас взвоят сирены, вспыхнут галогены, кто-то прохрипит в мегафон: «Не двигаться! Вы окружены!». Но ничего не произошло. Курт, быстро шаркая подошвами, растворился в чернильной тьме. Я задержал дыхание, прислушался: за пределами парка вздыхал и ворочался город, в этот звук вплетался гулкий стук, частый и упругий. Я не мог понять, потом догадался — сердце.

Я сделал шаг в сторону выхода и застыл — они меня ждут там! Поэтому никто и не прыгал из кустов, не заламывал руки. Они уверены, что я не попрусь через Центральный Парк ночью. То, что Курт сдаёт своих клиентов, я знал наверняка, от Лоренца из Пятого.

Включать фонарик было нельзя, меня будет видно из Бруклина. Фонарик оставим на крайний случай. Я решил пойти в сторону главного входа, к Коламбус. Сбиться с дороги я не мог, прямо по курсу в небе клубился сизым маревом Таймс-Сквер. Шагал быстро, почти бесшумно, изредка хрустела под башмаком ветка, мокро шуршали опавшие листья. Парковая темень и тишь делали меня невидимым, я слился с деревьями, стал частью ночи. Мерный шум за оградой успокаивал, город дышал, как ночной океан. Не суетливый прибой мелких торопливых волн, а могучий многомильный накат сонного великого океана. Я трогал карман, ощущал грудной клеткой сигареты, мне пришла сумасшедшая мысль закурить прямо сейчас.

Кто-то наступил на палку, слева, совсем рядом от меня. Я сжался, замер, тот, в темноте, наверняка слышал грохот моего сердца. Я ухватил зонт за середину, отвёл руку назад, выставив острый конец как копьё. Бить нужно в самый низ горла, там ярёмная впадина между ключиц.

— Кто тут? — мой голос прозвучал плоско и глухо.

Слева что-то зашуршало, словно кто-то теребил пакет с чипсами. Пялясь до ломоты в глазах в черноту, я беззвучно достал фонарь. В круге света возникло испуганное бабье лицо. Она заслонила ладонью, я выключил фонарь.

— Ещё кто-нибудь есть? — угрожающе проговорил полушёпотом. После света всё во круг погрузилось в чернильную темень.

— Никого... — ответила она, скорее устало, чем испуганно.

— Что ты тут делаешь? В парке находиться с наступлением темноты запрещается.

— Да тут и днём страшно...

— Как зовут? — тем же глухим голосом спросил я. Над головой снова пронеслась стая невидимых птиц.

— Глэдис.

Зрение постепенно возвращалось, после притока адреналина накрыла усталость, кулак, сжимавший зонт, затёк и онемел.

— А вы не из легиона?

— Нет, — я ответил брезгливо, грубо. — Нет, Глэдис, — повторил я мягче. — Конечно, нет.

— Они забрали Криса, — устало произнесла она. — Я знаю, это Стюарты из тридцать первой. Я говорила Крису, что дома нельзя. Он — в ванной вентиляция, всё в трубу, никакого запаха. Вентиляция.

Она выругалась безразлично, будто читала текст с бумажки. На Ист-Сайд завывала пожарная сирена, машина быстро двигалась на юг, унося с собой вой. В начале октября премия за одного токса выросла вдвое. Двадцать тысяч вполне могли соблазнить не только Стюартов из тридцать первой. Тем более, в тяжёлые годы возрождения экономической мощи — как остроумно называют наш экономический крах лидеры из Новой Коалиции.

— У вас закурить нет? — спросила Глэдис. Спросила обыденно, последний раз так меня спрашивали лет пять назад, до Реформации и Обновления. До закона «Чистая Америка», над которым поначалу даже смеялись. Смеялись до тех пор, пока Легион не начал устраивать облавы на лавки, продающие курево из-под полы. Контрабандой и торговлей занимались преимущественно китайцы, они быстро смекнули и стали торговать на улицах. Продавали, в основном, старушки — сморщенные китайские бабушки. Тогда ещё оставались местные запасы, пачка вирджинских шла за тридцать-сорок баксов. Это ещё до новых денег.

Вспоминая это, меня неожиданно поразило, насколько стремительно, а главное, незаметно всё произошло. Наши споры с Джуди, когда я ей доказывал, что политика как маятник, что через несколько лет общество проголосует снова за либералов. Если нам дадут голосовать, кричала она, ты посмотри вокруг. Мы, очевидно, обращали внимание на разные аспекты. Я по долгу службы знал о росте этнической преступности, о мексиканских бандах в Калифорнии, китайском и русском влиянии на Восточном побережье. Джуди видела лишь ответные меры. После убийства Обамы в стране объявили особое положение, но на следующих выборах победила Мишель. Мне кажется, нет, я уверен, что именно чёрная баба в Белом доме стала той самой последней соломинкой. Республиканцы поняли, что при постоянно тающем проценте белого населения им никогда уже не выиграть. Не выиграть на выборах.

Где-то наверху, в путанице чёрных сучьев, чирикнула невидимая птица. Просвистела пару осторожных нот, словно пробуя голос. Я залез во внутренний карман, достал сигарету. Зашуршал целлофаном.

— Господи... — прошептала Глэдис. — Можно?..

Я дотронулся до её руки, пальцы были ледяные. Она поднесла сигарету к лицу, осторожно втянула воздух.

— Господи... — повторила она. — Как вкусно.

— Табак... — зачем-то сказал я.

Импичмент Мишель разыграли ловко, был август, мёртвый сезон в Вашингтоне. В ту же ночь вспыхнули беспорядки, начались погромы в крупных городах. Джуди была уверена, что это крупномасштабная провокация. Тогда она объявила, что уезжает в Канаду, забирает дочек и уезжает. Со мной или без меня. В ту ночь мы впервые разругались вдрызг, я обзывал её либеральной истеричкой, анархисткой и хиппи. Что я буду делать в этой чёртовой Канаде, кричал я. Ловить форель и собирать гербарий? Мой отец был нью-йоркским копом, он гордился этим, я тоже полицейский, для меня порядок — не пустой звук. И я не меняю родину, как башмаки. Ей удалось выехать, а через неделю Америка вышла из ООН и закрыла все границы.

Я нащупал спички в кармане, картонка промокла сквозь плащ. Достал, попытался чиркнуть.

— Дохлый номер, — я слышал, как Глэдис часто дышит, спросил её: — У вас нет огня?

Она помотала головой, я не видел, догадался. Она нашарила мою руку, вернула сигарету:

— Спасибо вам.

— Да что там...

Я хотел уйти, неожиданно для себя я замешкался и позвал её:

— Глэдис?

— Да?

— Вот. Держите. Спички высохнут скоро... — я сунул ей в руку сигарету и картонку спичек. — Их о волосы можно высушить. Мы так в школе делали. Держите.

Впереди замаячили огни площади Колумба, сквозь деревья вспыхивали фары машин, сворачивающих на Бродвей. У статуи первооткрывателя континента была отбита голова, мраморная группа аборигенов, чёрная от копоти, протягивала Колумбу каменные цветы и фрукты. Здесь четыре года назад были баррикады, восставшие держали парк почти неделю, «дельта» под конец применяла огнемёты...

Прямо перед входом расположился патруль Легиона, человек семь-восемь, до меня донёсся говор, потом хохот, зычный, мужской. Я нырнул в просвет между кустов, нога угодила в лужу по щиколотку, шёпотом матерясь, я пробрался к ограде, пошёл вдоль стальных прутьев. Нашёл лаз, несколько прутьев были выломаны. Подождал, на Шестьдесят Пятой зажёгся красный, Парк Авеню опустела, я быстро проскользнул на тротуар. Подошёл к обочине, опёрся на зонтик и стал ждать такси.

В такси воняло рыбой. Я попытался выключить телевизор, безуспешно тыкал, давил пальцем в сальный экран, электронная тварь не слушалась.

— Не трудитесь, — водитель приоткрыл щель в салон. — Звук тоже заело.

Я втиснулся в угол, перекинув ногу на ногу, стал пялиться в телевизор. Шёл прямой эфир «Патриотов» с Бобом Дейли. Среди крепких ветчинных лиц и ярких галстуков затесалась худосочная дама с ванильными волосами, дама чуть косила, камера сразу переехала на соседа. Им оказался супер-интендант Краутхаммер, мой бывший начальник. Боб что-то спросил его, мой экс-босс, пучась по-рачьи, отвечал. Почти альбинос, Краутхаммер, когда нервничал, моментально краснел и шёл пятнами.

— Уличный мониторинг, камеры и смок-детекторы, — нервно говорил он. — Это не нарушение конституционных свобод, это защита общества от врагов свободы и конституции...

— Да что вы меня агитируете? — смеясь, махнул рукой Боб. — Я ж не какая-то там либеральная профурсетка! — гости вежливо захихикали. — Довольно нам этой манной каши — либерализм, сострадание! Довольно! — Боб нахмурил лоб. — Сострадание я вижу в том, что полиция обязана очистить наши города от мрази. И как патриот я даю вам карт-бланш. Действуйте!

— Мы и действуем... — неуверенно откликнулся Краухаммер. — Действуем. Новые смок-детекторы обладают не только большим радиусом, но главное, они улавливают не только дым, но и сам никотин.

За окном в мокрой черноте пролетали жёлтые и красные огни, мы пересекли Пятую. От рыбной вони меня мутило, я попытался открыть окно, надавил кнопку, в двери что-то натужно зажужало, но стекло не сдвинулось.

— Допустим, в одежде токса, в волосах, — он провёл веснушчатой лапой по своему белобрысому пуху на голове. — Мы планируем установить детекторы в подземке, такси, в кинотеатрах.

— Вот! Вот! — Боб заёрзал, потирая руки. — Пошёл в кино, а оказался в Канзасе!

Все снова засмеялись. Я сглотнул, во рту было сухо, мне казалось, что меня вырвет. Я, стараясь не дышать, застучал в перегородку.

— Остановите! Я тут выйду.

Таксист лихим виражом прижался к бордюру, я сунул деньги в щель. Выпрямившись на тротуаре, глубоко вдохнул сырой стылый воздух. Машина фыркнула, моргнув красным, исчезла. Разумеется, я забыл свой зонт.

До Челси добрался без приключений. У Пен-Стейшен толпилась братва из Легиона, наверное, на вокзале устраивали облаву. Их бело-красные автобусы с синими звёздами я заметил издали и от греха подальше свернул в переулки.

У моего подъезда стоял патрульный «форд». Я нырнул в тень, вжался в пролёт между витринами. Под ногами захрустело битое стекло, одна витрина была разбита. К подъезду подкатил второй патруль, из машины вылез полицейский, подтягивая сбрую, подошёл к первой машине и наклонился к окну. Оставаться тут нельзя, я попятился назад, потом побежал, стараясь не попадать в жёлтые лужи света под фонарями. Где-то впереди завывала сирена, звук быстро приближался. Я рванул в сторону Челси-парка, но одумавшись, остановился — полицейский наряд прочешет этот сквер за пять минут. Перебежал через улицу, толкнул дверь в церковь Святого Кристофора. Дверь тяжело подалась, я беззвучно прошмыгнул внутрь.

Церковный запах — свечи, старое дерево, горькая восковая мастика — дверь захлопнулась, повисла тишина. Я прислушался, тишина напоминала осыпающийся песок, едва уловимый шуршащий звук. Я слушал, затаив дыхание, потом понял — звук исходил от свечей. В церкви никого не было.

Мягко ступая, я прошёл боковым нефом, втиснулся на скамейку. Коленки упёрлись — никто не сказал, что в церкви должно быть удобно. От усталости и нервотрёпки руки дрожали, мелко, противно — я ухватился за край скамьи. Только сейчас я понял, насколько вымотался за день.

Над алтарём висел распятый Христос, он был покрашен розовой краской с капельками рубиновой крови. Я вспомнил, как в детстве до мурашек боялся встретиться взглядом с его деревянными глазами. Отец в сверкающей парадной форме, каждое воскресенье было как праздник, мы всегда сидели во втором ряду. Я попытался вспомнить маму, её лицо. Ничего не получалось, она ускользала, оставляя лишь солнечные блики и радостный запах горячего лета. Запах травы, когда падаешь на футбольное поле после победы, синие тени неподвижных деревьев, за ними — озеро, крики и смех, смачный плеск от удачной «бомбочки», неповторимая сладость ванильного пломбира, текущего по пальцам.

Достал бумажник, там, под пластиком, была карточка двухлетней давности, сейчас девочкам уже двенадцать и девять. Я провёл пальцем по фото, эти лица я помнил наизусть. Испуганные лица, когда я привёз их в аэропорт, Джуди кусала губы, она смотрела мне в лицо и ничего не говорила. Ни слова, только смотрела. От её взгляда мне хотелось удавиться. Они прошли через паспорт-контроль, младшая всё оглядывалась, потом заревела. Джуди поднялась на цыпочки, я поймал её взгляд поверх голов. Потом они исчезли в толпе.

Я подался вперёд, уткнул подбородок в спинку первого ряда, только сейчас я заметил, что сел именно там, где мы всегда сидели — второй ряд, слева. Перед алтарём горели свечи, много тонких свечей. Они уже догорали, некоторые коптили, подрагивая рыжим пламенем, по деревянному телу Христа бродили красноватые отсветы.

— Вот такие дела, брат, — я посмотрел в лицо Иисусу. — Такие вот хреновые дела.

Бог безразлично глядел сквозь меня. Впрочем, ни Он, ни Другой, который высекает законы в камне, никогда не обещали мне награды за примерное поведение. Я всё решил сам. Джуди предвидела, она предупреждала меня — я считал, что мой долг перед обществом, — я усмехнулся, сейчас звучит как ахинея, — патриотизм, — тоже отличное слово! — моя работа, служба, нет, Служба! — гораздо важнее всего на свете. Уж точно важнее дочек, Джуди, нашей семьи. Я всё решил сам!

На улице снова взвыли сирены, в истеричный полицейский фальцет вплеталось нервное санитарное контральто. Я закрыл глаза, до боли начал тереть их пальцами. Если бы ты дал мне шанс, один, последний шанс! Поплыли жаркие круги — лимонные, красные, белые.

Я лукавил, на самом деле шанс был: два месяца назад Мачек дал мне человека, который переправляет через озеро Онтарио. Я никуда не собираюсь, засмеялся я тогда. Мачек написал телефон, сложил бумажку пополам и совершенно серьёзно сказал: «Откуда тебе-то знать? Сохрани».

Я убрал бумажник, на дне кармана нащупал сигарету. Развернул целлофан, сладковато запахло хорошим табаком. Аккуратно размял, табак сухо зашуршал под пальцами.

— Не возражаешь? — кивнув Христу, я сунул сигарету в рот. Вспомнил, что отдал спички. Стукнувшись коленом, выбрался в проход, подошёл к алтарю. Помедлив, наклонился и прикурил от крайней свечи. От первой затяжки поплыла голова, словно в детстве, когда мы курили на чердаке украденный у отца «Честерфильд». Я опустился на лавку, устало, как грузчик. Перед глазами поплыли лица, дождь, какие-то огни. Я глубоко затаился, деликатно выпустил дым в сторону.

— Господи, — улыбнулся я. — Если б ты только знал, какая благодать...

С улицы послышался шум, топот. Я замер. Кто-то приказал: «Сэм! И ты, придурок, быстро сюда!». В дверь забарабанили, тот же голос крикнул: «Да там открыто, уроды!». Дверь с грохотом распахнулась, зашаркали сапоги, гулко отдаваясь, прыгающим под сводами, эхом. Я вжался в спинку, бежать было поздно, бежать было некуда. Сигарета прилипла к губе, дым, щекоча нос, голубой ниткой струился вверх. По стенам заплескали лучи фонарей, уродливо засуетились крабы тени.

— За алтарём проверить! И проходы! — раздалось сзади. Мимо меня прошагал легионер, с удовольствием гремя коваными ботинками. Он ткнул светом фонаря в Христа, хмыкнул, пошёл вдоль алтаря, нагибаясь и светя по низу.

— Тут свечи всякие, господин капрал! Горят! — заорал он. — Может, это на них детектор сработал?

Капрал сзади выругался и приказал не ловить ворон. Легионер тихо огрызнулся, повернулся. Он стоял совсем близко, я чувствовал вонь его новой портупей. Свет фонаря прыгал по скамьям, потом уткнулся мне в грудь.

— Никого! — крикнул легионер и зашагал к выходу.

— Всем построиться! Быстр-ро! — зычно заорал капрал. — Шевелись!

Фонари погасли, часто зашаркали сапоги, кто-то споткнулся, выругался. Грохнула дверь.

Я уронил окурок на пол, придавил малиновый уголёк подошвой. Витражные стёкла в узком стрельчатом окне тускло светились тёмным ультрамарином. Я сунул руки в карманы, прижался к твёрдой спинке деревянной скамье и застыл, вглядываясь в окно. До расвета оставалось несколько часов.

Марина НЕМАРСКАЯ



Поэт, литературовед. Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького, магистрантка кафедры британской филологии СПбГУ. Бывшая вокалистка джаз-рок-хора театральной студии «Акварель» и бард-рок-группы «Сирин». Автор музыкальных альбомов «Печали», «Другое время». Годовой стипендиат международного конкурса искусств «Новые имена». Публиковалась в альманахах «Музы на Фонтанке», «Аничков сад», «Пролог», «Вечерний Петербург», «Урал-Транзит», «Молодой Петербург». Автор сборников стихов «Русское имя» (2002), «Женщина» (2006)»

Марина Немарская умеет талантливо слагать стихи. Это высокий уровень версификации, не лишенной временами изящества. Ну вот, например:

радостно, это солнце жуёт ежа,
колется обольстительной желтизной.
идол мой, это руки твои дрожат,
если ты заговариваешь со мной.

На четвертую строку «ж» не хватило, но в трёх предшествующих оно проведено очень даже мясисто.

Восприятие такой поэзии для меня неразрывно и неизбежно связано с раздражающей мыслью — призрак бродит по Европе. Призрак Бродского. Но, смиряя мою личную неприязнь к его весьма талантливым и холодным стихам, должен признать — влияние Бродского огромно. Да и потом, почему не он! Было влияние Пушкина, пока писать так не «научился» каждый «дурак» (поэтика, скажем, Лермонтова, во многом и по сегодня никем не освоена — поди сыщи в русской поэзии что-нибудь похожее на «И скучно и грустно, и некому руку подать // В минуту душевной невзгоды...»!). Теперь эпоха влияния Бродского, и надо заметить — многие уже научились писать более или менее а la. Кто-то должен же влиять, так почему не он — Нобель, всё-таки. Как-никак.

Внутренне Марина Немарская — вполне на «бродской» волне. Колорит её стихов холодноват. В современном ментальном контексте — это очень русские стихи, депрессивные... неуютные, без места под солнцем. Внутри этих стихов почти постоянно идёт дождь. Неожиданные просветы (питерский розовый асфальт!) особенно приятны, потому что долгожданны. Вот почему так привлекает внимание солнце, жующее ежа. Бывают случаи, когда стихи Немарской распадаются, потому что скреплены только смыслом, но не чувством. Это случилось, на мой взгляд, в стихе: «так смерть во сне приходит от апноэ...». Тут вообще очень важен «мой взгляд»... всякий «мой» (твой, ваш), коротко говоря, персональный взгляд может внести существенные коррективы в то, что говорю я о стихах Марины Немарской.

Б. Левит-Броун

* * *

этот ребенок, зачатый за перерыв
между распадом страны и обманом нищих,
давится хлебом и зрелищем с той поры,
как протрезвел и добра от добра не ищет.

этот ребенок течет на свет, что река.
не задает вопросов, слывет калеккой.
тридцать восьмой гниет в его днк,
что ему третий срок и язык узбеков.

этот ребенок с богом своим вразброд,
год от года делаясь все паскудней.
может, этот ребенок — простой народ,
что выживает в россии печальных будней.

* * *

из прошлой жизни, в которой я был рабом,
не помню крыльцо, деревянных ступеней всхлипы,
не помню раскрытые окна, хозяйский дом,
апрель и паркет в клейких почках со старой липы.

не помню, как я в лихорадке лежал ничком,
как мать ткала и стирала в дневное время,
и грела хозяйские простыни перед сном,
потом из людской приносила питье с вареньем.

и ночь, когда звала врача для меня,
не помню, и как в ответ отец-благодетель
зевая, сказал, не тужи, мы одна семья,
а мать стояла в слезах и желала смерти.

* * *

радостно, это солнце жует ежа,
колется обольстительной желтизной.
идол мой, это руки твои дрожат,
если ты заговариваешь со мной.

радостно, это в марте слепят лучи
комнату с панорамой на ипподром
идол мой, это тело твое звучит
сказками, переплесками, серебром.

радостно, это завтрак из нежных блюд,
в воздухе набухает листва и сныть.
идол мой, это я еще не люблю,
это я позволяю себя любить.

* * *

дурнота, почти что собачья смерть,
над домами сдавленные дожди.
не вздохнуть, так это любовь, ответь,
что дитя, играет с огнем в груди?

или сквозь безжизненный суховей,
сомкнутые юродствами и родством,
так мы откликаемся синеве,
словно связки голоса одного?

* * *

так смерть во сне приходит от апноэ, —
внезапна, тяжела, а, между тем,
рукой подать, покуда без покоя
сидит один покойник в темноте.

в архей, палеозой, при кайнозое
сидит себе под струями дождя,
и от него, как полоса прибоя
от берега, по капле отходя,

я медлюсь из белка и перегноя
в медовых сотах светового дня,
и небо аустерлица надо мною,
и нравственный закон внутри меня.

* * *

четверть часа, от силы, двадцать минут по трассе,
с разных сторон могилы, ровные, как матрацы.
следом за мною выйдет девушка в черной куртке.
стану чуть ядовитей, спрячу в карман окурки.

и, опершись на палку, мирно вдохну окрестность,
скоро здесь будет свалка вместо тиши древесной,
смолкнет, как птичья стая, круговорот в природе,
впрочем, я не узнаю, время мое уходит.

Дмитрий КОЗЛОВ



Родился 9 февраля 1986 года в Киеве, СССР (Украина).

Сам автор так говорит о себе:

«Родился, вырос и живу в городе Киеве. В жизни успел примерить множество «ролей»: от заводского рабочего и медработника до реставратора и историка искусства. И каждую из этих «ролей» играл всерьёз, по-настоящему. Единственное, что оставалось неизменным — любовь к литературе во всём её многообразии. За писательское ремесло взялся несколько лет назад, и отношусь к нему так же, как и к прочим моим начинаниям — всерьёз. Опубликовал несколько рассказов, и надеюсь опубликовать ещё».

Публиковался в журналах «Млечный путь», «Уральский следопыт», «УФО», «Странник», DARKER, в альманахе «ФАНТАСКОП».

Яркий. Концептуальный. Человечный. Сейчас приятно смеяться над гуманизмом; в литературе часто ищут оригинальности, эксперимента, словесной вязи. Дмитрий Козлов не жонглирует словами. Он пишет о простых вещах. И о непростых тоже. Он идет по грани между детством и мудростью. Он часто наивен. И тут же, по контрасту, насмешлив. Он знает: жизнь — боль. И тут же кричит нам: жизнь — радость.

Елена Крюкова

МЫШЬ

Когда Антонина Брониславовна входила в аудиторию, казалось, что она вытесняет своим могучим телом весь воздух. Вот и сейчас, рассекая духоту, она плыла среди студентов в огромном белоснежном халате, как заиндевелый ледакол — или броненосец, под стать её отчеству, — выдавливая остатки кислорода из раскалённой июньским солнцем комнатухи на пятом этаже Физико-Математического корпуса Киевского мединститута. В руках она торжественно несла стеклянную банку, по дну которой бегала туда-сюда крохотная лабораторная мышка-альбинос, белоснежная, как Антонина Брониславовна, и студенты, притихшие, зашуршали конспектами при появлении грозного доцента.

— П-А-А-А-то-физиология гипоксии!!! — прогремел грозный голос Антонины Брониславовны, эхом отскочив от увешанных анатомическими пособиями стен и огрев по затыл-

кам вжавшихся в стулья студентов. Торопливо заскребли ручки, выводя тему лекции.

— Прежде чем перейти, собственно, к патогенезу, мы с вами проведём небольшой эксперимент, чтобы понять клинику гипоксии и её стадии, — продолжала грохотать огромная белая гора, а затем плотно закупорила банку крышкой и поставила на стол.

— Прошу всех внимательно наблюдать.

Студенты уставились на зверька за стеклом. Некоторое время ничего не происходило — мышь просто бегала по своей стеклянной темнице.

Затем воздух начал подходить к концу.

— Запишите! Стадии острой гипоксии! Первая — увеличение частоты и глубины дыхания, возникновение одышки!

Мышь в панике заметалась по банке. Сидевшим впереди Оле Ельской, которую все называли Ёлка, и Мише Бездверному было хорошо видно, как быстро задышала мышь. Покрывавшие тельце белые волоски встали дыбом.

— Далее! Увеличение частоты сердечных сокращений!

Крохотное мышинное сердце бешено заколотилось под белой шерстью. Зверёк повернулся к людям и замолотил лапками по стеклу; крохотные глаза-бусинки заблестели, и Ёлке показалось, что она видит в этих красных точках своё отражение.

— Далее!

— Хватит! — вскрикнула Ёлка. Казалось, остальные перестали дышать, настолько их ужаснул Ёлкин поступок: перебить саму Антонину Брониславовну.

— Прошу прощения? — поправив очки на крючковатом носу, ответила доцент. Было видно, что она так же удивлена подобной наглостью, как остальные.

— Зачем это?! Зачем её мучить?! Она же умирает!

— Ой, Ёлка, перестань, — устало бросил Миша, сопроводив слова полным цинизма взглядом. — Это же наука. Как собаки Павлова. Это всё во благо.

— Какое благо, какая наука?! Мышь засунули в банку, и она задохнулась! Вот и весь вывод!

Антонина Брониславовна вздохнула — так, будто слышала всё это миллионы раз на своём долгом веку, и неожиданно тихо спросила:

— И что же вы предлагаете?

— Выпустить её!

— Простите, — прокашлялась доцент и принялась махать методичкой, чтобы хоть немного освежить вспотевшее лицо. — Виварий института и так переполнен. Мы не можем просто выпустить её. Вот если кто-нибудь из вас возьмёт её домой...

И всё затихло. Ёлка думала о родителях, о том, что квартира слишком маленькая... Лена Сенина, сидевшая за ней — о том, что у них дома кот живёт... Огромный самбист Паша «Самосвал», на галёрке, просто подумал, что мышку, конечно, жалко, но всё же притащить грызуна в дом... Смуглая Катя из Крыма, которая перевелась только вчера, вспомнила Люську — морскую свинку, живущую у неё на съёмной квартире, и решила, что её долг по отношению к отряду *rodentia* уже и так выполнен сполна...

Безразлично щёлкали старые часы «Стрела» на стене. Мышь затихла и упала на бок... Лапки едва подёргивались... Почти никто не смотрел на банку, не желая наблюдать агонию... Ёлка, усевшись на место, смущённо отвернулась.

Миша не сводил глаз с банки. Духота в комнате вдруг показалась ему нестерпимой — хотелось бежать прочь, туда, в палящее, яркое, гудящее и звенящее лето...

— Я! — вскочил он вдруг с места. Антонина Брониславовна, медитативно взиравшая на гибнущего в банке зверька, резко повернулась; лицо, похожее на расплавленную, растекшуюся по земле и застывшую резину, вновь исказила гримаса удивления.

— Что вы?

— Я заберу! Заберу её себе! Только откройте банку!

— Но вы же только что...

— Открывайте, скорее!!!

Пробурчав себе под нос нечто неразборчивое, доцент потянулась за банкой.

— Боюсь, уже слишком поздно.

Крышка открылась с едва слышным хлопком. Студенты уставились на банку. Миша вскочил и подбежал к преподавательскому столу.

Мышь не шевелилась.

Миша ждал. Он верил, что в любой момент лапки зверька могут шевельнуться, и мышь вернётся к жизни.

В абсолютной тишине продолжали щёлкать старые часы.

АГИТАТОР

Метель занесла всё белым, сугробы скрыли машины, скамейки, газоны, пробка гудела на проспекте, а по оранжевому от света фонарей снегу пробирался я — замёрзший и укутанный, как пленные немцы на фотографиях из Сталинграда. Окоченевшие в дешёвых перчатках пальцы — на большом уже протёрлась дыра — сжали пакет с проклятыми агитматериалами. Хотелось послать всё на хрен и рвануть домой, благо ехать было часа два — до метро, на метро, от метро... Но жадность брала своё: «оранжевая» партия платила очень щедро — по полтиннику за вечер, что было очень кстати: деньги нужны были позарез. Отец умер прошлым летом, а пособия было мало для... Да для всего было мало. Так что можно было и потрудиться. К тому же остался всего один подъезд шестнарика — вот этот, за припаркованным впритык и похороненным в снегу «Фордом Фиеста».

Нажав на продавленные кнопки кодового замка — домофоны пока, слава богу, были редкой птицей — я оказался внутри, в затхлой пещерной темноте. К счастью, лифт работал — даже тусклая лампочка бросала слабый свет на имя «Цой» и прочие слова из трёх букв, покрывавшие стенки... Раздолбанная коробка со скрежетом потащила меня вверх.

Начинать лучше всегда сверху — потом идёшь себе вниз, звонишь в звонки, втюхиваешь людям всю эту хрень, проставляешь галочки, или же пишешь «не было дома», или «не открыли»... Агитаторам от других партий — я с ними порой пересекался — было сложнее: от них требовали подписей жильцов, а те не слишком охотно ставили свои закорючки в непонятно кем протянутый лист... Но моей партии подписи не требовались, в результате чего я периодически проставлял всё от балды, а макулатуру эту швырял в ближайший мусорник... Первое время я ещё опасался какой-то слежки и контроля, а потом понял, что для моей партии — самой богатой и крутой — пятьдесят рублей были не слишком важны. Там оперировали цифрами другого калибра... От полной халявы удерживали лишь рудименты совести.

Двери, застонав, разъехались. Итак, приступим.

Этажи один за другим оставались позади. Бабулька с золотым зубом, запах борща и

ветхости, недоверие, злоба... Серолицый толстяк в кожанке, похожий на ходячую барсетку, табачный перегар, наглость, хамство... Девушка с розовой прядью, грохот музыки, спирт и духи, кокетство, безразличие... А между ними — закрытые, запертые, захлопнутые двери, звуки какого-то копошения и возни, и свет в глазке, и — иногда — тихий голос: «кто» или «что надо»... Дно — а с ним избавление — всё ближе.

Она жила в угловой квартире — дверь старая, не бронированная, обитая облезлым дерматином, с узором из потускневших заклёпок...

— Да? — донёсся тихий, мягкий голос. Дранный бесцветный халат, лицо когда-то красивое, тонкие черты, морщины в уголках глаз и рта...

— Добрый день, — начал я, отчего-то забыв о темноте снаружи, и она устало улыбнулась, а я продолжил молотить ту чушь, которую полагалось...

— Спасибо, — сказала она, принимая пакет с бумажной дребеденью, будто я подарил ей нечто ценное. — Вам, наверное, подпись нужна? Проходите, проходите!

Сам не знаю отчего, но я вошёл. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, в прихожей: пахло горелым, на ботинках таял грязный снег, где-то в недрах квартиры шумел телевизор...

— Где подписать? — спросила она, взяв ручку с перекошенной полочки со старым дисковым телефоном. Из двери кухни выглянул толстомордый кот: сверкнул глазами и был таков.

— Вот здесь... — медленно, будто зажевывая плёнку магнитофон, ответил я и дал женщине бумагу с номерами квартир: там даже не было места для подписей, и я просто указал ей место где-то ближе к полям. Шагнув вперёд, чтобы протянуть ей лист, я увидел в глубине комнаты, залитой синеватым светом телевизора — Скалли и Малдер с фонариками в темноте — на журнальном столике тазик, а в нём — пламя.

— Это я фотографии жгу, — сказала женщина, проследив за моим взглядом. Сказала так, будто это всё объясняло. Затем, видимо, прочитав в моих глазах нечто пониманию абсолютно противоположное, вздохнула, прислонилась к стене: бежевые обои, слабый свет, тонкая тень...

— Знаете, говорят, что если сжигать фотографии, на которых ты стара, то можно вернуть молодость... Такое вот суеверие... А у меня столько фотографий на компьютере, где я уже совсем не хороша... Это что ж, его сжечь теперь?

Она усмехнулась, но смех был грустным и каким-то сухим, как звук, с которым сыплется песок... Её губы сжались и задрожали, в глазах появился блеск.

— Я их напечатала. У меня принтера нет, на работу принесла на диске... А потом сожгла... И знаете что? Когда дошла до себя молодой, уже в старых альбомах, начала жечь и их. Отчего-то уже не молодости хотелось, а просто ничего... Чтоб ничего не осталось... Стереть себя к чёртовой матери...

На последних словах её голос задрожал, по сухой коже заблестела дорожка слезы... Я хотел как-то утешить её, помочь, может быть, поддержать... Но мог лишь пятиться. Бежать, будто эти её фотографии могли и меня стереть, превратить в пыль, в прах, в холодное пустое ничто... Она протянула мне бумагу и начала рыдать; её завывания приглушила захлопнувшаяся дверь, но я ещё долго слышал их, прежде чем звуки растаяли в гулком эхе моих шагов. Пришлось бежать, лифта я бы просто не дождался. Тёмные пролёты чередовались с залитыми ярким, безжалостным светом, и в голове у меня скоро спутались все мысли; стало казаться, будто у лестницы не будет конца, она ведёт в бездонное никуда — или туда, куда хочет попасть женщина, которая жжёт фотографии.

Вылетев из подъезда, я глубоко вдохнул: морозный воздух проник в лёгкие, изгнав вонь

горелой бумаги, и пропитал холодом тело. Сгибаясь под порывами ветра, я побрёл к остановке. Внутри было противно, как будто долго-долго жевал жвачку и вдруг случайно её проглотил... Лишь выбравшись к свету машин и фонарей на проспекте, я вспомнил о зажатой в руке бумаге. Пальцы без перчаток совсем задубели...

И вдруг, глядя на эти номера домов и квартир, галочки, приписки, и роспись женщины, которая жгла фотографии, мне захотелось избавиться от этой бумажки. Будто это чем-то поможет женщине в старом халате. А может быть, и бабушке с золотым зубом, и девице с розовой прядью... И даже ходячей барсетке... Избавит их от чего-то, от какой-то привязки к миру, позволит вздохнуть чуть свободней, выбравшись из своих нор...

Мгновением позже я одумался, спрятал лист в рюкзак и побежал, стараясь не упасть на обледенелых лужах, за грохочущим по проспекту трамваем. В конце концов, за этот листик мне и платили. Щедро. Пятьдесят рублей за вечер.

ВСПЫШКА

— В случае взрыва нужно вести себя так, — сказала Лариса Васильевна и встала со скрипнувшего стула. За ночь на её худом бледном лице появились огромные тёмные мешки, голос был хриплым и тихим, и даже обычной тусклой улыбки след простыл. Володя догадывался, почему учительница грустит: это наверняка связано с тем, что случилось вчера.

С зарплатой и кражей.

Кто-то на перемене вытащил из сумки Ларисы Васильевны всю зарплату, весь ворох этих разноцветных бумажек, на которых появлялось всё больше нолей... Вчера Володя ходил в гастроном за хлебом, а там сказали, что оранжевые сотни уже не принимают, и теперь самой маленькой будет фиолетовая тысяча. У учительницы были и фиолетовые, и синие, и даже красные... А теперь никаких нет, и вчера она плакала, кричала, грозила милицией, которая придёт с собакой и найдёт вора... Володя тогда представил себе овчарку, как в фильме «Ко мне, Мухтар!», которая ходит между партами — огромная, как лошадь, голова даже выше Кати Волковой с первой парты, глаза злые, из носа пар вырывается... Идёт, едва протискиваясь между дрожащими детьми, и принюхивается... К Паше Шерстяку, с его игрой «Электроника», в форменном синем пиджаке с раскрытой книгой на нашивке, которые вроде как уже отменили, но многие ещё носили... К Лере Коровиной, с её длинными светлыми косичками, жвачками «Love is», и оранжевыми от «Yuri» зубами... И, наконец, к нему, к Володе, к его потёртому кожаному портфелю, где почему-то лежит стопка денег учительницы — не иначе как подложенная воров... Пёс достаёт зубами цветастые бумажки, они разлетаются по классу, а овчарка-динозавр рычит, обнажает острые зубы, из пасти течёт слюна...

Никакая милиция с собакой так и не пришла. Наверное, были другие дела. Папа говорил, что теперь всюду бандиты, а из парка по ночам доносилась стрельба...

— Галёрка возле раздевалки спокойно встает... — сказала Лариса Васильевна. Сегодня она даже не пыталась, как обычно, коряво говорить по-украински — все учителя теперь старались говорить по-украински, и постоянно выбегали посреди урока в коридор — спросить у других учителей, как теперь называются «тапки», или «карта», или «следующая остановка»...

Все обитатели последних парт поднялись, кроме Саши Лободко, который месяц назад сломал ногу, упав с яблони в саду за девяносто первым домом, и, хотя гипс уже сняли, ходил, опираясь на палочку. Все подозревали, что он притворяется...

— ...и передаёт портфели следующим партам.

Из раздевалки — она помещалась между ободранной стеной и отодвинутым шкафом, хранившем в себе старые журналы, и телевизором «Славутич», у которого работал только звук, — Серёжа Лесик и Света Бартюк начали передавать рюкзаки, ранцы и портфели соседям. Вереница китайских ранцев с Дональдом Даком, оленёнком Бемби и надписью «DINO», разбавленная старыми советскими портфелями, вроде Володиного, потянулась к своим владельцам.

— Зимой так же передаём и курточки, — продолжала Лариса Васильевна, задумчиво глядя в окно. Бледный свет, сочившийся сквозь тучи, падал на её усталое лицо, и Володя подумал, что она будто ищет там, за окном, смертоносную вспышку, от которой она сейчас их учила спасаться...

Потом все вышли из класса и собрались в коридоре. Володя подумал, отпустят ли всех по домам, и ощутил проблеск надежды. Если отпустят, можно погонять по двору с «брызгалкой»... Пусть у него не было настоящего водяного пистолета, как у Пашки, но зато в бутылку из-под «Белизны», со «стволом» из корпуса шариковой ручки в пробке, помещалось больше воды, и её было легче наполнить из колонки...

— А теперь все вместе — по двое, держась за руки — идём к аварийному выходу, — сказала Лариса Васильевна, и они пошли по пустой школе. Гулкое эхо шагов летало над намазанными мастикой полами. Володя смотрел на истёртый паркет и вспоминал, как ему влетело за измазанные в этой гадости колени: отстирать мастику было сложно, отчего её и применяли как химическое оружие против маленьких бегунов. Мимо мелькали окна, а в них — серое небо. Стучала по паркету палка Саши Лободко. Володя представлял, как эта бледная преддождевая серость вдруг сменится Вспышкой — яркой, слепящей, убийственной, совсем как в «Терминаторе-2», который они с папой ходили смотреть вечером в воскресенье. Интересно, какой дурак всё это придумал? Да от них только кости с дымком останутся — как у скелета на детской площадке из фильма, — пока они будут ранцы передавать!

Прошли рекреацию, где старшеклассники уныло отрабатывали строевую подкотовку с военруком... На постамент, с которого вчера убрали Ленина, как раз запикивали Шевченко... Спустились по лестнице, ещё пролёт...

Аварийный выход был закрыт.

— Да что ж это такое... — прошептала Лариса Васильевна, грохоча запертой дверью. Потом повернулась к ним и сказала:

— В общем, по правилам выходить нужно здесь, но сегодня пойдёте через главный. Уроков больше не будет, бегите домой. Только не вопите!

Радостный щебет заполнил коридоры. Володя, как и другие, собирался броситься к выходу, когда через окна вдруг полился яркий, жаркий, ослепительный свет. Все мигом затихли, замороженно глядя на пылинки, кружащие в светящемся воздухе. «Вот она», — подумал Володя, раскрыв рот.

— Вот и солнце вышло, — сказала Лариса Васильевна, а потом посмотрела в окно.

И улыбнулась.

ЛАРА

Как-то так получилось, что все — дедушка, Саня, и страна — жили-были, и умерли-бумерли пусть и не в один день — жизнь всё же не сказка, — но уж точно в один год, тут Лара была уверена. Правда, сложно было сказать, в какой. В один из тех, когда каждый день случались новости, и всё больше плохие. Саня тогда ушёл, наконец, с завода, где не платили уже почти полгода. Почти все бурчали что-то вроде «если уйти, то и не заплатят никогда», и ходили, и работали, а что ели — неизвестно... А Саня вот ушёл. Неделю дома сидел, телевизор смотрел — там сплошь танки, стрельба где-то, то ли на Кавказе, то ли в Средней Азии, а может, и в Молдавии... Лара старалась не смотреть, но когда видела мельком, сразу вспоминала, как ходили на Эльбрус, на последних курсах, перед тем, как с Сашкой познакомились, и Женя родился. Помнила бесконечный, хрустящий морозом и звенящий тишиной воздух, а вокруг — земля, вздыбившаяся, изломанная, зелёная, серая, коричневая, дикая, рваная, пятнистая... И ещё: вид на Пятигорск — маленький, игрушечный, за ним — зелень и желтизна, нарезанные людьми, как торт, а дальше — гора... Белая шапка посреди зелени, будто вывалил кто-то самосвал снега на газон в летний день... А теперь вот война... Может, там... А может, ещё где...

Фёдор Тихонович всё бродил из комнаты в комнату, искал что-то. Наверное, бензиновую немецкую зажигалку, которую привёз с войны, и вертел вечно в пальцах, так что углы у неё за годы сгладились, а металл, отполированный дедовыми пальцами, блестел, как его медали. Зажигалка не работала, но дед отчего-то без неё нервничал... А может, очки искал — большие, в роговой оправе, в которых он читал газету на кухне, заварив чай, пытал папиросой и фыркал недовольно, листая страницы, а чай остывал, и его Женька потом допивал...

— Объявляется всесоюзный розыск! — кричал он на всю квартиру. — Куда зажигалку задевали? Признавайтесь, контра!

— На кухне, под столом валяется, за банкой с помидорами... Кот, наверное, сбросил... — говорит Саня и смотрит на Мурзика, а тот, нахохлившись, лежит на телевизоре, и в ответ зелёными глазами мигает, будто знает: опять на него бочку катят, оттого, что говорить не умеет...

— Это ты валяешься, а она лежит! Лежит в пыли там, бедная...

Саня ухмылялся. Лежал он так второй день — то в телевизор смотрел, то в книгу Алистера Маклина «Пушки острова Наварон»... А завтра собирался к Витьке — Люськиному мужу, который кооператив какой-то запускал. То ли телевизоры продавать собрался, то ли компьютеры. А сейчас он с Женей играл целыми днями, строили что-то, возились, грохотали по паркету такном «Т-34» с погнутой пушкой — совсем как настоящий, говорил Фёдор Тихонович, только гусеницы потерялись где-то... А когда Женька спать ложился, то просил сказку рассказать, и Санька ему как давай что-нибудь из Маклина своего только что читанное вспоминать: про шторм, и высадку с корабля, и скалы, и фашистов.... Тот и спать хочет, и глаза сомкнуть не может, как Мурзик, голубя на подоконнике завидевший... Но потом засыпал, конечно. А проснувшись, просил дальше рассказать, и, если Сани не было, дед садился и про войну вспоминал — про настоящих фашистов, не книжных.

Летом Саня притащил домой компьютер. Не такой, который к телевизору и магнитофону подключается — эту штуковину он уже как-то в дом приносил, перед продажей, — а настоящий. Такой, как в классе информатики, только не советский, а импортный, и не на

продажу, а навсегда. Сашка его включил, тот застрекотал, заскрежетал, экран с треском вспыхнул... Потом по кнопкам постучал и включил какую-то игру, где принц бежит по подземельям со всякими ловушками, чтобы принцессу спасти... Женька за игру как уселся, так за уши было не оттащить, и Лара на всякий случай ему сказала, чтоб больше часа не сидел, а то глаза заболят, и от радиации тошнить будет.

Где-то через месяц Женька за завтраком, играясь своими сырными цифрами, сказал:

— А давайте ещё одного кота заведём! Чтоб Мурзику веселей было!

— А что... Хорошая идея... — ухмыльнулся Сашка, а у него изо рта так смешно макаронина свисала, что и Лара, которой одного Мурзика хватало через край, засмеялась и кивнула. Взяли тем же вечером — у дворника, дяди Феди, как раз его Марфа пару месяцев как окотилась. Тоже серенький, но с белой грудкой, и лапки розовые, а не чёрные, как у Мурзика... Назвали Карпом. Как-то сидели в комнате, Женька играл в свой компьютер, а они с Сашей в обнимку на диване смотрели «Поле чудес», и Саша говорит — давай Карпом назовём, а Лара ему — так ведь имя-то человеческое... Некрасиво как-то, не люблю такое... Вон как у бабы Люды — такса Лёня... А Сашка ей — да какое ж оно человеческое? Давно Карпов видела? Было человеческое, да сплыло... Как Марфа у дяди Феди. А Лиде так хорошо было, так радостно, она мужу в плечо уткнулась, смеётся и говорит — ну ладно, а чего не Поликарп тогда? А Сашка, хохоча — нет, это уж чересчур. А потом он вдруг говорит — слушай, может дедушке твоему операцию сделать нужно, и осколок этот достать? Деньги сейчас есть... А Лара подумала, и говорит — нет, опасно слишком. Врачи когда-то сказали, что может не пережить.

В тот день Лара по пути с работы зашла в гастроном, купить сыр. На улице глаза слепило от белизны, а в магазине царил сумрак, как в церкви. Она специально попросила у продавщицы, возвышавшейся за прилавком в своей белой шапочке и халате подобно айсбергу, кусочек «Российского» с цифрами. Женька обожал выковыривать эти синие пластмасски из сырной корки и прятать в жестянку от чая, где он хранил всякую ерунду. Продавщица назвала сумму, вдвое превышавшую вчерашнюю, и Лара покорно вытащила разноцветные бумажки с кучей нулей, которые теперь назывались деньгами.

— Сотки не принимаем, — пробурчал айсберг, ткнув пухлым пальцем в жёлтый лист с каким-то объявлением, криво висящий рядом с жалобной книгой, как объявление о розыске в старых вестермах.

— Как... Как не принимаете!

— А вот так! Что, по-русски не понимаешь? — взревела белая, как Эльбрус, гора, оттолкнув ворох коричневых бумажек. Одна из них, протёртая на сгибе, разорвалась надвое. — Только от тысячи! Теперь только от тысячи!

Висели застывшие пропеллеры под потолком. Под ногами kloкочущих кипятком покупателей чавкала грязь со снегом. С колонн, обрамлённых чем-то вроде жестяных рельефов, безразлично глядели в пустоту жестяные Кий, Щек и Хорив, в компании своей сестры Лыбеди навечно застывшие в жестяной ладье посреди жестяной реки. Их фигуры поблескивали в тусклом свете ламп.

Лара молча достала тысячи. В последнее время Саня с Витей — мужем Люськи — начали неплохо зарабатывать, и денег на прокорм хватало, хоть порой из-за всех этих «сотки не принимаем» бывало сложно понять, есть у тебя деньги или нет... Кусок сыра шлёпнулся на дно дырявого пакета с надписью «BMW», где позвякивали бутылки с молоком, и Лара двинулась дальше. На углу позвонила из автомата Сане на работу. Пришлось забраться на снежную гору, которую намело под навес таксофона, и пригнуть голову. После

того, как отменили монеты, автоматы стали работать бесплатно, хоть половина и стояла поломанная, и теперь Лара звонила мужу часто. В недрах холодной трубки хрипели далёкие гудки.

Не дозвонившись, пришла домой, а там, в коридоре, Фёдор Тихонович. Стоит молча, дымит своей папиросой, прилипшей к уголку рта, будто забытой там ненароком, а глаза за очками блестят, и рука к рубашке прижата там, где шрам от осколка. Потом он говорит. Лара не слышит. Как будто рот открывается, а звуков нет, как у рыб в «Подводной одиссее команды Кусто» по телевизору... Потом говорит ещё раз, а Лара, как в трубке междугородного телефона на почте, слышит только отдельные слова: Саша... Убили... Бандиты... И Люсиного мужа... Застрелили на набережной...

Тогда она прошла в коридор, задела ногой и обрушила стопку каких-то детективов, которые Сашка вчера притащил из «Букиниста», пошла на кухню — надо ведь обед готовить — открыла газ и спичкой чиркнула о коробок, а та не зажглась, коробок разъехался, и спички все по линолеуму разлетелись, а Карп с Мурзиком их ловить бросились... И вот тогда только она заплакала... Села на пол и заплакала, посреди весело скачущих котов, а дедушка подошёл сзади, закрутил шипящую конфорку и положил ей руку на плечо.

А потом всё побелело, совсем как на улице.

На похоронах Лара держалась. А Люська упала в обморок. Перед этим сказала — знаешь, а мы думали во Францию поехать... Я всем на работе говорила, думала — умрут от зависти... Только вот не они умерли...

Лёшка Кривицкий пришёл в четверг. Лара открыла и повисла на дверном косяке: она давно не ела — просто не могла — и ноги совсем не держали.

— Лариса Васильевна, вы в порядке? Вы совсем... — воскликнул он как-то совсем по-детски и тут же умолк, проглотил охвостье фразы, будто осознав её глупость.

— Ты проходи, а то тепло уходит, — сказала Лара, впуская худощавого парня в потёртой кожанке и спортивных штанах с двумя красными полосками. Эти штаны она помнила: он у неё на физкультуре в отличниках ходил. Теперь вроде как бандит, из киселёвцев...

— Лариса Васильевна, я к вам вот по какому делу... — начал он, смущённо глядя на одну из старых фотографий за стеклом книжного шкафа: дед в форме, с цветами, за ним — какая-то улочка с пряничными немецкими домиками...

— Ты прям как Швондер... — прошептала Лара.

— Как кто?

— Неважно...

— Так вот... Ваш муж вроде как Владимиру Карповичу денег должен был...

— Это который Кисель? Начальник ваш? — тихо ответила Лара, глядя в пустоту, а сама думала, понравилось бы Киселю и его папе, как они называли своего кота.

— Он самый. Вы это... если сейчас отдать не можете, то он потерпит... Все всё понимают... Сумма не такая уж большая... — начал бормотать Лёшка и, сам того не замечая, пятился к выходу, будто желая сбежать от собственных слов.

— И сколько?

Лёшка сказал. Лара вдруг будто бы ещё сильнее поникла, как высохшее дерево на ледяном ветру.

— Найдём... А теперь уходи, — высыпались изо рта песком бессильные слова. Дверь хлопнулась, Лара прислонилась к изодранному котами дерматину и уставилась на компьютер, за которым Женька теперь сидел куда больше положенного часа. Фёдор Тихоно-

вич молча смотрел с кухни: в зубах папироса, в руке — самородок зажигалки, а в глазах — будто отсветы пламени тех битв, в которых он побывал.

В пятницу Лара продала компьютер Валентине Петровне, которая вела музыку. Та всегда её называла не Лара, а Лора — как девочку из странного сериала про агента, расследующего убийство в каком-то жутковатом городке, Валентина Петровна очень любила это кино смотреть. Девочку эту, из сериала, убили, и завернули в полиэтилен. А Валентина Петровна называла Лару Лорой.

— Ты, Лора, только не волнуйся! — говорила она, протягивая деньги, а пухлые красные щёки дрожали, потому что она всегда похихикивала, что бы ни говорила. — Ты молодая совсем, найдёшь себе ещё мужика...

Женька с ней теперь не разговаривал. Папы и компьютера не было, а танк Т-34 и сырные цифры ему были интересней. В субботу пришёл Лёшка, за деньгами. Увидел их и выдохнул, будто с него, а не с Лары, свалился не то что камень, а целый Эльбрус... Может, так и было...

— Спасибо вам... Спасибо... Лариса Васильевна, вы обращайтесь, если что, — бормотал он, а Лара всё кивала и кивала... Глаза болели, как бывает перед тем, как потекут слёзы, но те всё не лились, будто их уже и не осталось. — Да, и ещё... — сказал Лёшка, пока лифт скрежетал в шахте. — Вы деда Фёдора попросите, чтоб он больше к ребятам в «Праге» не подходил... Они, конечно, стариков уважают, и ветеранов там, но всякое может быть... От греха подальше, пусть к ним не суется...

Лара зашла на кухню, к деду. Тот, как всегда, сидел над газетой, и всё тот же дым над ним клубился, и те же очки, только в глазах уже погасло пламя сражений... Да и вовсе в них будто не осталось ничего, только блеск пустой, как у шариков из подшипника...

— Дедушка, ты что, к киселёвцам ходил? Зачем? Господи, зачем?!

А дед только посмотрел на неё, и голосом таким, что у Лары внутри всё похолодело, говорит:

— Объявляется всесоюзный розыск... Зажигалку мою не видала?

Вечером Лара позвонила Люське. Голос у той совсем истончился, стал трескучим и прерывистым, как телеграфная дробь.

— Знаешь, а я нашла ответы... — струился из трубки холодящий кровь шёпот, и Лара вдруг поняла, что совсем не хочет говорить с подругой. Хотелось положить трубку, пока не поздно, но рука будто окаменела, и ещё крепче вдавила динамик в ухо. — Не в церкви, нет... Там только пустота и темнота... Я пошла к Братьям. К Марии Деви Христос. Лара, она знает всё. Что было и что будет. Всё это — то, что происходит — это всё неважно. Это прощание. Прощание с миром. Грядёт...

Вдруг раздались быстрые гудки. Лара посмотрела в коридор и увидела, как Женька отогнул провод на блокираторе. Он так иногда делал, когда Лара долго говорила с подружками. Она его тогда чихвостила на чём свет стоит... Но теперь только улыбнулась, и он тоже как будто бы ответил ей тусклой улыбкой.

Фёдор Тихонович теперь только ходил и бурчал: всесоюзный розыск... всесоюзный розыск... Однажды Лара не выдержала и заорала:

— Да пропади она пропадом, твоя железяка! Какой розыск? Какой Союз? Нету твоего Союза больше! Нету!

Дед посмотрел на неё молча и прижал руку к груди — там, где дремал осколок немецкой гранаты. Лицо подёрнулось страшной рябью, как водная гладь в бурю. Лара испугалась, но уже мгновением позже всё стало, как было. Только на лбу у деда выступил пот,

и про розыск он больше не бормотал. Просто ходил день за днём туда-сюда, и всё. А однажды утром Лара нашла его на кухне. Он сидел над газетой, разорванной надвое. Очки упали на стол, рука, сжавшая в кулаке зажигалку, застыла на груди...

Будто спустя годы немецкая граната всё же достигла цели.

В воскресенье Лара с Женькой свернули ковёр, который на стене в Жениной комнате висел — прямо над кроватью. Женька часто спал, уткнувшись в него носом: говорил, что запах любит. А ещё ему нравилось, как по узорам ночью скользит свет фар машин, когда те выезжают из двора. Только теперь он ничего этого не говорил. Он теперь вообще не говорил.

Они бросили ковёр на санки и поволокли к лесу. Вокруг всё укрылось белым, будто вся земля ушла к Белым Братьям, как Люська... В лесу ковёр повесили на бревно. Выбивалки не было, колотили найденной под снегом обледенелой палкой. Лара размахивалась и била, а на снег летела чернота, и вскоре он весь вокруг потемнел, как уголь. Она лупила по ковру, представляя себе, что колотит саму эту жизнь, в которой столько грязи скопилось, что как ни лупи, а всю не вышибешь... И тогда она была ещё сильнее и кричала, а бегущий на лыжах Пётр Николаевич, в синей олимпийке и шапке-петушке, замер на мгновение, а потом побежал дальше, к озеру, немного увеличив темп. Потом Лара села на санки, без сил, и схватилась за голову, но оглушительные хлопки продолжились, и она увидела, как Женька лупит ковёр, едва не падая от широкого замаха; шарфик развязался, шапочка сбилась на лоб, а по румяным щекам бегут блестящие ручейки. И когда, он, наконец, обессиленно бросил деревяшку, она подошла к нему и прижала к себе. Они стояли, обнявшись, посреди леса, вдалеке шумел водопадом город, а вокруг едва слышно шуршали падающие снежинки.

На следующей неделе дали зарплату за пару месяцев. По пути в гастроном Лара свернула в переулок, к церкви. Та всегда стояла около пожарной части — ободранная, с заколоченными окнами... Раньше там был склад, а теперь вот снова церковь. У них в семье верующих не было, и она не знала, что это вообще такое, церковь... Только по фильмам всяким, ну и по лекциям в институте помнила, что это что-то старое, затхлое, бесполезное и забытое... А теперь все вокруг вдруг обвешались крестиками и молитвы зашептали... Ну, кроме тех, кто как Люська... Вот и ей захотелось зайти, посмотреть...

Внутри и правда, как говорила Люська, было мрачно, да ещё пахло чем-то сладковатым и терпким. Сразу за дверьми в углу прилепилась будка, где продавали свечи. Возле окошка стоял Пётр Николаевич.

— Здравствуйте, Лариса Васильевна, — улыбнулся он. — И вы решили к богу обратиться?

— Да нет... Просто зашла посмотреть... — ответила Лара. Отчего-то здесь она чувствовала себя жутко растерянной.

— Сочувствую вашим утратам... — шептал Пётр Николаевич, глядя в темноту, расцвеченную огоньками свечей и таинственным блеском иконных окладов. — Закажите сорокоуст за упокоевание.

— А что это?

— Ну, это что-то вроде молитвы... Поминование, которое будет повторять батюшка сорок дней...

— И как же его заказать?

— А вон там, в окошке, возьмите бумажку, напишите и отдайте бабушке.

— Как телеграмму?

Пётр Николаевич едва заметно ухмыльнулся и кивнул. Какая-то сгорбленная старуш-

ка, идущая к выходу, бросила на него недобрый взгляд, а потом совсем уж злобный — на Лару, её непокрытую голову, и джинсы «Левис».

— Ну да, вроде того.

Лара подошла к окошку, взяла записку. Хотела спросить у Петра Николаевича, что писать, но тот уже ушёл. Бабулька в киоске тоже смотрела враждебно, сузив глаза, как злой кот, и Лара поняла, что придётся писать самой. Приложив бумажку к стеклу, она достала из сумочки ручку и застыла в раздумьях. А потом написала имена: Александр и Фёдор. А следом, в правом углу:

«На небо. В Советский Союз. Объявляется всесоюзный розыск!»

Дома, на кухне, сидел Женька, и разложил все свои сырные цифры в ряд. Лара достала из пакета сразу несколько кусочков — пришлось пару гастрономов обойти, чтоб найти все с цифрами. Женька посмотрел на них и, улыбнувшись, сказал:

— Мама, а какое число нужно из цифр собрать, чтоб снова был папа, деда и компьютер?

А Лара посмотрела на него, улыбнулась и стала глядеть в окно, на падающие снежинки, и считать.

ГЛАВНЫЙ ХИТ ЭТОГО ЛЕТА

— Там все — Зуб, Рыжий, Гладков, и... внимание... сёстры Лапинские! — торжественно объявил Дэн и едва не рухнул, зацепившись ногой за узловатый корень. Бутылки в кульке угрожающе звякнули.

— Осторожней будь, — ухмыльнулся Саня. — А то весь вечер абрикосовой отравой бабы Любы будем давиться...

— У-у-а-б-баба-Люба-у! — пропел Дэн на манер известного рок-н-рольного возгласа, и они рассмеялись. На его груди болтались чёрные наушники, из которых доносилась песня про остановившееся сердце... Саня подумал, что только по дороге сюда — в маршрутках, на остановках, из окошек ларьков — слышал её раз триста...

Переулок между крайними участками вывел к дамбе, и они начали спускаться по бетонным плитам. Усеивавшие всё вокруг осколки битого стекла сияли в солнечных лучах россыпями ярких изумрудов. Внизу, на песке, уже виднелась вся компания. Ирку Саня заметил без труда и внутренне напрягся.

Всю дорогу от остановки встречавший его Дэн сыпал колкостями насчёт Саниных походов на прошлых выходных. Впрочем, «похождения», как обычно, лишь в буйном воображении их дачной тусовки расцветали пышными соцветиями, а на деле... Ну, подумаешь, сидели весь вечер за столом — ближе, чем позволяла скамейка — потанцевали разок, спотыкаясь, под «Леди ин рэд», да глаз потом друг с друга не сводили... И после, когда на тачке Рыжего толпой погнали в Вишенки за пивчаном и сигаретами, получилось так случайно, что Ира у Сани на руках оказалась... Небось тут уже столько трёпа развели, что скоро имена будущих детей начнут угадывать...

Впрочем, когда они спустились, всё было как обычно. Гладков играл в карты с Рыжим, у которого от дыма зажатой в зубах сигареты слезились глаза, что облегчало Гладкову мухлёрж. Юля — Иркина сестра — сосредоточенно красила ногти, сидя на подстилке с огромным рисунком: Микки-Маус и разноцветные шарики... Она отвлеклась на мгновение, помахала ручкой новоприбывшим, поправила кудрявые светлые волосы и вернулась к пре-

рванному занятию... Саня в который уже раз подумал, до чего же они с Ирккой непохожи. В реке, прицепившись к чёрному кольцу надутый автомобильной камеры, плескался Зуб. Махнув ему рукой, Саня как бы невзначай посмотрел на Ирку, вытянувшуюся под солнцем и закрывшую лицо журналом «Cool». Не сумев удержаться, Саня помедлил с приветствием, разглядывая её загорелую, усеянную песком кожу... Сбросив журнал с лица, Ирка по-морщилась и нацепила тёмные очки.

— Кто это там солнце загораживает?

— Алоха, незнакомка, — улыбнулся Саня.

— А, ты... Как доехал?

— Как обычно... — усмехнулся Саня. — Жопа ноет до сих пор.

Старый «Икарус», дребезжавший по бетонке от метро километров шесть через бесконечные дачи, славился своими рассохшимися, изрезанными ножами дерматинowymi сиденьями, в которых прятались ржавые пружины, норовившие вонзиться в задницу на каждом стыке бетонных плит. А стыков было ой как много...

— Ничего. Это антицеллюлитный массаж, — Ирка достала из пачки «Virginia Slims» тонкую сигарету и ждала, пока Саня не додумался поднести зажигалку.

— У мужиков вроде целлюлита не бывает.

— Ну, у Дэна он есть.

Дэн, улыбаясь, показал ей средний палец. В его чёрных очках отражались блики растворённого в воде солнца.

— У кого сегодня висим? — спросил Саня, усаживаясь в песок рядом с Ирккой и доставая сигареты. Из маленького приёмничка, присыпанного песком, вездесущий «Сплин» снова пел о том, как сердце остановилось и замерло.

— У нас, — ответила Ира, воткнув окуроч в песок, рядом с частоколом своих собратьев — тонких, белых, с едва заметными следами помады.

Саня кивнул, ухмыляясь. У Лапинских хорошо. Вроде и участок крохотный, и дом развального, но дворик уютный, весь увитый виноградом, и забор прямо к реке выходит, и тент с надписью «Черниговское», неизвестно кем и откуда привезённый, а под ним — стол с шатающейся ножкой, и стулья — все разные, каждый со своей историей... Круче всего всегда висели у Ирки с Юлей. Минус там был только один, да и тот скорее психологический — присутствие Ириногo муженька.

— Купаться будешь? — спросила Ирка.

— Да, сейчас...

Саня стянул футболку, окунулся, поздоровался с Зубом, который как раз забирался на камеру, чтобы нырнуть щучкой. Водоросли щекотали уставшие стопы. Когда он выбрался на берег, всё тело искрилось в солнечных лучах; он улыбался, и Ира улыбнулась в ответ. Гладков, в очередной раз уделав Рыжего в дурака, перевернулся, и, ухмыляясь, сплёл из пальцев корявое сердечко. Саня одними губами прошептал ему «иди на хер».

— Надо водку отнести, в морозилку забросить... — сказал Дэн, зевая.

— Так ещё ж часу нет... — не отрываясь от ногтей, бросила Юля.

— Ну так ваш «Днепр» как раз к вечеру и охладит хоть чуток...

— Да, холодильник у нас крутой! — рассмеялась Ирка. — Ко мне раз баба Люба ночью заходила, которая за три участка. Просила его вырубить, а то от рева спать не могла.

— Добровольцы есть? Саня, может, ты?

— Ну-у-у, я только пришёл... — ответил Саня, растянувшись на песке.

— А я, пожалуй, пойду, — сказала, поднимаясь, Ирка. — Картошку нужно почистить. У вас же всех руки кривые, а Юлька небось скоро и на руках ногти красить начнёт.

— Ну, тогда уж и я схожу... А то водка-то тяжёлая, помогу дотащить... — вскочил Саня. Гладков, Рыжий и вылезший из воды Зуб тихо заржали: до дома Лапинских идти было минуты три, прямо по дамбе.

— Вы только не заблудитесь. А то, знаете ли, дорога сложная... — хихикал Зуб. С длинных волос вода стекала на плечи. Он на автомате проверил, не звонил ли кто на телефон, валявшийся в песке рядом с часами «Casio», но тут же бросил его обратно: связь здесь проклёвывалась крайне редко.

— Ребята, может, хватит уже этих приколов тупых? — улыбнулась Ирка, но в голосе зазвенел металл, и все, кроме «Сплина» в приёмнике, заткнулись. Саня взял пакеты, Ира отряхнулась от песка и натянула сарафан. Когда они поднимались по бетонным плитам, за спинами вновь проснулись смешки.

Хруст камешков, скрип дешёвых китайских вьетнамок на загорелых Иркиных ногах, едва различимый гул далёкой трассы на другом берегу Днепра... Они шли молча, лишь обменивались улыбками... Ира сняла очки, её рука нырнула в Санину ладонь.

— Как... Как ты тут? Чем занималась неделю? — спросил Саня, с треском худо-бедно нарушив молчание. Насколько он помнил, она была в отпуске и торчала здесь всю неделю. Вместе с мужем.

— Да так... Валялась без дела, загорала, старые журналы листала... А что тут ещё делать? Не каждый же день квасить...

— А Боря что? — спросил он и тут же почувствовал, как она напряглась. Говорить об этом не хотелось, но Сане нужно было прощупать почву для дальнейших действий, а для этого следовало выяснить, насколько у Иры с Борей всё прогнило.

— А что Боря? — с деланным безразличием бросила Ира и натянуто улыбнулась. — Лежит, курит... Что с него возьмёшь?

Спорить тут было не о чем, думал Саня, пиная пустую бутылку из-под «Спрайта», попавшую на пути. Ирин муж — даже слово это сложно было произносить без смеха — был мутной размазнёй, которая в свои двадцать пять могла делать только две вещи: курить траву и играть на компе. Кто-нибудь мог бы заметить, что все они время от времени занимались и тем и другим, но здесь главным было как раз вот это «время от времени». Потому что Боря посвящал траве и компу всю свободную от сна часть жизни. А поскольку компьютера на даче не имелось, то сконцентрироваться пришлось на втором первоэлементе. Поэтому присутствие Ириноного мужа все вокруг ощущали лишь по витающему в воздухе аромату травы да редким шагам по скрипучим половицам второго этажа. Но Саня сейчас чувствовал, как это бледное существо незримо витает где-то поблизости, то и дело холодным призраком проносясь между ними...

— Ты не думаешь... ну... сделать что-то с этим?

— Например?

— Ну, не знаю...

— Вот и я не знаю...

Не сговариваясь, они свернули с проходившей по дамбе грунтовки на тропу, уходившую на широкий, пока не застроенный луг.

— Я пыталась... Правда, пыталась, но он как мёртвый! — сказала Ира, и голос её дрогнул, а глаза заблестели. Саня вдруг подумал, что хотел совсем не этого. Лето, жара, красивая девчонка старше на пару лет... Ему совсем не хотелось будоражить всю эту муть... Впрочем, Ира быстро взяла себя в руки. Вроде бы.

— Месяца полтора назад ветром на крыше что-то отодрало... Так я ему говорю: оторви жопу от кровати, перестань долбить хоть на час, залезь на крышу и почини... Иначе, мать твою, уйду от тебя на хрен... Уйду!

— Тшш... — успокаивал её Саня, обняв за плечи. Ира прижалась к нему, и он почувствовал, как она дрожит... По бетонке, отсекавшей луг от дач, громыхал старый москвич с прицепом, вздымая завесу пыли. Он прижимал её к себе одной рукой — вторая держала пакеты, о содержимом которых Саня уже забыл... Её губы были совсем близко, глаза полны жажды чего-то невыразимого... другого... чего-то ещё...

— Ира!!! — раздался вопль с дороги, и девушка отшатнулась от Сани. Они увидели Юлю, которая неслась к ним сломя голову... Замерла в паре шагов, тяжело дыша: мокрое лицо пылает, взгляд ошалевший, руки дрожат... Саня уставился на одну из ног в босоножках, дико смотревшуюся в этой выгоревшей жёлтой траве: ногти на большом и указательном пальце остались ненакрашенными...

— Мать вашу, вас все ищут! Боря... там... там... — она стала задыхаться и всхлипывать; сестра подлетела к ней и принялась трясти:

— Что Боря?.. Юля, что Боря?!

— Там... Баба Люба прибежала, сказала что... Мы тут же все туда... Вас искали, звонили, но связи-то нет... А он... он...

— Да что он?!

Юля вдруг перестала дрожать, судорожно втягивая воздух, и тихо, спокойно прошептала:

— Умер он, Ир. Умер.

А потом она начала что-то говорить про старую советскую дрель, про плохую изоляцию, удар током, что «скорая» не приехала из города, и что-то ещё, но Саня уже ничего не слышал... Пакеты выпали из ослабевших пальцев, звон разбитого стекла слился с воем Иры. По бетонке, насвистывая, ехал велосипедист. В небе пересекались белые следы самолётов. С какого-то участка доносилась песня про замершее сердце. Главный хит этого лета...

ТОЧКИ В ПРОСТРАНСТВЕ

После тяжелых смен обычно было паршиво. В душу вползало что-то гадкое и склизкое, норовившее ворваться в сны, стоило Мише сомкнуть глаза, привалившись головой к стеклу автобуса.

Но сегодня было иначе. Смена выдалась спокойная, и этим утром мир был полон чудес.

Он всегда любил это сочетание — обычное ночное дежурство, в ночь с субботы на воскресенье, без чрезвычайных происшествий и сложных случаев. Воскресенье было принципиально важно: в этот день — особенно утром — жизнь на городских окраинах будто замирала, замедлялась, и продолжалась как бы в замедленной съемке, будто воздух вдруг разом сменился прозрачной, но плотной толщей воды, через которую вынуждены

медленно пробираться мамы с колясками, собаки со своими хозяевами и редкие гуляки, после бурной ночи нетвёрдой поступью бредущие домой. Это время, со своей тишиной, свежестью и покоем, время без машин, толпы и бешеной скачки часовых стрелок, само по себе было волшебным. Но бессонная ночь превращала его в истинное чудо.

Подобные районы, выросшие на окраинах больших городов, были как две капли воды похожи друг на друга всюду, где Мише довелось побывать. В отличие от своих более ранних советских собратьев, они ещё не успели обрасти растительностью, покрыться коростой хаотичных рыночных трущоб, или попросту обветшать, но всё же обрести хоть какое-то — пусть и не слишком симпатичное — лицо. Нет, эти кварталы были новы, пустынные, безжизненны и безлики, словно архитектурные макеты. Часто это вызывало у него уныние и печаль, но не сегодня. Нет, этим утром подобная «универсальность» пробуждала в Мише странное, лёгкое и пьянящее чувство сопричастности чему-то огромному, некой растворённости в бескрайнем городском ландшафте, паутиной оплетающем мир. Чувство было приятным, и Миша улыбался этим залитым солнцем башням, искрящимся множеством окон-изумрудов, и висящей надо всем вокруг, разлитой в воздухе пыли, в лучах рассветного солнца вдруг ставшей золотой, будто пыльца с крыльев фей. Впереди, в этом дрожащем сфумато, показался и их с Леной дом.

Миша поднялся по ступенькам, в который уже раз вознося хвалу всем богам и богиням за то, что им посчастливилось поселиться на втором этаже, и, в отличие от большинства соседей, не приходилось ездить в этом тихо шуршащем металлическом гробу, залитом ярким безжизненным светом. Однажды в детстве он застрял в лифте — одном из тех, где пол реагирует на вес пассажира — и вынужден был проторчать в проклятой штуковине долгие часы, показавшиеся ему вечностью, и с тех пор недолюбливал коварные подъемники. Поднимаясь вверх, он привычно миновал человека в дырявом плаще, который в последнее время стал неотъемлемой деталью лестничной площадки. Лера окрестила его Истуканом. Он просто стоял здесь, без движения, будто маленький, источенный ветрами и непогодой каменный истукан, и смотрел в окно. Причины его пребывания на площадке были неизвестны, и лишь одно удалось вывести у консьержки: человек этот не жил ни в одной из квартир. Миша всегда бросал взгляд на его пепельное, изрезанное глубокими ущельями морщин лицо, на котором двумя голубыми озёрами блестели полные странной созерцательной мудрости глаза. Взгляд таких глаз всегда направлен будто бы не вовне, а внутрь, в глубины собственной души.

Миновав Истукана, Миша подошёл к двери и собрался позвонить, но затем передумал и тихо открыл дверь ключом: хотелось удивить Лену своим появлением. В прихожей тоже царил солнечный свет — струилось по потолку и стенам, стекало по висающим на крючках курткам, блестело на застёжках белых Лениных туфель и отражалось в сонных глазах кота Карпа: его чуткий слух не пропустил Мишины попытки красться на цыпочках. Повсюду витал аромат жарящейся яичницы. Миша неслышно прошмыгнул на кухню и увидел жену, в ореоле вездесущих золотых лучей, колдующую над плитой и едва заметно извивающуюся в такт музыке, что звучала в наушниках. Тонкая, лёгкая и светлая, она походила на изящный побег какого-то диковинного чужеземного растения. Он обнял её сзади, и она вздрогнула. Мгновение напряжения, и она, расслабившись, обернулась.

— Я же просила — не подкрадывайся ко мне! — сказала она, улыбаясь. Небрежно ставив наушники с головы, она обхватила руками Мишину шею. — А то вдруг это не ты, а Истукан.

— Он новый герой твоих фантазий? — усмехнувшись, спросил Миша. Запах яичницы и треск масла на сковородке пробудили в нём жуткий голод, и он потянулся к полке за тарелкой.

— Нет, правда, он жуткий!

— Да ладно тебе... Обычный старичок...

— Обычный? — воскликнула Лена, выключив зашедшийся свистом чайник. — Ты бы видел, как он на меня смотрел!

— Ну и что... Я его прекрасно понимаю, — ухмыльнулся Миша, уплетая глазунью.

— Да нет! Не так! — ответила Лена. И, несмотря на старания говорить серьёзно, не удержалась от улыбки. — Он смотрит так, будто хочет что-то спросить, или узнать, но не решается... Не знаю, как ещё объяснить...

— Странно... Мы ж его, вроде, Истуканом прозвали не просто так, а за выдающееся отсутствие признаков жизни...

— Да, так и было... До вчерашнего дня... Послушай, пожалуйста, поговори с ним! Узнай, что ему нужно, какого чёрта он там стоит, и когда уберётся! Прошу!

— Ну хорошо, хорошо! — кивнул Миша. С набитым ртом получилось скорее «хохосохохосо», и Лена засмеялась.

— Только сначала подкрепись. А то вдруг он мастер боевых искусств.

Дожевав яичницу, Миша скрылся за дверью. Лена уселась на диван и принялась клацать каналами, но бредовый калейдоскоп из обрывков фильмов и передач был не в силах заполнить сознание шумом помех и вытеснить оттуда тревогу. Мало ли, а вдруг Истукан и впрямь опасен? Может, у него есть оружие, или он просто псих... Сейчас всюду полно психов... А она отправила к нему мужа «на съедение». Лена уже готова была вскочить и бежать на помощь Мише, когда дверь квартиры отворилась, и, к вящему удивлению девушки, в квартиру, следом за мужем, вошёл Истукан.

— Здравствуйтесь, — сказал — или, скорее, прошептал — Истукан и замер в нерешительности перед ковром, глядя на свои истёртые туфли. Его голос оказался таким, каким Лена его себе и представляла: тихим, бархатистым и немного печальным, будто прорывающееся из глубин динамика старой радиолы слова старинной песни.

— Разувайтесь, и проходите, не стесняйтесь, — пригласил его Миша.

— Что... — начала Лена, но Миша приложил палец к её губам.

— Он сейчас всё объяснит.

Старичок прошёл в комнату, старательно избегая кресла, под которым, готовый к нападению на агрессора, затаился, зловеще сверкая глазами, Карп. Задержался, посмотрел по сторонам...

А затем устался в угол, на голую стену, между аквариумом, где искрились золотом две рыбёшки, и чёрным супрематическим прямоугольником телевизора. Старик смотрел в пустоту, и на его лице расплзалась улыбка.

— Он был здесь... — прошептал он.

— Что, простите? — спросила Лена. В её голосе послышались нотки возмущения, в глазах мелькнули искры, их разящий взгляд стал метаться с мужа на незнакомца и обратно.

— «Орудийный Расчёт Номер Шесть», — ответил старик, и, оторвав, наконец, взгляд от пустоты, посмотрел на Лену. Улыбка на его лице слегка поблекла.

— Понимаете, я вырос в этих местах. До того, как сюда пришёл город, здесь была небольшая деревушка. Десятка с два домишек, магазин, клуб да церквушка... Церковь тогда

была заброшена, и мы, мальчишки, организовали в старой колокольне свой «штаб». Ну, вы знаете, как это бывает... Наташили туда всякого хлама и устраивали там «заседания»...

Старик посмотрел на Мишу, и тот понимающе кивнул. Старик продолжил, вернувшись к созерцанию пустоты.

— Сюда... То есть, в колокольню... вела старая лестница... несколько пролётов обвалились, но мы положили поверх провалов доски и перебегали по ним, балансируя с расставленными руками, как циркачи... До сих пор помню скрип тех досок... Удивительно, как никто из нас не упал... А в комнате на вершине звонницы нас ждал целый мир. Мир старых пыльных журналов и книг... И старого поломанного радиоприёмника, с названиями городов на шкале, который стал «пультом космического корабля»... И, конечно, «Орудийный Расчёт Номер Шесть», да... Очищенное от коры бревно, которое мы положили на остов старой коляски и выставили в один из высоких оконных проёмов. Получилось прекрасное орудие на лафете, направленное туда, где за рекой был виден город...

Старик повернулся влево, к висевшей на стене репродукции Пита Мондриана, и вновь улыбнулся, будто разглядев среди разноцветных квадратов и прямоугольников тот самый, давно растворившийся в ушедшем времени пейзаж. Его плечи распрямились, он будто бы стал немного выше и моложе... В его блеклых глазах словно вспыхнули яркие факелы... А мгновением позже волшебство ушло, и перед Леной и Мишей вновь стоял сгорбленный и выцветший старец, иссушенный временем, будто пересохшее русло ручья в пустыне. Но глаза его продолжали гореть...

— Простите, но какое всё это имеет отношение к нашей квартире? — спросила Лена.

Несколько секунд Истукан стоял, не обращая на слова девушки ни малейшего внимания, будто они пролетели мимо и растворились где-то там, в прошлом: в щебете птиц, зелени лугов и ярком солнце, искрящемся в тёмных водах могучей реки... И когда Лена, уперев руки в бока, уже готова была выстрелить парочкой совсем не дружеских реплик, старик, наконец, обернулся и посмотрел на неё. В его взгляде всё ещё тлели и мерцали таинственные огоньки, но теперь к ним прибавился едва заметный влажный блеск.

— Понимаете... Всё это было прямо здесь! На этом самом месте!

Он указал рукой на мондриановские квадраты.

— «Орудийный Расчёт Номер Шесть», из которого мы громили полчища фашистов или белогвардейцев... Старый ламповый приёмник, в котором свили гнездо птицы (он указал на журнальный столик) и древний, рассохшийся шкаф без дверей, где мы хранили старые выпуски «Мурзилки», «Науку и Жизнь», «Технику — молодёжи» (указал туда, где теперь в окне виднелись блестящие россыпи других окон)...

— Здесь? — переспросил Миша и обменялся с женой недоуменными взглядами.

— Да, именно здесь!

Старик обвел руками комнату.

— Я почти всю свою жизнь проработал геодезистом... Поверьте, единственное, что я умею делать по-настоящему хорошо — это измерять. Определять положение объектов, их место в пространстве.

— Ничего не понимаю... — прошептала Лена, сложив руки на груди.

— А я, кажется, начинаю догадываться... — медленно сказал Миша, положив руку на плечо жены.

— Дело в том, что старую колокольню превратили в пожарную каланчу, когда я заканчивал школу, а позже и вовсе снесли. Но я запомнил место. Здесь выстроили кирпичный

завод, затем снесли и его, разбили сквер, и вновь сравнивали с землёй... И совсем уже недавно на месте колокольни вырос ваш дом.

Мише казалось, что старик вдруг будто начал светиться изнутри... И помолодел лет на двадцать, а может быть, и больше, вновь превратившись в того мальчишку со старой церковной колокольни... Секунды молчания тянулись бесконечными столетиями, пока старик вдруг внезапно не лишился своего волшебного ореола, и, будто стряхнув с себя наваждение, осознал, что он просто чужак в чужой квартире, которую пора покидать.

— Простите... Ради бога, простите... Мне пора... Я не хотел... — бормотал Истукан, пятясь к прихожей. Спотыкаясь о разбросанную обувь и едва не наступив на шипящего кота, он приближался к двери, а Миша с Леной безмолвно наблюдали за его поспешным отступлением, и сами походили на истуканов больше, чем тот, кого они наградили этим прозвищем.

— Я ни в коем случае не хотел вас потревожить... Эх, докатился, старая рухлядь... Вламываться в чужой дом и искать там прошлый век... — лепетал старик, дрожащими руками открывая дверь.

— Не волнуйтесь... Ничего страшного... — затараторили хором Миша и Лена, и под аккомпанемент этих невнятных банальностей старик, наконец, удалился.

Некоторое время в квартире царила тишина. Лишь музыка едва слышно струилась из наушников на шее Лены. А потом девушка усмехнулась — слегка натянуто — и направилась на кухню.

— И зачем ты только впустил его? Сразу ведь видно — чок-ну-тый, — сказала она, покручивая пальцем у виска. Солнце, затопившее кухню, вновь рассыпалось в её волосах мириадами искр. — Чай будешь?

Миша рассеянно кивнул, не отрывая взгляда от картины на стене. На губах появилась едва заметная улыбка.

— Миша! Иди чай пить, хватит уже в стену пялиться!

Миша вздрогнул, будто очнувшись от сна.

— Иду, любимая, иду!

И, прежде чем выбросить всё это из головы, бросил последний взгляд на стену и, хмыкнув, прошептал:

— Точки в пространстве...

РЕКА В РУКАХ ТВОИХ

Часть, где служил Серёжа, стояла на берегу реки. Со всех сторон окружённая забором, на востоке она заканчивалась берегом, где в камышах прятался старый причал, и тёмный могучий поток медленно нёс свои воды к морю.

Серёжа любил Лену. А Лена жила в деревне ниже по реке.

Однажды, жарким и душным летом, они придумали забаву: посылать друг другу письма в бутылке. Сергей бросал закупоренную зелёную стекляшку с полусгнившего рыбацкого мостка, и тёмная вода несла её к Лене. Девушка заходила в воду — течение влекло за собой золотистые волосы — и забирала послание. А затем, сидя в своей комнате, смотрела на старый орех за окном и писала ответ, а потом шла по пыльной дороге, через лес, вокруг воинской части, и выше по течению вновь бросала бутылку в реку, чтобы Серёжа смог её поймать с причала.

Так они и жили в то бесконечное лето, и река стала нитью, связавшей их вместе. Они встречались, говорили, звонили друг другу, но в реке всё же было нечто большее. Какая-то тайна, что-то сокровенное, открытое лишь им двоим.

А потом пришла осень, но Лена с детства купалась в реке до самых холодов, и дожди, что омывали пожелтевшие леса, не мешали их странному ритуалу.

Но следом за осенью студёный ветер принёс зиму, и река застыла. Превратилась в ледяную дорогу посреди бескрайних полей пожухлой травы и голых серых лесов.

— Ничего... — говорил Серёжа, обняв Лену, когда его отпустили в увольнение. — Придёт весна, и всё будет как прежде.

— Знаю, — отвечала Лена, но он чувствовал, как она дрожит. — Только вот чувствую что-то... Что-то плохое... Хочу спрятаться куда-нибудь, как кошка перед грозой...

Сергей утешал её, хотя и у него глубоко в сердце жила странная тревога. Но пока всё было в порядке. Пока они жили дальше.

А дальше пришла весть о том, что на юге снова началась война. И Серёжину часть готовят к отправке туда, в далёкие горы.

Тягостные дни ожидания тянулись бесконечно. Однажды Лена уехала провести подругу в соседней деревушке. А вернувшись, узнала, что Серёжу вместе с другими солдатами отправили на станцию, откуда поезд повезёт их на юг. И если она хочет увидеть его, то нужно сейчас же идти — ведь до полустанка от деревни не меньше двух часов ходу.

С неба медленно падал первый снег, когда она вышла из дома. Но прежде, чем идти к станции, она отправилась на реку. Оказавшись на льду, она взяла нож, и, упав на колени, отколола от застывшей реки несколько крохотных кусочков замерзшей тёмной воды. И только тогда отправилась в путь.

Дорога тянулась вдаль, снегопад усиливался, и крепчающий ветер увлекал снежинки в бешеный танец. Снег падал и падал; мерцающие вдалеке семафорные огни пропали в белой пелене. А за ними и дорога, и лес. Остались лишь снег, ветер, и холод.

Но девушка, дрожа и кутаясь в пальто, продолжала идти.

Сергей переминался с ноги на ногу, запахиваясь в шинель, и смотрел на часы. Поезд вот-вот тронется... Неужели им не суждено встретиться? Рядом стоял сержант и ободряюще хлопал его по плечу... Легко ему — он-то остаётся...

Но вот из снежной пелены показался хрупкий силуэт.

— Господи! Ты почему так легко оделась? — воскликнул Серёжа, прижав её к себе, холодную и продрогшую. Он целовал Лену, чувствуя, как тают снежинки на её коже.

— Возьми это, — сказала она, когда поцелуи и слова прощания иссякли, и вой метели прорезал сигнал отправления. Она протянула ему кусочек тёмного льда, сжимая его побелевшими пальцами. — Держи его в руках, пока не растает. Так река всегда будет с тобой, и мы всегда будем связаны воедино.

Он взял ледышку из её рук, а другую она сжала в ладони. Он снова поцеловал её — такую хрупкую, такую холодную... А затем сержант потащил его к вагону. Стоя на подножке уходящего поезда, он видел, как Лена тает в снежной круговерти... Когда снег поглотил её, ему показалось, что она взмахнула рукой, и он помахал в ответ, чувствуя, как лёд холодит пальцы. Теперь у них двоих, как и прежде, была Река. А значит, всё будет хорошо.

Сергей погиб, когда его рота попала в засаду на одной из горных дорог. Пуля снайпера пробила ему лёгкое. Проваливаясь в темноту, он вспоминал холод льда в руке, и как ледышка таяла, а за окном поезда мелькали всё более тёплые и радостные края, и сложно было поверить, что где-то там, в конце пути, его ждёт война. А теперь жизнь покида-

ла тело, но он знал — все будет в порядке: темнота, поглощающая его — это чёрная вода Реки, и там, в этой тёмной прохладе, его ждёт Она...

Тело Лены нашли только два дня спустя, когда поутихла вьюга. В числе откапывавших заметённую снегом девушку был и сержант.

Она улыбалась. В безжизненных глазах застыл холодный блеск, окоченевшие пальцы сжимали кусочек чёрного льда.

— Чёрт возьми! А кто же тогда был с Серёгой там, на станции? Кто с ним прощался? — воскликнул сержант, глядя на одного из солдат с лопатами.

— Не знаю, товарищ сержант. Но я тоже видел: она это была, не иначе.

— Но как же... Как же так?

— Не знаю, товарищ сержант.

Они молчали, пока тело девушки не подняли и не положили на носилки. Напоследок сержант пристально посмотрел вглубь бледно-голубых глаз и задумчиво прошептал:

— Должно быть, она очень хотела дойти.

СЕМЬ НАБРОСКОВ

Как только начался Большой перерыв, пропахшие краской и сигаретным дымом коридоры Академии тут же заполнило звонкое эхо шагов, голосов и смеха спешащих в буфет студентов. Но Володя направлялся против течения бурного и пёстрого человеческого потока. Он только что познакомился с Алиной — первокурсницей с живописного факультета, которая совсем недавно перевелась из Симферополя, и только-только начинала осваиваться в огромном старинном здании.

И старожил Володя был рад помочь ей в этом нелёгком деле.

— Наша мастерская — под самой крышей. Её называют Скворечник, — сказал Володя тоном экскурсовода.

— А ты, стало быть, скворец? — спросила девушка и улыбнулась. Володя пожал плечами и ответил улыбкой. Странная она. И красивая. Такие ему всегда нравились.

— Оттуда есть выход на крышу. Там отличный вид.

— Классно. Я захватила полватмана, сделаю пару набросков.

— Тебе что, занятий мало? — удивился Володя, у которого после двух подряд пар рисунка перед глазами качалась дрожащая тень натурщика, похожая на след, какой остаётся, если бросить взгляд на яркое солнце.

— У меня с утра была философия, так что...

— А, тогда понятно... Ну вот, почти пришли.

Миновав опустелую мастерскую и пробравшись через лес мольбертов с неоконченными работами, они пришли к лестнице, упиравшейся в потолочный люк. Вдалеке — за пыльным, забрызганным краской окном — поблескивала среди зелени холмов вода Днепра.

Отбросив крышку люка, Володя выбрался на крышу, щурясь от яркого солнца, и помог подняться Алине. Внизу, у главного входа, пытели сигаретами на скамейках нервные абитуриенты; в саду за их спинами практиканты делали наброски скульптур — дипломных работ скульпторов-выпускников прошлых лет. Поэты, воины и древние языческие боги безмолвно стояли среди шелестящей листвы, молчаливо взирая на весело щебечущих юношей и девушек с кистями в руках.

— Ух ты! — вздохнула Алина, глядя на раскинувшийся внизу зелёный островок. Вверх взмыли потревоженные возгласом голуби; шум крыльев растворился в гуле города вокруг. Володя оглянулся. Часть крыши пряталась за старинной печной трубой, но остальная, к счастью, была свободна. Они подошли к парапету, где стояли пара пустых винных бутылок и пепельница из банки с выцветшей надписью Nescafe на жестяном боку.

— Как красиво! — воскликнула девушка, усевшись на разогретый солнцем камень.

— Да уж... — кивнул Володя и сел рядом. — Хорошо, что ты взяла с собой бумагу и карандаш.

— Да! Господи, почему все не торчат здесь и не рисуют эту красоту? — спросила Алина, перегнувшись через парапет.

— Здесь так много красоты, что многих она уже ослепила... — задумчиво проронил Володя, выудив сигарету из кармана джинсов.

— Но не тебя? — девушка посмотрела на него с улыбкой. Ветер бросил прядь светлых волос на её лицо.

— Нет. Пока ещё нет, — улыбнулся Володя и закурил. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, а затем она отвернулась.

— Всё это работы студентов?

— Все, кроме одной, — ответил Володя, указав дымящей сигаретой на странное грубое изваяние, притаившееся в тени раскидистого дуба, в дальнем уголке сада. — Это древний идол. Его нашли здесь, во дворе Академии, ещё в начале девятнадцатого века, когда строили здание.

— Это какое-то божество?

— Да, — ответил Володя и улыбнулся. — Изначально его считали каким-то нашим, славянским божком — не то Перуном, не то Дажьбогом... Но Виктор Владимирович, наш завкафедрой истории искусства, полагает, что идол — это античная греческая статуя, привезённая князем Олегом из византийского похода.

— Античная? — недоверчиво подняла бровь Алина и посмотрела на грубое изваяние.

— Её сильно повредили в пути... К тому же, века в земле не прошли даром...

— И кого же изображала эта... античная статуя?

Володя вновь улыбнулся.

— Афродиту. Греческую богиню любви.

— Ты всё это придумал! — рассмеялась девушка. Золотистые волосы рассыпались по смуглым плечам.

— Вовсе нет, — поднял ладони Володя и бросил окурок в старую кофейную банку. — С этой статуей даже связана одна легенда. Её передают из поколения в поколение наши студенты и преподаватели.

Девушка внимательно слушала: локти в колени, подбородок в ладони, зелёные глаза широко раскрыты.

— Говорят, что если парень и девушка придут сюда, на эту крышу, вместе, и сделают семь набросков идола, на которых он будет постепенно растворяться, и, в конце концов, исчезнет, то они выпустят на волю заключенный в камне дух богини, и она наградит их невероятной...

— Ах вот зачем мы сюда пришли, — кивнула девушка, улыбаясь. Володя улыбнулся в ответ.

— Я же говорю: хорошо, что ты захватила...

У Алины в сумочке раздался звон.

— Ой, совсем забыла, это мой парень звонит... — пробормотала она, поднося телефон к уху. — Да... Да, любимый... Ты уже внизу? Всё, бегу! Сейчас буду!

Вскочив, она бросилась к люку.

— Извини! Тороплюсь! Увидимся как-нибудь! — донеслось до Володи, когда, блеснув солнцем в волосах, Алина исчезла в прямоугольнике лаза.

Володя как раз собирался выругаться, когда услышал за спиной смех. Звонкий, колючий, ядовитый, безжалостный женский смех. Как раз настраиваясь на светлую грусть очередной неудачи, он резко обернулся, возмущённый столь наглým вторжением в сладкую меланхолию. И не удивился.

На парапете сидела Соня.

Они учились вместе уже год, с тех пор, как она перевелась с графики на архитектуру. Черноволосая, с вечным готическим макияжем, в тяжелых ботинках и тёмных одеяниях, она была по-своему привлекательна, но мерзкий характер образовал вокруг неё надёжную зону отчуждения, что, по всей видимости, её полностью устраивало. Володя, как и все остальные, не слишком с ней ладил, но сейчас этот смех и вовсе пробудил в нём ярость, будто разя сотнями крошечных кинжалов прямо в вечно разбитое сердце.

— И что смешного? — спросил он. Соня расхохоталась пуще прежнего; этюдник едва не соскользнул с плеча и не улетел вниз.

— Ты что, всерьёз думал, что это прокатит? Ох-ты-ж-боже-ж-мой... Афродита, дух любви! — успела сказать она перед очередным приступом смеха.

— Смотри, чтоб гуталин по лицу не размазался, — хмуро бросил Володя и, опершись локтями на парапет, уставился на старого идола. На этот раз ему действительно было грустно: уж очень ему понравилась та светловолосая крымчанка.

— Нет, правда... — сказала девушка, немного успокоившись. — Ты сам до такого додумался, или вычитал на каком-нибудь сайте типа «Романтические легенды точка ру»?

— Отвянь, — махнул рукой Володя, и — сам не зная зачем — добавил: — Я правда слышал что-то подобное... От Вострякова... Он говорил, что это типа легенда Академии, чуть ли не со времён основания... Про Афродиту это я, конечно, загнул, но, дескать, в камне живёт дух, который можно освободить семью набросками, и он свяжет вместе тех, кто...

— От Вострякова?

Голос Сони теперь звучал гораздо ближе: она села на парапет рядом с Володей, закурила и обхватила руками колени. Удивление в голосе было легко понять: старый хромой преподаватель рисунка был человеком до крайности рациональным и не склонным к пустой болтовне. В Академии было полным-полно чудаков, готовых поведать тебе о инопланетном заговоре и параллельных измерениях, но Востряков...

— Да. Я тоже удивился. Наверное, увеличил дозы коньяка в обед.

— Слушай, а давай проверим! — воскликнула Соня, сбросив с плеча этюдник.

— Что проверим? — удивлённо повернулся к ней Володя, и, когда пришло понимание, воскликнул: — Ты что, шутишь?!

— А что? Сейчас быстренько сбацаем семь набросков, и посмотрим...

— Да ты тоже чокнутая, как Востряков...

— А у тебя что, другие дела есть? Может, девушка ждёт? — ехидно бросила Соня, достав из этюдника огрызок карандаша. Прищурившись, она уверенно набросала контуры каменного истукана и окружавших его деревьев. Вопреки неприязни к ней, Володя всегда признавал, что художник она превосходный, особенно в том, что касалось графики: её рисунки всегда получали высший балл, а быстрые наброски отличались потрясающей

точностью. Вот и сейчас идол из сада быстро и легко перекочевал на желтоватый лист акварельной бумаги.

— Давай. Теперь ты.

— Никакие духи, боги и богини всех народов мира не заставят меня в тебя влюбиться... — сказал он, нехотя взяв карандаш. У Володи времени ушло куда больше: как и большинство архитекторов, он хорошо рисовал здания, но в остальном не отличался никакими выдающимися способностями. Вот и сейчас набросок с немного поблекшим идолом получился несколько более обобщённым и «смазанным», нежели Сонин. «Интересно, — думал Володя, — духу в камне есть дело до качества работы?»

— Да кому ты нужен... — прошептала в ответ Соня, не отрываясь от работы. — Просто нужно побольше рисовать. А то можно опуститься до твоего уровня. Обмениваясь колкостями, они постепенно завершили шесть набросков. На последнем из них от идола остался лишь едва заметный контур, сквозь который просвечивали стволы деревьев, и Бородатый Ваня, скульптор, сидевший на траве в компании друзей и бренчавший на гитаре. Соня начала делать завершающий рисунок: пейзаж сада без каменного изваяния.

Наконец, набросок был закончен.

И, конечно же, ничего не произошло.

— Довольна? — спросил Володя, хмуро ухмыльнувшись. Внизу лавочки и сад постепенно опустели: перерыв заканчивался. Чёрт, впереди живопись, а потом — ад начертательной геометрии... Лучше бы пошёл с ребятами кофе выпил. Поднявшись, Володя направился к люку.

— Да... — сказала Соня, бросив лист с набросками в этюдник. — Жаль, конечно, что компании хорошей не нашлось, но...

Внезапно подул ветер. Он разметал чёрные волосы девушки, раздул полы Володиного пиджака, опрокинул банку с окурками... Посреди летней духоты в нём чувствовалась какая-то дикая, невероятная свежесть.

Володя даже не понял, что произошло. Быть может, ничего и не происходило. Он вернулся к девушке. Она рассеянно улыбалась, удивлённо глядя на шелестящие кроны деревьев.

— Странно... — прошептала она. — Такое чувство... Не знаю, как сказать... Повернувшись к нему, она воскликнула:

— Ты чувствуешь? Ты тоже это чув...

Он притянул её к себе и поцеловал. Она ответила на поцелуй и обняла его. Володе показалось, что поцелуй длился вечность, а ветер всё не стихал, и будто кружил вокруг них вихрем из разноцветных пятен сорванных с деревьев листьев и вырванных из рук практикантов эскизов.

Наконец, оторвавшись от её губ, он, улыбаясь, прошептал:

— Я знаю ещё одну легенду. О ста поцелуях.

— Ста поцелуях? — спросила Соня, отбросив с лица волосы.

— Да. Сто поцелуев на крыше Академии Искусств могут стать началом прекрасного дня.

— Тоже Востряков рассказал? — рассмеялась девушка.

— Нет, — смеясь, ответил Володя.

— Что ж, первый уже был, — улыбаясь, прошептала Соня. — Пора переходить ко второму. Володя не стал спорить.

ЧЕРНАЯ ТРАССА

Вздымая волны грязной воды, «Нива», наконец, прорвалась через утопающий в грязи переулок и остановилась у двухэтажного коттеджа. Саша открыл дверь, выбрался наружу и с удовольствием вдохнул полной грудью: даже с этой мерзкой моросью здешний воздух был сказочным, особенно в сравнении с киевской мешаниной из бензиновых выхлопов и прочей дряни. Потянувшись, он помог Лере выбраться из машины. Хозяин открыл багажник и вытащил их рюкзаки. Схватив вещи, они торопливо направились к навесу над крыльцом. Саша смотрел на густой туман, скрывающий горы, и гадал, не расправилась ли ранняя весна со снегом на горках? Всё же не хотелось бы три дня сидеть в гостинице... Лера потянулась и сонно улыбнулась: четырнадцать часов в автобусе, и ещё час в этом гробу, скачущем по адским местным дорогам, порядком её утомили. Да и Саша больше всего хотел поужинать и рухнуть в постель... Посмотрев на жену, на её улыбку, он и сам начал улыбаться: приятно было видеть, как её давняя мечта о Карпатах и горных лыжах, наконец, сбывается.

Жена хозяина показала им номер: небольшую, но уютную комнатку на втором этаже, с пахнущей смолой деревянной мебелью, телевизором и крохотной ванной за стеклянной дверью. Саша взглянул на часы: до ужина оставалось полчаса. За окном слышался шум воды. Саша подумал, что это проклятый дождь вновь усилился, но, приблизившись к мокрому стеклу, с удивлением увидел, что внизу журчит среди камней небольшая речушка.

- Боже, какая красота! — сказала Лера, прижавшись лицом к стеклу.
- Точно, — согласился Саша и обнял её сзади.
- Хочешь пойти первый в душ?
- Хочу, но могу уступить тебе.
- Нет уж, иди ты!
- Давай вместе.
- Давай.

Столовая была небольшой, всего на четыре столика. За одним из них сидел перед ноутбуком хозяин, на пушистом ковре играла с котом девочка лет восьми-девяти. Саша с Лерой заметили накрытый на четверых стол и уселись на тяжелую скамью. Аромат украшавших столы пионов сливался с вездесущим запахом сосновой смолы. С кухни проникал и другой аромат — теста и мяса, и Саша почувствовал, как в животе заурчало: в последний раз он ел ещё в Киеве, если не считать сосиски в тесте и шоколадки «Твикс» на заправке под Ивано-Франковском. Глядя на бледно-розовые пионы, Лера с тоской водила вилок по блестящей пустой тарелке.

- Ещё пару минут, и я слопаю эти цветы.
- А я — девочку с котом!

Впрочем, цветы, девочка и кот избежали печальной участи: спустя несколько минут из кухни появилась хозяйка с огромным подносом в руках, и мгновением позже перед ними разместились две больших тарелки, на которых в клубах пара виднелись небольшие горы вареников, а также корзинка с хлебом и пузатый стеклянный чайник с чаем.

- Ух ты! — воскликнул Саша, набрасываясь на еду.
- Может, подождём наших сотрапезников? — Лера указала на пустые тарелки напротив.
- Хихего... Хами винофахы... — с набитым ртом пробурчал Саша, и Лера рассмеялась.

— Я смотрю, тут уже пир полным ходом! — раздалось откуда-то из-за их спин, и Саша едва не поперхнулся, а Лера расхохоталась ещё больше. За стол напротив Саши приземлился небольшой пузатый мужичок с плешью на макушке.

— Павел, — с карикатурной официозностью сказал он и протянул Саше пухленькую ручонку.

— Хаха, — ответил Саша, не успевший всё прожевать, и секунду спустя уже и толстяк вовсю хохотал.

— Да уж, перед этими их варениками устоять сложно. Правда, Настенька?

— Правда. Особенно тебе, дорогой, — сказала девушка, севшая рядом с толстяком. Саша окинул её взглядом: длинные каштановые волосы, бледно-розовая, похожая на лепестки пионов, кожа, и глаза зелёные, как разрезанное киви или малахитовый браслет, который он когда-то купил Лере в Ливадии. В отличие от его смуглой и черноволосой супруги, спутница Павла не казалась ему красивой. Миловидной да, но не красивой... Поэтому взгляд быстро скользнул в сторону, но мгновение спустя, будто случайно, вновь вернулся к зеленоглазой девушке.

— Анастасия, моя дражайшая супруга, позволяющая мне предаваться чревоугодию в этом гостеприимном краю, — сказал Павел, уже буквально воспламеня взглядом очередной поднос с варениками, плывущий в руках хозяйки к их столу. Лера и Саша представились. Саша встретился взглядом с Настей, и, наконец, оторвал от неё взгляд, не понимая, что же его притянуло. Зелень её глаз будто оставила едва заметные, тающие следы на сетчатке, как бывает, когда мельком взглянешь на солнце.

— Мы только въехали, — сказала Лера, когда они покончили с едой и перешли к чаю. Саша чувствовал, что наелся до отвала; усталое тело начала окутывать сонливость.

— Да, мы слышали, как приехала машина, — кивнула Настя.

— Этот гроб так ревёт, что даже шум реки с телевизором в придачу не могут его заглушить, — хохотнул Павел, с голодной тоской глядя на пустую тарелку и бросая взгляд последней надежды на запёртую дверь кухни.

— Как там, на горке? Снег ещё есть? — спросил Саша, чей взгляд вновь не подчинился отчаянным командам мозга, и, то и дело метаясь к Насте, скользил дальше, дабы не быть замеченным. «Чёрт возьми, что со мной?» — мелькнуло в голове. Он даже слегка вздрогнул, желая стряхнуть наваждение, и Лера посмотрела на него слегка озадаченно.

— Полно, — махнул рукой Павел. — На хорошей скорости вся эта морось изрядно досаждала — особенно без маски — но в целом всё супер: людей немного, туман иногда даже в кайф...

Они говорили о том, какие здесь гостеприимные жители и ужасные дороги, дешёвые гостиницы и баснословно дорогие заведения на горках, о ценах на прокат и подъемники... А Саша то и дело смотрел на жену Павла и время от времени ловил на себе ответный взгляд зелёных глаз. Он чувствовал, как к лицу прилила кровь, а тело окутал жар, и убеждал себя, что это от сытного ужина, помноженного на усталость.

Договорившись встретиться за завтраком, они попрощались с новыми знакомыми и отправились наверх. Когда вернулись в номер, у него едва хватило сил, чтобы раздеться и забраться под одеяло: завтра нужно было встать пораньше, чтобы успеть купить абонементы на подъемники по утренним скидкам. Хозяин просил их быть готовыми выехать в половине восьмого. Шелест воды за окном походил на дождь и убаюкивал.

Саша провалился в сон едва ли не до того, как голова коснулась подушки. Лера попыталась почитать купленный на заправке журнал «Вокруг Света», но через пару минут тоже

заснула, успев заметить, что на лице Саши, обычно столь комично серьёзном во сне, сейчас блуждала странная улыбка, а глаза под веками быстро двигались: неведомое ей сновидение было в самом разгаре.

Утром они быстро позавтракали и направились к поджидавшей их во дворе «Ниве». Хозяин уже курил рядом с машиной. Отсюда им четверым предстояло ехать до горки вместе, а дальше они растворятся в огромном горнолыжном муравейнике.

— Самые жирные — вперёд! — сказал Павел, пропуская девушек на заднее сидение.

— Паша, если не возражаешь, можно мне? А то меня, бывает, укачивает... — тихо сказал Саша.

— Конечно! — махнул рукой Павел и полез на заднее сидение.

— Если только такому бегемоту, как я, хватит сзади места! Девчонки, поберегись!

Машина тронулась и принялась медленно и тяжело ползти по разбитым сельским улицам.

— Саша, чего это ты вперёд сел? — спросила Лера. — Тебя же вроде никогда не укачивает...

— Видать, после автобуса... Первый раз... — ответил Саша, стараясь придать голосу болезненные нотки. Ведь правду Лера вряд ли захотела бы услышать. Да и сам он не хотел себе признаваться в том, что боится сесть рядом с Пашиной женой. Почувствовать её тепло, запах её волос — почему-то почудился аромат пионов...

Чёрт подери, рядом с ней он чувствовал себя, как школьник на первом свидании! Саша смотрел на окутанные туманом леса по обе стороны от петляющей дороги и чувствовал, как такая же плотная бледная пелена затягивает его рассудок, не позволяя нормально, рационально мыслить... Хотелось нырнуть в очень-очень холодную реку... Они с Лерой были вместе уже семь лет. Конечно, свежесть чувств и яростное, страстное влечение друг другу несколько угасли, но ведь так и должно быть, верно? Те изначальные, яркие чувства немного — отнюдь не полностью — бледнеют и выцветают со временем, но им на смену приходят другие, и кто сказал, что они хуже или слабее? Они оба понимали это, и знали, что за прошедшие годы их связало нечто гораздо большее, чем те, первые ощущения... Их жизни туго-претуго переплелись и превратились в одну. В последние годы они оба наконец-то начали нормально зарабатывать, выплатили проклятый кредит за квартиру, начали ездить в отпуск несколько дальше крымских палаточных городков... Начали планировать обзавестись потомством, а пока — для тренировки, как шутила Лера — завели крохотного котёнка, быстро вымахавшего в совершенно бесшабашного и хулиганистого котищу. Саша мог начать что-то говорить, а Лера заканчивала фразу, будто читая его мысли. Должно быть, в каком-то смысле так и было. У них была не одна жизнь на двоих, нет. Целый мир, монолитный и нерушимый, как скала.

И эту скалу Настя может превратить в пыль одним лишь словом. Да что там словом — взглядом, вздохом, движением губ...

Господи, он чувствовал себя, как какой-то чёртвов пятиклассник... Он же серьёзный, взрослый мужик... Придумал себе какую-то чушь, воображаемую интрижку, в духе этих кретинских фильмов, что идут в кинотеатрах — с афишами, где на белом фоне улыбаются девицы, и неизменно красные буквы в названиях со словом «Любовь»... Чёрт, а она ведь его, небось, даже и не заметила!

Да только вот он чувствовал, что заметила... Заметила, и испытывает что-то похожее. Можно списать это на разыгравшееся воображение, да только... Он просто знал это, и всё. Его пронзало таинственное, неподвластное разуму, глубинное понимание того первобытного, пугающего магнетизма, который гудел между ними, грозясь разрушить, раз-

дробить, стереть в порошок всё, что встанет у него на пути... Что-то большее, гораздо большее, чем простая физическая страсть, что-то похожее на те чувства, о которых все знают лишь из старых книг... Боже, да он же только посмотрел на неё пару раз, и всё! Всё это просто разыгравшаяся фантазия! Или нет? А может...

— Саша, приехали, — донеслось до него сквозь вязкую паутину мыслей, ощущений и желаний. Протерев глаза, он посмотрел в окно, где сквозь пелену мороси виднелся курорт, и выбрался из машины.

— Ну что ж, дальше все по своей программе! — весело сказал Павел, помогая Насте выйти из машины. — Мы сегодня в обед уезжаем, так что, наверное, уже не увидимся! Приятно было поужинать и позавтракать!

Саша принялся разглядывать разрезавшие зелень леса белые ленты спусков, вдоль которых ползли нити подъемников. Люди в креслах доползали до границы тумана и растворялись без следа, будто исчезая в этой манящей высоте... Он смотрел на несущиеся по склонам чёрные точки и думал о том, какую жажду и нетерпение всегда испытывал, только взглянув на всю эту красоту... Но сейчас он чувствовал нечто похожее, лишь когда вновь встретился с её зелёными глазами, и смотрел в них, смотрел, смотрел так долго, что мир успел увянуть, умереть, воскреснуть и расцвести вновь...

Наконец, он чудовищным усилием отвёл от неё взгляд и, посмотрев на Леру, тотчас понял, что она заметила.

— Пойдём в кассы, нужно успеть абонемент взять, — сказала она, и, схватив за руку мужа, потащила его к одному из деревянных домиков с окошками, у которых, неловко переминаясь с ноги на ногу в горнолыжных ботинках, толпились напоминающие пингинов люди. Дико хотелось оглянуться, но он заставил себя смотреть вперёд, и постарался максимально стереть с лица эту идиотскую подростковую мечтательность, которая, как ему казалось, была за версту видна любому, кто когда-нибудь влюблялся.

Вскоре они купили абонементы, взяли напрокат шлемы, лыжи, палки и ботинки — Саше достались тесные и неудобные, но менять было лень — и поднялись на горку. Головокружительный спуск, ветер, гудящий в ушах, взрыв адреналина на крутых виражах помогли слегка затушевать будоражащий его образ, но он всё равно пристально вглядывался в спины, что мелькали впереди, силясь высмотреть синюю куртку и спадающий из-под шлема водопад каштановых волос... «Что же это такое... Что же со мной такое...», — билось в голове.

Лера каталась хорошо, но очень осторожно и аккуратно, не позволяя лыжам развивать слишком большую скорость. Поэтому Саша, который, пусть и не слишком технично, но летал как метеор, постоянно ждал её внизу, под подъёмником, стараясь разглядывать карту спусков или всевозможные модели лыж на ногах у протискивающихся к подъёмнику людей... Рассматривал детскую горку, где малыши, неловко стоя на лыжах, учились кататься... Глядя на лица детишек, он вновь вспомнил об их с Лерой планах на близкое будущее и испытал болезненный укол стыда, когда понял, что всё равно желает лишь всматриваться в толпу, в лица, и искать среди них одно — её. Впрочем, он понимал, что здесь десятки горок, тысячи людей, и вероятность встречи близка к нулю...

Постепенно эйфория от катания и свежий морозный воздух всё же сделали своё дело, очистив Сашину голову от всей этой безумной чепухи. После очередного подъёма он слетел вниз по затяжному спуску с красной маркировкой, означавшей среднюю сложность, и решил, что, пока Лера спустится, он успеет вновь подняться на вершину и снова съехать вниз, оказавшись у турникетов подъемника почти одновременно с супругой. Оттал-

киваясь палками, он влился в толпу неуклюже продвигавшихся вперёд, к четырём автоматическим дверцам турникетов, лыжников. Минуту спустя он взмыл вверх в компании трёх попутчиков, на которых он, по привычке, лишь мельком взглянул с едва проснувшейся и тут же погасшей надеждой. Мимо мелькали опоры, из колонок на которых доносились звуки. Саша едва различил танцевальный хит девяностых «Mr.Vain». Музыка казалась призраком юности и переживаний, подобных тем, что совершенно неожиданно — и столь сокрушительно — обрушились на него сейчас. Постепенно сосны вокруг, несущиеся внизу фигурки, и даже четвёрка в креслах впереди растворились в тумане. Всё размылось, потеряло чёткость, лишилось привычных очертаний...

Наконец, в молочной белизне проступили контуры верхней станции подъемника. Саша и его спутники сняли лыжи с подножек, подняли фиксирующую планку и стали ждать «приземления». Вот лыжи коснулись снега, сидевшие в креслах поднялись и разъехались кто куда: отсюда начинались две трассы разной степени сложности. В основном все направлялись к синей, простой трассе, на спуск по чёрной же решались лишь немногие: она слыла самой опасной из всех проложенных в этих горах. Соскользнув с небольшого пригорка и отъехав буквально на несколько метров от зоны высадки, Саша случайно обронил палку и остановился, чтобы поднять её.

Когда он выпрямился, уже приближалась очередная четвёрка. И он готов был отдать голову на отсечение, что знал, кто сидит в крайнем справа кресле, ещё до того, как смог различить в тумане синеву куртки, а мгновением позже — спадающую на плечо, выбившуюся из-под шлема каштановую прядь, слегка румяную кожу и глаза... глаза... Их цвет скрывала оранжевая линза горнолыжной маски, но он чувствовал взгляд, будто ощущая его кожей... Саша смотрел на её руки, сжимавшие палки: из-за тёплой погоды их не скрывали перчатки. Он смотрел на кольцо, блестевшее на одном из её пальцев, и думал о таком же на собственной руке. В голове, где только-только наметилось какое-то подобие порядка, воцарился полный хаос; дыхание сбилось, стало жарко и душно...

Она соскочила с кресла легко и грациозно, но сосед слегка толкнул её, как порой бывало при «высадке», и она заскользила вперёд, балансируя на грани падения. Лыжи несли её прямо к нему, палки, зажатые в правой руке, не помогали удержать равновесие... Она взмахнула рукой, он постарался перехватить её, и... Саша почувствовал её руку в своей. Инерция увлекла его вперёд, и они заскользили к отмеченной чёрным знаком линии, за которой начинался крутой обрыв одной из сложнейших трасс, «16С». Сердце Саши замерло, когда они остановились у края.

— Спасибо! — сказала она, но руку из его руки не забрала. Он смотрел вперёд, в белизну, а затем решил повернуться к ней. Настя воткнула палки в снег и сняла маску освободившейся рукой. Он снова смотрел в её глаза, и вновь это длилось так долго, что где-то успевали родиться и раствориться в небытии целые миры. На её губах блуждала едва заметная улыбка.

— Думаю, Паша может неправильно понять, когда увидит, — тихо сказала она спуская вечность, когда Саше уже казалось, что нет ничего и никого, кроме них двоих в этой огромной, вселенской белизне.

— Увидит? — прошептал Саша, не понимая, о чём речь, но желая услышать ещё, сохранить сказанные ею слова в памяти, и позволить им звучать там бесконечно...

— Наши руки, — сказала она, и он вдруг понял, что их ладони все ещё соприкасались, пальцы переплелись, и... — Он ехал за мной, но, думаю, туман нас пока скрывает, — до-

бавила она, и улыбка стала чуть шире, затронув уголки губ. Саша улыбнулся в ответ, и, собрав все силы, отпустил её руку. Казалось, теперь тепло её ладони он будет чувствовать до конца своих дней.

— Я... — начал он, и вдруг почувствовал её палец на губах: «Молчи».

— Не нужно... — всё так же тихо, полушепотом сказала она. — Не нужно говорить... Через полтора часа мы уедем, и всё снова будет в порядке. И у вас, и у нас.

Саша слушал её, чувствовал, как где-то внутри расцветает почти физическая боль, но отчетливо слышал и дрожь в её тихом голосе: ей не хотелось говорить это, нет. Она хотела совсем другого.

— Я... Я хочу снова увидеть вас... — сказал он, заикаясь и краснея, чувствуя себя одновременно застенчивым подростком и пародией на героев каких-то старых и пыльных романов о любви, где все очень сложно, трудно, одни полунамёки и недосказанности, и только печаль и грусть в несчастливом конце... Откуда-то, из параллельной вселенной, доносилась музыка — снова что-то из девяностых, какие-нибудь Ace of Base или La Bouche...

— Вы когда-нибудь спускались по этой трассе? — спросила она, отвернувшись и взглянув вниз. Саша тоже посмотрел: в почти отвесной пропасти клубился туман.

— Нет, — ответил он. Несколько раз он катался по другим — менее сложным — чёрным спускам, но его умения едва хватало на то, чтобы устоять на ногах... А крутизна тех спусков была гораздо менее ужасающей...

— Потрясающее ощущение... — задумчиво сказала она и снова посмотрела на него. — Это очень, очень нелёгкая горка — особенно поначалу — но то, что на ней испытываешь... Это просто невероятно.

Саша смотрел вниз, в это белёсое, похожее на воду ничто, и думал: понимает ли он, о чём они сейчас говорят. В мыслях вдруг неожиданно проступил образ Леры, должно быть, скользящей сейчас вверх на подъемнике... Быть может, вместе с Настиним мужем... Вот они, летом между первым и вторым курсом, целуются, лежа на лужайке позади политехнических корпусов, после концерта Cardigans в ДК КПИ... Джинсы в зелени от травы, голова кружится от выпитого вина, кровь бурлит, свет фонарей пронизывает листву, заставляя деревья светиться зеленью... Вот они впервые пришли к её родителям, и он старается не вставать лишний раз из-за стола, чтобы они не заметили торчащий из дырявого носка большой палец... А вот она смеётся на каком-то уж слишком идиотском, героическом и пафосном блокбастере в кинотеатре «Ленинград».... Со всех сторон возмущенно шикают, он, сам едва сдерживаясь, пытается её успокоить, а она, со слезами на глазах, хохочет и хохочет, никак не может остановиться...

Мимо проскользнул лыжник и исчез в пропасти, вырвав Сашу из пучины размышлений. Он понял, что сейчас должен просто сказать несколько слов, не раздумывая, не копаясь в своих мыслях и чувствах, не давая себе ни секунды отсрочки, иначе он снова утонет в этих глазах, снова потеряется, снова готов будет устремиться с ней туда, вниз, в туман, куда угодно...

— Боюсь, что для меня это слишком... — едва слышно прошептал Саша, продолжая глядеть в белую пустоту, страхась встретиться с Настей взглядом... И всё равно почувствовал, как она едва заметно кивнула, как будто знала ответ заранее.

— Я... Пожалуй, я выберу синюю. Я не так опытен, и, к тому же, моя жена...

— Да-да, Паша тоже предпочитает спуски попроще, — сказала она. Они посмотрели друг на друга, перестав улыбаться, и снова это длилось очень, очень долго, а может быть,

лишь доли секунд... Морось холодила кожу, в тумане, причудливо искажавшем звуки, сливались полные восторга и страха детские вопли, мерный гул колес подъемника и приглушенная музыка... Кажется, снова из девяностых...

На лице Насти вновь появилась улыбка, и, склонив голову набок, она сказала:

— Было приятно с вами познакомиться, Саша.

И в следующую секунду нырнула вниз, в туман. У Саши едва не вырвался крик, когда он увидел, как она исчезла, прошуршав снегом, оставив лишь две борозды на почти нетронутом отратраченном склоне. Перед ним вдруг пронеслась, как фильм на перемотке, целая жизнь... Жизнь с этой девушкой, которая так и не случилась...

— Решили исполнить смертельный номер? — услышал Саша, и, обернувшись, увидел Настиного мужа, подъехавшего к краю спуска-обрыва.

— Говорят, в прошлом году здесь один смельчак себе шею свернул... — добавил он, заглянув вниз.

— Да нет, — прохрипел Саша. Голос звучал так, будто он неделю не издавал ни звука. Прокашлявшись, он добавил:

— Сначала хотел, но потом задумался, а стоит ли оно того...

— Кто знает? — усмехнувшись, ответил Паша.

— Может, да, а может, нет... Лично я катаюсь здесь уже не первый год, и до сих пор не посещал примерно две трети трасс. Кто-нибудь сказал бы, что это скучно. Но, как по мне, гораздо приятнее раз за разом проезжать по одной и той же трассе, знакомой и безопасной. По-моему, это приятнее, чем свернуть себе шею на одной из этих....

Паша махнул рукой в сторону чёрного знака с надписью «16С». Саша задумчиво кивнул, продолжая смотреть вниз, в туман.

— Вот Настя, она любит всякое безрассудство... Кстати, вы её не видели? Я немножко отстал, и она ехала на пару кресел впереди...

— Кажется, она поехала туда... — сказал Саша, указав на пропасть.

— Да, — сказал Павел, — Это на неё похоже. Ну что ж, а я, пожалуй, двину на синюю. Составите компанию?

— Сейчас. Только дождусь жену.

Лера появилась спустя минуту и начала причитать из-за какого-то сноубордиста, подрезавшего её и задержавшего, а потом Саша обнял и поцеловал её.

— Ты что, плачешь? — удивленно спросила Лера.

— Да нет, — усмехнулся Саша. — Это от мороси.

Вместе с Павлом они втроём направились к пологой синей горке, где рассеялись в пёстрой толпе.

Вечером, когда они добрались до гостиницы, в номер Насти и Паши уже заселилась парочка каких-то длинноволосых студентов. За ужином Саша был непривычно молчалив и съел на удивление мало.

— Сашенька, всё хорошо? — спросила Лера, когда они пили чай. Какую-то долю секунды Саша продолжал смотреть на пионы, обхватив руками чашку. Их бледно-розовый цвет отражался в его глазах. А затем улыбнулся жене и сказал:

— Всё хорошо, Лерочка. Просто устал. Все мышцы ноют.

— Конечно, после такого-то дня... Пойдём уже спать.

Ещё два прекрасных дня они катались с утра до вечера, и если Лера порой и замечала этот странный, отстранённый и немножко грустный взгляд мужа, то с каждым днём всё реже и

реже. Когда пришло время возвращаться домой, от взгляда этого уже не осталось и следа.

А в следующем году они приехали снова — всё в те же пасмурные, туманные дни в начале марта. В первый же день Саша поднялся к началу трассы «16С», где без особых раздумий перемахнул через линию, отделявшую ровную площадку от устрашающего спуска, и понёсся вниз, в туман, выписывая на снегу широкие дуги. Наблюдавшая за ним молодая пара со смесью ужаса и восхищения на лицах отправилась в сторону горки попроще.

Спустя, как показалось Лере, несколько секунд после того, как подъемник унес мужа наверх, Саша вылетел из тумана, и, резко, вздымая снежную волну, затормозил около неё, с лицом совершенно безумным, шальным и счастливым.

— Ну как? — спросила девушка, глядя на тяжело дышащего мужа.

— Да так, — сказал Саша и широко улыбнулся. — Ничего особенного.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЫПУСКАЛ РЫБ

Алина смотрела в темноту под мостом; вода давала знать о себе лишь редкими бликами; отражённый оранжевый свет фонарей скользил по уходящим в черноту бетонным опорам. Внутри была какая-то гулкая пустота, как в старой квартире, из которой при переезде забрали всю мебель, и напоследок зашли попрощаться с родными стенами. Ни чувств, ни мыслей — лишь их обрывки, бледной невесомой паутиной летавшие где-то на задворках сознания... Интересно, вода прохладная? Всю неделю лили дожди... В последний раз они с Настей ездили на пляж в Гидропарке в прошлое воскресенье, и вода была как парное молоко... Настенька так и вовсе на берег не выбиралась, плескалась до посинения...

Тающий образ Насти больно уколол. Так больно, что пальцы вцепившихся в ограждение рук побелели. Господи, какая неделя — всё это было прошлым летом, когда они с Витей уже развелись, а её девочке врачи ещё разрешали купаться... За спиной рёв бесконечных машин дополнил грохот проносящихся вагонов метро. Должно быть, последний поезд — уже ведь полночь...

— Не стоит, — едва пробились сквозь шум чьи-то слова. Алина обернулась: рядом стоял человек. Высокий, в старом бесформенном плаще с латкой на рукаве; дрожащий свет фар вырывал из темноты бледное морщинистое лицо и блестящую седую шевелюру.

— Простите? — спросила она; дрожащие пальцы застегнули молнию куртки: неожиданно с Левого берега задул прохладный ветерок.

— Я хорошо знаю этот взгляд... — задумчиво сказал седой мужчина и облокотился на ржавые перила чуть поодаль от девушки. Алина молча сверлила его взглядом, надеясь, что он уйдёт. Впрочем, чего ей опасаться? Почему у её полёта не должно быть зрителей? Она и так прожила много лет как в тёмном мешке, пока дочь болела, а Витя сидел за компьютером и шатался по кабакам с её бывшими одноклассницами... А может, это у него такой интересный способ знакомиться? Сейчас, наверное, заведёт какую-нибудь голливудскую канитель вроде :»Нет! Не надо! Все ещё впереди!«

— Я не буду вас переубеждать, и так далее... — тихо, не глядя на неё, сказал незнакомец, будто она высказала свои подозрения вслух. А может, так и есть? Она в последнее время часто говорила сама с собой, бормотала что-то себе под нос в магазине, в троллейбусе... Люди оборачивались, отходили подальше...

— Просто хочу рассказать одну историю...

— Что бы вы ни подумали — вы ошиблись, — ответила Алина; голос был хриплым и казался чужим, а слова столь бессильно слетели с губ, что даже она сама им никогда бы не поверила.

— Может быть. И всё же послушайте, — продолжал мужчина. Тихий голос, сдержанная улыбка на изрезанном морщинами, похожем на мятую бумагу лице... Он походил на ходячую рекламу спокойствия, взвешенности и рассудительности, то есть всего того, что ей больше было ни к чему... Всё это могло лишь сбить с верного пути... Алина решила дать себе установку: что бы ни случилось, ему её не переубедить. Она приняла решение, и пересмотру оно не...

Мужчина начал свой рассказ.

— Интересно, на кой хрен их так туда трамбовать? Зачем вообще живьём? — спросил Фёдор Семёнович — больше даже себя самого, чем жену, — глядя на десятки карпов в аквариуме в углу рыбного отдела супермаркета. Прижатые к стеклу своими сородичами, зеленоватые рыбины жадно ловили ртом воздух, напоминая размазанных по окнам троллейбусов в час пик пассажиров... «Только из этого троллейбуса бедняги живьём уже не выйдут», — подумал Фёдор, не отрывая взгляда от пленников стеклянной коробки.

— Не знаю... Жлобятся на бочку попросторнее... Какая разница? — спросила Лида. — Идём дальше. Нам ещё мяса надо купить, а мне завтра на час раньше на работу, хочу пораньше лечь... Думала глянуть перед сном «Большой Куш», взяла у Маши вчера диск на работе, да уже не успею... Ну идём же!

Фёдор побрёл следом за супругой, но в глазах ещё долго стояли пульсирующие чёрные дыры ртов, и белые воздушные пузыри, и скользкие тела в мутной воде, обездвиженные в бесконечной предсмертной муке...

Наутро Фёдор, как обычно, помылся, побрился, слопал на скорую руку пожаренный Лидой — и чуть сыроватый — омлет, и отправился на работу, под напутствия об экономии, о том, что нужно в конце августа в Болгарию поехать, и каждый рубль на счету. Но и дома, и на пропахшей мокрым асфальтом после ночного ливня улице, и в метро его преследовали блестящие бусинки рыбьих глаз, которые смотрели на него из-за стекла, и в них ему виделась такая безумная, неистовая мольба, что, казалось, не будь их обладатели немые, от их крика рухнули бы все стены мира. И оттого в глазах Фёдора появился блеск, и люди в вагоне, в переходе, и работяги на складе, где он трудился кладовщиком, думали, что у него что-то случилось... Какое-то несчастье....

После работы, по пути домой — с Оболони на Теремки — Фёдор выскочил на Контрактовой и направился в сторону реки. Там, на Набережно-Крещатицкой, был супермаркет. Днём снова шёл дождь, и теперь в лужах плавал тёплый свет редких фонарей... Взгляд скользил по грязным окошкам старинных домов, облезлым кошкам, лижущим лапы под ржавыми мокрыми козырьками... Разлитая повсюду чернота была вязкой, сырой и плотной, как полиэтиленовая плёнка. Наконец, впереди показался сияющий ангар магазина... Дальше, за ревущей улицей, тьма была абсолютной: где-то там прятались заброшенный Рыбальский мост и тихий могучий поток холодной тьмы под ним.

Найти рыб удалось быстро, и вот он уже стоит и смотрит в эти чёрные глаза, мелькающие среди нагнетаемых компрессором пузырьков... И чувствует, что обитатели стеклянного куба так же смотрят на него...

— Брать будете? — спросил усатый мужик в грязном фартуке, закончив взвешивать кильку для какой-то девчонки с серьгой в носу.

— Э-э-э... да, — кивнул Фёдор и даже вздрогнул от пронзившей его простой идеи. — Сколько стоит один?

— Одна рыбина?

— Ага.

— Надо взвешивать...

— А можно её живой забрать?

— Можно, конечно... Взвесим, и заберёте... Где-то десятка будет...

— Добро, давайте.

На кассе рыба в пакете колотилась бешено, как вырванное, но ещё живое сердце. Выковыривая деньги из дырявого кармана — всё его содержимое вечно проваливалось через дыру в подкладке — Фёдор смотрел на покупателей у других касс, продавщиц, охранников, но никто и внимания не обращал... Всё было в порядке... Как обычно... Заплатив, он запихнул смятый чек в карман, вышел на улицу, достал из рюкзака заранее припасённую двухлитровую бутылку с водой и вылил в пакет. Рыба притихла. Фёдор направился к реке.

Он спустился к воде. Чёрная как смола, блестящая, она пахла гнилыми водорослями... Под Гаванским мостом дрожал свет костра и мелькали силуэты подростков; граффити на опорах оживали, извиваясь в отблесках пламени. Сверху, с моста, доносился мерный гул машин.

Фёдор присел и вылил воду из пакета вместе с рыбой в реку. Прежде чем раствориться в черноте, серебристый, словно металлический, карп как будто посмотрел на него своим чёрным глазом. Фёдор осмотрелся, чувствуя себя так, будто сделал нечто постыдное, и опасаясь свидетелей, но вокруг не было никого, кроме теней под мостом. А им, по всей видимости, было наплевать.

— Ты чего так поздно? — спросила Лида, не отворачиваясь от монитора с открытым «Фейсбуком».

— На работе задержали... — ответил Фёдор, чему-то улыбаясь.

— Чего такой весёлый?

— Не знаю... Настроение хорошее.

— Чайник поставишь?

— Легко.

На следующий день Фёдор вновь вернулся поздно — и ещё два карпа из аквариума нырнули в чёрную воду. В следующий раз пришёл вовремя, но утром опоздал на работу — и уже пять рыбин перекочевали из магазина в Днепр. Время шло своим чередом. Лида смотрела всё более настороженно, на работе всё чаще приходилось выяснять отношения с начальством.

Однажды вечером Фёдор вновь пришёл около девяти. Лида, как обычно, смотрела какой-то сериал.

— Привет, — сказал он и повесил на крючок в коридоре не по погоде тонкую джинсовку: куртку, которую он обычно носил, на складе испачкал ржавый контейнер, о который Фёдор зацепился плечом, и утром он просил Лиду забросить её в стирку.

— Привет! — ещё раз сказал он. Жена, не поворачиваясь, тихо сказала:

— Я постирала твою куртку...

— Спасибо, — ответил Фёдор. Что-то в её голосе ему не понравилось.

— Специально проверила подкладку... В том кармане, где у тебя дыра... Думала, может, там деньги, или...

Лида, наконец, повернулась. В руках она держала ворох мятых чеков.

— Федя... Что это? Зачем ты покупаешь эту рыбу?

Фёдор хотел что-то сказать, но слова будто застряли, встав поперёк горла рыбьей костью.

— Лида...

— И всегда вечером, или рано утром... На чеках время покупки есть...

— Я...

— Чёрт, я думала, у тебя, не дай бог, любовница, или...

— Ну что ты...

— Но рыба... — Лида нервно усмехнулась. — Зачем она тебе? Живые карпы... Что ты с ними делал?

В голове у Фёдора пронеслись рваные, неумелые наброски возможной лжи, но все выглядели ужасающе неубедительно. А потом он вдруг подумал, что скрывать правду совершенно незачем.

И всё рассказал.

Больше в тот вечер они не говорили.

Утром Фёдор обнаружил, что Лида ушла. Оставила записку, которую он так и не смог целиком прочесть: буквы двоились и расплывались... Что-то про «нужно подумать... странно себя ведёшь... врачи... расстройство...». А Фёдор всё перечитывал и перечитывал, и никак не мог понять, что же сделал не так... Где ошибся... Взгляд упал на часы, и он засуетился, чтобы успеть на работу... Гудящие, ревущие, кипящие улицы, грохочущее и визжащее метро окружали его, но не проникали внутрь — туда, где всё завоевало одно безжалостное, режущее осознание: она ушла.

Добравшись до склада, Фёдор узнал, что зря торопился.

Его уволили.

Целый день он провёл, шатаясь по заброшенным задворкам заводов и складам... В голове было пусто, и свистел тот же холодный ветер, что и вокруг... Ещё не зима, но ее дыхание уже чувствовалось... Он забредал в какие-то забегаловки, затерянные в недрах промзон и почти пустые в разгар рабочего дня... Выпивал... Брёл дальше... Постепенно голову изнутри будто облепила густая, вязкая каша.

Ответ на всё и сразу пришёл, когда он оказался на мосту... Уже стемнело, пошёл дождь, и рычащие машины проносились, разбрызгивая свет фонарей в мириадах капель. Фёдор, промокнув до нитки, опирался на перила моста, и всё как-то само собой стало ясно. Эта невидимая чёрная вода, там, внизу, была всему причиной. Она же станет всему и концом.

Он перебрался через ограждение, не позволяя кричащим, как сигнализация, остаткам рассудка взять ситуацию под контроль... Он знал, что некоторые люди решаются на подобное очень долго, но у него всё будет не так... Он сделает это, пока всё вокруг сыро и смазано, пока внутри тошнотворная лёгкость, пока нет ничего, что стоило бы продолжения...

Шаг был очень лёгким, а чувство полёта — почти приятным... Казалось, он никогда не закончится... Вокруг была темнота, в ней плясали яркие и холодные огни города, вдруг перевернувшегося вверх дном и закружившегося бешеным волчком.

А потом был удар.

И холод.

И темнота.

Алина ждала продолжения, но мужчина умолк и только смотрел в темноту, едва заметно улыбаясь. На одном из сплетённых пальцев тускло блестело обручальное кольцо. Наконец, она не выдержала:

— И что же случилось потом? Что было с Фёдором?

— Его нашли вон там, за старым мостом, прямо в Гавани, — кивнул мужчина туда, где едва виднелись в темноте пилоны закрытого Рыбальского моста. — Подростки, которые торчат там на набережной, увидели тело и вызвали скорую. Каким-то образом он оказался прямо на бетоне. Как будто кто-то его вытащил. Многие потом говорили, что сам по себе он туда попасть не мог никак — мост, с которого прыгал Фёдор, ниже по течению...

— Он... — начала Алина дрожащим голосом, и мужчина неожиданно усмехнулся.

— Живой. Переохлаждение, вода в лёгких, перелом правой бедренной кости... Но живой.

— Но как это возможно?

— Никто так этого и не узнал. Тайна, — пожал плечами мужчина с серебром в волосах и снова усмехнулся, а потом добавил: — Было ещё вот что: он был весь в чешуе. В рыбьей чешуе.

Повернувшись к девушке, он совсем тихо сказал:

— Как будто попал в большой косяк рыб.

Снова молчание. Мимо проехал, хрустя шинами, велосипедист. Где-то в чёрных небесах гудел самолёт.

Мужчина оторвался от перил и начал удаляться.

— Постойте! — удивлённо воскликнула Алина.

— Да? — замер мужчина и, обернувшись, посмотрел на неё так, будто просто проходил мимо.

— Какая... В чём смысл всего этого? Зачем вы мне об этом рассказали?

Мужчина вновь усмехнулся, и глаза его блеснули отражённым светом фар несущихся машин.

— Никакого смысла. Просто история. Может быть, о том, что чудеса случаются. Удачи вам.

Он снова повернулся и пошёл в сторону Левого берега, слегка прихрамывая на правую ногу; рука скользила по ржавым перилам, кольцо едва слышно позвякивало.

Алина долго смотрела ему вслед, а затем отвернулась и снова посмотрела в смолистую тьму под мостом. Снизу доносился едва слышный плеск.

ОГОНЬКИ

— Да ну ла-а-адно! Не гоните!

Рассмеявшись, Даша едва не опрокинула старый бабушкин торшер. Абажур — оранжевый, хрустящий, будто слепленный из пыли и ностальгии — слетел на пол, но стойку перехватила Алина, а Костя сидел и смотрел, как её красивые длинные пальцы обхватывают стойку с голой спящей лампочкой — один... второй... третий... и яркие блестящие ногти бросают блики в его глаза... Он перехватил её взгляд и хотел отвернуться, но она будто зацепила его своим, и не отпускала, заставляя смотреть, смотреть, смотреть... Или ему только показалось? Может, он перебрал? Коньяка они выглушили будь здоров — вон они, бутылки, позвякивают под столом, когда какие-то Дашины подружки, хохоча, лупят по ним каблуками...

Все рассмеялись, когда Ира сообщила всем, что Корилов — преподаватель по композиции — педик. Если знать, что Корилов — бородатый шкаф с голосом, как у грузовика «Урал», то поверить действительно было сложно.

— А что? Педерастии все облики покорны... — сказала Алина, вызвав очередной взрыв смеха. Звонкие голоса отражались от стен комнаты, сливались с грохочущей музыкой и рвались в ночную темень за окном. — Пойду на балкон, покурю.

— Я с тобой, — вскочил Костя, хоть во рту и стоял привкус металла от выкуренной минуты назад сигареты. На балконе открывалось только одно окно, в проём помещались лишь двое — и это было хорошо. Поднялись, пробрались к двери, нырнули в свежую летнюю ночь, а там, внизу, зажатый меж светящихся коробок чёрный квадрат сквера... На ближайшей аллее, за закрытым ларьком с мороженым, в свете тусклого фонаря курили на скамейке какие-то мутные ребята в чёрных куртках...

— Надоело уже тут... — сказала Алина, улыбнулась и, зажмурившись, жадно вдохнула темноту. Костя поднёс огонёк зажигалки к её сигарете.

— И мне тоже.

Она открыла глаза, посмотрела на него; выбросила сигарету, притянула к себе, поцеловала. Костя чувствовал улыбку на её губах, а поцелуй всё продолжался, сердце колотилось, в голове шумело...

В коридор пролетели как-то быстро — всё смазлось, дрожало и вибрировало перед глазами, и Костя только запомнил, как Дашин кот шипит из-под серванта на Деню Самойленко... Тот тянет свои пьяные пухлые ручонки к двум злым глазам, блестящим в темноте, острые когти рвут кожу, вопли, крики, хохот и консенсус: Деня — идиот. Но Косте всё равно. Он уже с ней, на лестнице, и в лифте, он прижимает её к стенке — тусклый грязный свет, надписи «Halloween», «Fuck», и язвы сигаретных ожогов на дээспэшной обшивке — и её язык с пирсингом у него во рту; снова привкус металла.

Тёмную пещеру подъезда пришлось пройти на ощупь, и Костя чувствовал её пальцы в своей руке — один... второй... третий...

Мутные ребята уже освободили лавочку... Снова поцелуи, и шёпот, и сигареты... Музыка с Дашиного балкона эхом басов отскакивала от стен и окон, уносясь в чёрное небо. Костя чувствовал, как внутри будто расцветает пламя — обволакивает, пропитывает, нестерпимо жжёт и сушит... Руки и губы становились жадными, жажда — неутолимой... Он что-то бормотал, она бормотала в ответ, и вдруг он понял, что сейчас время для тех слов, которые носились вокруг, танцуя, как мошара вокруг тусклого фонаря над ними...

— Я люблю тебя...

Она отстранилась — взгляд стал тяжёлым, глаза и губы — резкими штрихами.

Хлёсткий удар по щеке, хлопок громче атомного взрыва, боль и холод, вдруг вытеснивший весь жар прочь из тела...

Она встала и ушла. Писк домофона, лязг двери. Костя поёжился от колючего холодного порыва, обхватив себя руками. На балконе — там, где грохотали басы — мерцали сигаретные огоньки.

Радислав ВЛАСЕНКО-ГУСЛИН



Радислав Власенко-Гуслин (священник Вячеслав) родился 16 марта 1969г. в городе Запорожье. После окончания средней школы учился игре на контрабасе в запорожском музыкальном училище. Стихи начал писать с 17 лет. Поиски жизненного пути привели к порогу храма в 1996 году. В 1998 году принял сан дьякона, в 2000 году — священника. Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В настоящее время клирик Свято-Покровского архиерейского собора Запорожья, протоиерей, преподаватель кафедры теологии Запорожского классического частного университета. Лидер ансамбля поэтической песни «Табор уходит в Небо», автор и исполнитель. Автор поэтических сборников «Фиолетовый раз», «Имущество нищих», «Доброполье», «Океан». Печатался в альманахах поэтических фестивалей «Звезда Рождества» и «В стенах серебряного века».

Радислав Власенко-Гуслин — известный и уважаемый священник, отец Вячеслав, живущий на Украине, в Запорожье. Он талантливый поэт и профессиональный музыкант. Впервые я увидел его в передаче запорожского телевидения. На вопрос ведущей — чего вы больше всего хотели бы? — отец Вячеслав, бородатый, солидный, в рясе, весь просветлел и ответил, что хотел бы посидеть, вместе с Хлебниковым, вечером, у костра, и помолчать. Мне это очень понравилось. Вскоре я приехал в Запорожье — и познакомился с отцом Вячеславом. Этот высокий, порывистый, обаятельный человек с пылающими вдохновенным огнём глазами оказался надёжным другом, хорошим собеседником, знатоком поэзии и музыки. Он автор трёх книг стихов и ряда публикаций в украинской периодике. Он создал замечательный ансамбль — и даёт с ним концерты, на которых поёт свои песни. В стихах отца Вячеслава, помимо лиризма и пронизывающей всё его творчество музыки, всегда присутствует дух. Различные состояния души он искренне, предельно откровенно выражает в слове. Свой собственный голос, полифония, присутствие тайны, орфичность, своеобразное развитие и продолжение хлебниковской традиции, да и многие другие приметы поэзии отца Вячеслава — очевидны. Хочется надеяться, что стихи украинского священника и поэта будут интересны широкому кругу читателей.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

* * *

Был вечер. Дул ветер с моря.
Казалось, что слышится тайна,
а дети уснули,
о них все забыли,
и дети смеялись,
и кто-нибудь, должно, умер,
как это случается ночью.
Всё было обыкновенно,
а кажется несколько странным,
что ночь наступила внезапно,
никак её не ожидали
в такое красивое время,
все думали, вечер вечно,
ведь сумерки это прекрасно,
и можно всё перепутать,
и спрятаться в поцелуе
с прозрачной сиреневой тенью,
и так умереть в обмане,
и даже совсем не заметить.
Но ночь наступила внезапно,
что может всегда случиться,
и птицы страдали боле,
чем все остальные лица.
Они не умели видеть,
теряли на чёрном гнёзда,
и слабые падали, тут же
в мучениях умирали,
и много их было у смерти...
А дети ещё не уснули,
о них все забыли,
и дети смеялись,
что ночь наступила внезапно.
Все думали — это чудо,
а было обыкновенно.

* * *

В фиолетовый раз
на весенний трамвай
я сажусь уезжать прочь.
В фиолетовый раз
проводит меня
крышка дня — разноцветная ночь.

Этот чёрный халат,
нет пестрее его,
здесь все краски,
лишь взятые враз,
в фиолетовый раз
разрезает мой глаз,
и слезу удержать мне невмочь,
неизменно одна провожает меня
разноцветная чёрная ночь.

Что ж, за столько стеклянных
небитых времён,
что в ладонях я бережно нёс,
ни один из друзей,
из родившихся в мире имён,
на перрон себя не принес.

Даже ты, в сорок шестом голубом,
или, может быть, в сорок восьмом,
не пришла мне махнуть
на прощанье платком
и в плечо упереться лбом.

Я бы жадно глазами
бежал по глазам,
на стекле замерзала слеза,
и весенний трамвай уходил неспеша,
и пути затопила роса.

Я бы вёл твою линию
сколько бы смог,
каждой черточке дал имена,
я б водой твоих глаз,
быстротой твоих ног
напоил бы свои глаза.

Я б впитал тебя всю,
ты б увидела свет,
я б отнёс бы тебя к огню.
Но не мёрзнет слеза на стекле,
тебя нет,
а стеклу не скажу я:
люблю.

В фиолетовый раз
я гляжу на перрон,

и, спасаясь, кричу в ночь...
Разноцветная крышка
укроет меня,
я — тот день,
убегающий прочь.

* * *

Если захочет кто-нибудь
Рассказать обо мне или вспомнить,
Он напрасно перо заточит,
Он напрасно голову склонит.

Разве слышит он, когда тихо,
Как с гитары струна уходит?
Вырываются в небо два крика,
Их потом никогда не находят.

Пусть рисуют красиво и с золотом,
Даже пусть с голубыми глазами,
Но никто не увидит:
Я — колокол,
обливающийся слезами.

* * *

Кровью стекаю со стен колокольни,
кровью теку по стене,
мне больно,
в вечность блаженную переливаюсь,
не растворяюсь,
каюсь...
каюсь...

* * *

Лист на воде, но почему-то
никто на холст не перенёс
эту волшебную минуту
тоски, печали, грусти, слёз...

* * *

Луна распевала всю ночь
свою лунную песню,
надеясь, что звёзды услышат
и станут ближе.
Изжившей собаке
она разрывала душу,
а звёзды глухи,
лишены музыкального слуха.

Вой старой собаки
сливался с туманным светом,
звучал унисоном
на чёрном холсте неба,
и мне захотелось снега,
но было лето,
и мне захотелось лужи,
но не было ливня.

Плач света и плоти созвучный
плыл медленно в небо,
тоскою коснувшись облака
рядом с луною.
Веленьем чудесным сбылось,
наконец они вместе,
луна и образ собаки,
плывущий легко,
подгоняемый ветром.

И мне захотелось друга,
но было тихо,
и мне захотелось полёта,
но не было видно.

А облако старой собаки
с луною, обнявшись,
о чем-то шептались,
наверно, о самом главном,
и лишь с наступленьем рассвета расстались,
с собой унося свои тайные тайны.

Луна растворилась в родившемся утреннем свете,
собака затихла в траве
и скоро издохла,
и мне захотелось снега,
но было лето,

и мне захотелось слёз,
мне так было угодно.

* * *

Мёртвые трубы,
Мёртвые скрипки,
Мёртвые губы,
Мёртвые свитки
Нот охладевших,
Временем стёртых,
Умер оркестр
В городе мёртвых.

Фрагмент из письма Хлебникова Шопену

Трельлилею ломным лютнем
над лиловой беспределью,
поцелуем липким сладок
Ливень Лилий...
Трельлилею!!!
Трельлилею!!! Эйль!
Иль!
Капель!
В камень думный, в звон венчальный,
оживлённый закричаьем,
трельлилеет трельник давний,
трель лелеет, льёт свирелью
над лиловой беспределью,
в камень думный, в звон венчальный,
в липкий ливень обручальный,
над лиловой беспределью,
в ладность пальцев льёт вещалье
капель льливое печалье
над лиловой беспределью
трелью лью, свирелью лею,
Трельлилею!!!
Трельлилею!!!

* * *

...я помню, когда Воскресенье
семь раз отмечалось в неделе...

...в зловещие окна тревоги,
и знаков своры видений
губительной красоты
ночное хранилище плыло,
свободно играя тропею,
среди хаоса бранных движенья,
которым награда за тщетность
проставленные кресты...

...свидетели травли и скорби...

Кто знает...?...
историю лабиринта,
к источнику путь,
священной прозрачности влагу,
небесные клады
и трубы
свободной охоты,
умение петь
о нежных,
биения смысл
и чудо
Великих Семи Воскресений,
остался за гранью...
...и не понятен...

...Кто знает...

среди хаоса бранных движений
таилось письмо к Человеку.

Владимир АЛЕЙНИКОВ



Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда семья переехала в апреле 1946 года. Отец — художник-акварелист, его предки — запорожские казаки. Мать — преподаватель русского языка и литературы. Стихи и прозу начал писать в школьные годы. Занимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 гг. входил в группу молодых криворожских поэтов. С 1962 г. — первые публикации стихов в украинских газетах. В 1963 г., в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался обличению в украинской прессе. В 1964 г. поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы с основными представителями отечественного андеграунда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. Февраль-март 1965 — знаменитые выступления СМОГа в Москве. С 1965 — публикации стихов на Западе. Весной 1965 г. Алейников был исключён из университета. В 1966 г. восстановлен в МГУ, закончил образование в 1973 году. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по стране. Алейников работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х изданы несколько больших книг стихов. Ныне Алейников — автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле. /Википедия/.

ЛЮДИ И КНИГИ

— Сколько ты книг написал, вот за эти несколько лет, пока мы с тобой не виделись, или почти не виделись? — почему-то пытливо, но мне показалось — отчасти ревниво, хотя такой вопрос вполне мог быть и просто-напросто проявлением обычного людского любопытства, спросил меня Андрей Битов, когда мы, с моей женой Людмилой, навестили его в самом начале семьдесят девятого года, ещё зимой, в его большой, по нашим тогдашним понятиям, пустоватой и не то чтобы запущенной, но без явных примет уюта, квартире, в панельном доме, бирюком стоявшем в окружении ему подобных, посреди снегов, далеко от центра столицы, в одном из густо и пусто застроенных городских районов, — наверное, книг пять написал?

— Девять книг, — сказал я.

Андрей поднял брови и округлил близорукие глаза.

И принялся заваривать чай, по маминому способу, вначале обдавая внутренность маленького заварного чайника крутым кипятком, потом выливая этот дымящийся кипятком в раковину, потом засыпая в чайник заварку, потом тщательно закутывая ровно наполовину залитый кипятком чайник ловко пристроенной сверху плотной, тёплой тряпочкой и давая чаю возможность хорошенько настояться — и только потом уже, минут через пять, когда чай основательно настоялся и пахнул как следует, как ему, чаю, полагается пахнуть, в чём Андрей самолично не преминул убедиться, развернув тряпочку, приподняв крышечку чайника и придиричливо понюхав ароматный пар — и тут же, уже полностью, залив неглубокую, пряно темнеющую утробу разогревшегося пёстренького чайника всё ещё дымящимся, может, просто по инерции, а может, и по другой какой причине, сизовато-белёсым, хлористым кипятком, неторопливо, по-хозяйски привычно, по-дружески щедро, наконец разливая в заранее расставленные на пустынном кухонном столе чашки густую, коричнево-черную, крепкую заварку, заполняя каждую чашку, до краёв, тем же, видимо, никогда не иссякающим, дымящимся кипятком из ничем не примечательного, кроме своей вместительности, крутобокого чайника для кипячения воды, на всём протяжении процедуры этой поминая свою маму, Ольгу Алексеевну, добрым словом.

И вот, через девять деепричастных оборотов, мы втроём сидели на кухне и пили чай.

Чай на троих.

До тех пор, покуда не пришёл приятель Андрея, писатель Юра Коваль, и не принёс водку.

Был Коваль в данном случае не столько писателем, сколько спасателем. Водка нужна была двум приятелям для поддержания жизненных сил.

Вместе с водкой принёс Коваль и взятый им на прочтение, только что изданный «Ардисом» роман Битова «Пушкинский дом», вся история написания которого прошла на моих глазах, а с возвращённой книгой принёс он в холодную квартиру и свои горячие восторги. Согрела, конечно, и водка.

По комнатам гулял сквозняк. В форточку с улицы залетал мелкий, долго не тающий снег. Мы с Людмилой заторопились домой. Простились. Вышли на лестничную площадку.

Слышно было, как за нашими спинами звонко хлопнула форточка в кухне и глухо ухнула входная дверь.

Там, позади, в квартире, остались подаренные мною Андрею картинки и объёмистая

самиздатовская рукопись — недавно, чуть ли не накануне нашего приезда сюда, составленное и на больших и плотных листах бумаги, формата, как теперь любят, столкнувшись, лбом ко лбу, со свободным книгопечатанием, говорить, А-4, довольно густо, но аккуратно перепечатанное на приобретённой минувшей осенью, в ущерб семейному бюджету, по причине острейшей необходимости, то есть — для работы, югославской машинке «Унис», портативной, лёгонькой, с таким симпатично скруглённым, приятным для глаз, маленьким шрифтом, в трёх экземплярах, лучший из которых был выбран старому товарищу в дар, избранное, из новых, на то время, почти никому ещё не известных, — немного позднее, месяца через два-три, они начнут своё подспудное, но неуклонное, с постоянно увеличивающимся количеством копий, то есть с неуклонно разрастающимся машинописным их тиражом, хождение по всей стране и за её пределами, и знать их будут уже весьма многие любители и ценители не издававшейся при советской власти официально, но, по причине тогдашнего нашего, всеобщего, противостояния этой власти, да ещё и наперекор ей, из всегдашнего нашего упрямства, ещё как «издававшейся», домашним способом, отечественной поэзии, — пяти моих книг.

— Слушай! Ты же большой поэт! — сказал мне Женя Рейн в восемьдесят шестом году, перебирая, листок за листком, лежавшую перед ним на захламлённом столе большую самиздатовскую перепечатку моих стихов, которую я давал ему на прочтение, да так потом у него и оставил.

Вид у него при этом был несколько изумлённый.

По всему выходило, что ознакомился он с моими писаниями совсем недавно, может быть — только что, перед моим приходом.

Я посмотрел на него с некоторой грустью — и ничего не сказал.

Он, раздувая и без того толстые губы и пыхтя, этак вдохновенно даже, во всяком случае — оживлённо, а может, и в самом деле заинтересованно, продолжал перелистывать мою перепечатку, и при этом ещё и зачитывал вслух отдельные, выхваченные из стихов, это чувствовалось наугад, но, в его подаче, особенно пришедшиеся ему по вкусу, куски.

Я работал тогда редактором в издательстве «Современник».

Оказался я там совершенно случайно.

В восьмидесятых я перебивался мелкими заработками. Надо было кормить семью. У нас с Людмилой росли две дочери — Маша и Оля. Постоянно нужны были деньги — на всевозможные домашние нужды, а их, этих самых денег, столь же постоянно или, можно сказать, хронически, или не было вовсе, или же для более-менее нормальной жизни просто-напросто не хватало.

Вот я и подрабатывал, где придётся.

Некоторые мои доброжелатели давали мне возможность немного заработать, сочиняя так называемые внутренние рецензии для издательств.

Платили за эти труды мало, хотя читать приходилось мне очень много рукописей — целые горы их громоздились в комнате, и каждая из них ждала объективной рецензии.

Всё это отнимало массу золотого времени.

Однако, я смирял себя, как умел, уж как получалось, и честно отработывал свои средства к существованию, как я обычно заработки свои, нерегулярные, а то и вовсе редкие, странным, даже диковинным порою, прерывистым пунктиром проходящие сквозь всю

непростую жизнь мою, несколько иронически, вроде бы хорохорясь, храбрясь, да всё же с изрядной долей привычной, увы, печали и с прорывающимся наружу из-за десятилетиями создаваемой стены терпения горьким вздохом, вовсе не на людях, конечно, — Боже упаси! — а в своём кругу, среди своих, среди тех, кого я хорошо и давно знал, кому верил безоговорочно, с кем пудами ел пресловутую соль юдольную, тогда называл.

Постепенно к моим рецензиям стали в издательствах относиться с интересом, всё более возрастающим, а потом и с нескрываемым вниманием, тоже всё увеличивающимся.

Со мной даже стали советоваться — иногда.

Мне даже стали специально заказывать — видимо, как знатоку поэзии и вообще литературы, не иначе, — рецензии на спорные или особо важные рукописи.

Мне даже стали чуть больше платить.

Некоторые издательские работники начали настоятельно мне советовать сделать из моих рецензий книгу статей о современной советской литературе, и даже не одну, а несколько книг.

Тут-то я и забил тревогу.

Выслушав однажды очередные похвалы — как не просто потенциальному, а давно сложившемуся, как выражались в издательствах, литературному критику, возвратился я домой и призадумался.

Обычно я оставлял себе третий экземпляр каждой рецензии — на всякий случай, так полагалось, так принято было.

Посмотрел я внимательно, напрягшись весь и сощурившись, как это у меня бывает, говорят, перед решительным поступком, на кипы этих самых рецензий — и ярость меня охватила.

Да что же это такое? — подумал я вдруг, — да зачем всё это мне нужно? Сколько же ещё месяцев, а то и лет, вся эта бредятинка, совершенно не нужная мне, будет продолжаться?

Нет, хватит! Баста!

Ринулся я к ставшим в одночасье ненавистными для меня кипам рецензий, схватил в охапку столько этого добра, сколько мог за один раз унести, а потом — к двери, а потом — к мусоропроводу, — и, сминая и заталкивая внутрь густо испечатанные листы, выбросил всё, что было у меня в руках.

Так вот, в несколько приёмов, и выбросил все рецензии в мусоропровод.

И сразу — успокоился.

Полегчало. Нет, отлегло.

Светлее как-то стало на душе.

Мудрая жена моя Людмила меня не удерживала.

Наоборот — поддерживала.

На моей была стороне.

Я это чувствовал. Нет, понимал.

Понимал, что она-то — всё понимает.

— Ну и ладно! — сказала Людмила. — Пиши свои стихи! — а потом, подумав, добавила: — А для заработка займись-ка посерьёзнее переводами.

И я, покончив с писанием рецензий, занялся переводами. И дело у меня почему-то пошло, на ура — не скажу, потому что бывали и трудности, но, однако, пошло — по нарастающей.

Всё равно ведь стихи мои не издавали!

Так хотя бы какие-то публикации...

Как на духу, говорю, признаюсь, потому что чего там скрывать и зачем, — всё равно ведь все эти тексты, на основе подстрочников, разумеется, но — свой арсенал изобразительных средств используя, свои возможности каждый раз проверяя, своё дыхание им дав и свет свой, — сам я тогда писал.

Но это было позже.

А пока что я канителился с внутренними рецензиями.

Кто-то из доброжелателей предложил мне написать такие рецензии для «Современника».

Привыкший делать всё на совесть, вместо коротеньких рецензий я написал несколько обстоятельных статей.

Они поразили воображение издательского начальства.

Мне, человеку без всякого социального статуса, вдосталь нахлебавшемуся разной горечи и отравы, так и хлеставшей из прошлых, с немалыми трудами прожитых и чудом, наверное, пережитых, застойных, как привыкли у нас выражаться, а по мне — так моих, а не чьих-нибудь, пусть и кошмарных, но зато и всегда озаряемых творчеством лет, навидававшемуся в этом ещё довольно близком далеке такого, чего и врагу не пожелаешь, намаившемуся за десятерых в этом столь памятном отдалении, будто всего-то в каких-нибудь нескольких шагах находящемся, ну пусть не шагах, а в нескольких километрах, не всё ли равно, в качестве прошлого ещё и не воспринимавшемся даже, а просто грустным, земным, человеческим опытом отзывавшемся, из всех этих бездомниц, неурядиц, скитаний, бед, из упрямства, тоски, обретений, из желания выжить, из всего, что со мною стряслось, что хотел я с себя стряхнуть, чтобы дальше идти вперед, чтобы чутый свой верный путь, из всех этих противоречий, ещё не вполне устоявшихся в сознании, чтобы осмыслить их, как это произошло несколько позже, на более длительном временном расстоянии, уже в девяностые годы, на закате столетия, даже прямо сейчас, только что, в любое из возникающих и тут же уходящих, тут же прожитых, пережитых мною, не поймёшь уже — то ли сызнава, то ли внове, мгновений клубящейся где-то поодаль, но и, вроде бы, находящейся — вот она — рядом, ненастной и ясной, туманной и чистой, как небо в окне, над Святою горою, эпохи, — ну так вот, — мне, тогдашнему, тогда уже немолодому, затравленному, с некоторой опаской оглядывавшемуся вокруг, с трудом приходящему в себя, — вдруг, с ходу, с места в карьер, ни с того ни с сего, почему — неизвестно, просто так, от щедрот, от души, или, может, почувствовав просто, что справлюсь, предложили работать у них редактором.

Идти на советскую службу мне не хотелось.

Но друзья — ох уж эти друзья! — или те, кто казались друзьями? — не знаю, поди разберись, да и надо ли в этом теперь, на закате столетия, вдруг разбираться? — уломали меня, уговорили-таки преодолеть давнишнее отвращение ко всякого рода государственным учреждениям, убедили пойти на редакторскую должность — хорошо зная мою отзывчивость и серьёзное отношение к дружбе, — и, понятное дело, надеясь, что уж я-то, наверно, сумею помочь хоть кому-нибудь из общих знакомых с изданиями.

Да ещё и Людмила сказала:

— Попробуй! Может, к людям привыкнешь. И люди привыкнут к тебе. Ты поэт — и по-

литикой сроду ведь не занимался Всем пора бы давно это знать. Что же это выходит? Пишешь ты лучше всех, а живёшь — хуже всех. И никто тебе толком ни в чем никогда не помог. Сколько всё это будет тянуться? Так чего тебе ждать? От кого? И зачем? Был и раньше ты сам по себе. Сам, такой уж, как есть. Независимый. Гордый. Упрямый. И сейчас ты — такой. Да и впредь ты останешься, знаю, вот таким, как уж есть, всюду — сам по себе, — независимым, гордым, упрямым. Знаю, марку ты держишь. И душу спасаешь. И честь. Но пойми: ведь у нас, между прочим, семья. Маша с Олей растут. Их поди прокорми, и одень, и обуи. И квартира тесна. И живём в нищете, да и только. Ну, почти в нищете. По-людски нам удастся ли жить? Что ночами на кухне сидеть, да курить, да чаи бесконечно гонять, да стихи свои вечно писать, — пусть с годами всё лучше и лучше они? Зарабатывать — надо. Пригласили — иди. Может, как-то воспрянешь, оживёшь. Да и людям поможешь. И доброе сделаешь что-то. Засиделся ты дома. На службу зовут — так иди!

И я, скрепя сердце, пошёл на эту службу.

Меня сразу же завалили работой.

Даже дома у меня шагу нельзя было шагнуть, чтобы не наткнуться на груды лежавших повсюду папок с рукописями, которые следовало прочитать, отдать на рецензирование и написать редакторское заключение на каждую из них.

Так прошло около года.

Когда я наконец огляделся вокруг и отчасти пришёл в себя от этих бесконечных трудов, то ужаснулся тому, где я нахожусь и с какими людьми, совершенно из другого теста вылепленными, рядом работаю.

О моём смогистском прошлом и о круге моих знакомых в издательстве прекрасно знали, но — почему-то делали вид, что ничего такого вроде бы и не было.

Разве иногда только кто-нибудь шпильку подпустит или намекнёт, подвыпивши, в основном, на что-нибудь, что меня сразу же ранило или просто выводило из себя, — знаем, мол, кто ты на самом деле таков, знаем, что ты вовсе не наш, и всё вообще про тебя хорошо мы знаем, — и подразумевалось, конечно: погоди, погоди, ничего, мы ещё до тебя доберёмся!..

А начальство — помалкивало.

Иногда только кто-нибудь из них этак выразительно поглядывал на меня — и я сразу чувствовал: всё они, черти, знают!

Всё это озадачивало меня.

Чего мне ждать? К чему быть готовым? Как вести себя?

Я старался держаться по возможности спокойнее — и по-прежнему много работал.

Неприятности начались, когда я всё смелее стал проявлять инициативу, всё чаще и настойчивее начал предлагать к изданию достойные, на мой взгляд, рукописи.

Я помог издать книгу Володе Бойкову. Его рукопись я совершенно случайно увидел в месиве редакционного самотёка — и, тут же прочитав, изумился тому, насколько же это хороший, жизнелюбивый, стойкий, во всех совершенно отношениях самостоятельный, обладающий ведическим мироощущением, негромким, но чистым голосом, ясной, как

зимний, с морозом и солнцем, денёк, интонацией, по-своему, прямо и твёрдо, продлевающий дыхание русской речи, светлый поэт.

Я разыскал его и познакомился с этим коренастым бородачом, происходившим, конечно же, как я сразу и предположил, из старинного казачьего рода. Ощущение от встречи было таким, будто знали мы друг друга всю жизнь. А вскоре мы с ним и подружились. И дружба наша — в этом я уверен — настоящая. И я этой дружбой — дорожу, вот уже добрых пятнадцать лет. Не стану сейчас расписывать, с какими боями и муками выходила в свет книга Бойкова. Об этом, как и о многом другом, что имеет прямое отношение к нашим судьбам и нашим стихам, с превеликими трудностями, да и то далеко не всегда, из самиздатовских перепечаток превращавшимся в изданные книги, да и нынче, стоит прямо сказать, во множестве так и пребывающим, несмотря на нынешнее, якобы свободное, бесцензурное, книгопечатание, в том же самом, прежнем, давно привычном для нас, поэтов, самиздатовском состоянии, как в некоей давно уже обжитой, родной, для многих, среде, а может быть, и стихии, — расскажу я, возможно, потом. Важно, что книга Володина — вышла.

Я подготовил рукопись книги Саши Величанского.

Лиза, его жена, пришла ко мне в редакцию с просьбой — помочь старому другу.

Сам Саша прийти не мог, по причине болезни, — к тому времени он перенёс уже два инфаркта.

Я сказал, что сделаю для него всё возможное и даже невозможное — и предложил Лизе принести мне как можно больше Сашиных стихов.

Она принесла ворох самиздатовских перепечаток.

Я внимательнейшим образом прочитал все эти тексты и сам составил из них книгу.

И поставил Сашу в известность о единственной оговорке: следовало учитывать, что книга его готовилась для отечественного издательства.

Со свойственной ему прямоотой Саша сказал мне, что с содержанием книги он на девяносто девять процентов согласен.

И книга его в итоге — пусть и не так скоро, как всем нам этого хотелось бы — тоже вышла.

Я помогал всем, кто обращался ко мне, насколько это было — для меня, всё время что-то хорошее старавшегося делать, возможно — в непростых, это если поверхностно, вскользь говорить, а на деле — так жутких, да и только, условиях, — поневоле ощущая себя каким-то подрывником, что ли, в недрах государственной, издательской, хорошо отлаженной и к чужеродным вторжениям относящейся, в общем-то, нетерпимо, — для других же, советских людей, литераторов разных, безголосых, безликих, всеядных, бесчисленных, оптом — бесцветных, и для тех исполнителей, что становились придатками всей этой странной системы, даже очень удобной, привычной, своей, безотказной машины, — помогал, всё равно, несмотря ни на что, — помогал.

Сознавая свой долг и всю ответственность за серьёзное издание, тщательно готовил я большую книгу Максимилиана Володина.

С нею связано много драматических событий.

Предваряя это, столь важное для меня, издание, написал я и опубликовал в периодике статьи о Волошине, а вместе со статьями сделал и публикации некоторых, очень сильных, при советской власти долгие десятилетия не издававшихся его стихов.

Я созвонился с Анастасией Ивановной Цветаевой и консультировался с нею по некоторым, важнейшим, даже сокровенно, для нас-то с нею понятным, вопросам.

Заручившись согласием одного коллекционера, давно связанного с Домом Поэта, многие годы тесно общавшегося с Марией Степановной Волошиной, обладавшего поистине уникальным собранием всевозможных волошинских материалов, я привёз к нему в дом издательских людей — художественного редактора и фотографа, и они, непрерывно ахая и охая при виде так вот просто, вдруг, да так щедро, так, что прямо голова кругом идёт, открывшихся им сокровищ, сняли на слайды никогда ещё не репродуцировавшиеся, великолепные волошинские акварели, настоящие шедевры, а также пересняли и некоторые выразительные фотографии давних времён, и всё это делалось для иллюстрирования будущей книги Волошина.

Я списался с Владимиром Купченко, прежним, самым первым, директором Дома-музея Волошина, человеком, знавшим о Волошине абсолютно всё и располагавшим совершенно всеми волошинскими текстами, поскольку он, как позже, вздыхая, говорили исследователи, живя в Доме Поэта, своевременно, да ещё и наверняка по чутью, то есть верно и, главное, поступив, как потом уже оказалось, правильно, совершив не поступок даже, а подвиг, переписал собственноручно каждую строку из волошинского архива, находившегося, как известно, стараниями Марии Степановны, десятилетиями, и даже в годы немецкой оккупации, да и во все периоды советского режима, в идеальном, безукоризненном состоянии, здесь, в Доме, и только позже переданного в государственные хранилища.

Купченко в восьмидесятых, насколько мне было известно, много занимался наследием Волошина — и, в меру своих возможностей и с учётом тогдашнего полузапрета на имя поэта, изредка делал кое-какие публикации.

Уже несколько позже, с уходом советской власти, стал он крупнейшим специалистом по Волошину.

И слава Богу, что — так.

А тогда он был если не в загоне, то уж точно в полузагоне, тем более — после серьёзных, пережитых мужественно, и всё-таки серьёзно ударивших по нему, неприятностей с властями.

Я рассудил, что дело это прошлое — и, авось, всё как-нибудь нынче обойдётся, всё, даст Бог, пронесёт.

Важно ведь было — выпустить, коли такая возможность в кои-то веки представилась, книгу Волошина.

Я предложил Купченко быть составителем книги, а также написать предисловие и сделать комментарии.

Кому, как не ему, было это делать?

Он откликнулся мгновенно.

Радости своей он не скрывал — и его радость передалась и мне.

Ещё бы! Наконец-то — книга Волошина. Да ещё и стихи в ней — о гражданской войне, о судьбах России.

Мы вели с Купченко оживлённую переписку.

Всё, казалось бы, шло как надо.

И тут — вдруг, неожиданно, быть может, а возможно, совсем не случайно, как в трагедии, в нужное время, в неизбежный свой час, — грянул гром.

Недавно работавшая у нас младшая редакторша, скромная, худенькая, миловидная, молоденькая — донесла начальству, что Купченко — вовсе не тот человек, которого следует привлекать к сотрудничеству с издательством.

Она оказалась женой лихого паренька, сына одного из художников Кукрыниксов, — я позабыл сейчас его фамилию, да это и неважно, — важным оказался тот факт, что именно этот вот молодой, поощряемый и науськиваемый властями, делающий свою советскую карьеру, очень даже подходящий, по всем статьям, для такого случая, весьма сообразительный и услужливый паренёк — был одним из авторов нашумевших в своё время, громивших, изничтожавших Купченко, крокодильских фельетонов, после появления которых в печати вынужден был Купченко навсегда покинуть Коктебель и пережил множество невзгод.

Молоденькая редакторша проявила расторопность и служебную бдительность — и, переполненная осознанием правильности гражданского своего, разоблачающего явных и скрытых врагов советской власти, вполне естественного, в её понимании, и даже больше, закономерного и оправданного, порыва, — принесла эти старые номера журнала «Крокодил», с язвительными карикатурами и убойными фельетонами, в обход всех нижестоящих инстанций, и, это уж само собой, никак не реагируя на мои протесты и решительные попытки её остановить, — прямо в руки издательскому начальству.

Разразился, тут же, немедленно, в тот же миг, натуральный скандал.

Так сказать, в духе лучших, советских, незаёмных, со стажем, традиций.

Издательские деятели негодовали. Как? — чтобы у нас в «Современнике» сотрудничал антисоветчик? Не бывать этому! И кто это его сюда, к нам, протаскивал? Ах, Алейников! Ну, вот и проявил он себя, наконец! Как волка ни корми, а он всё в лес смотрит. Приняли его на работу в советское учреждение, понимаешь, в крупное издательство, — а он вон что вытворяет! Своих дружков да знакомых, субъектов, с нашей точки зрения, сомнительных, потихоньку норовит публиковать! Вот и открыл он всем нам своё подлинное лицо. Вот, видите, товарищи, что это за человек такой, этот Алейников. Сам — смогист. Сам — диссидент. Ну, может, и не диссидент, но якшался с ними. Да и сейчас, наверняка, якшается. На Западе публикуется? Публикуется. Факт? Факт. Зарубежные голоса про него вещают? Вещают. Сами слышали. И не однажды. Случайно, конечно. Не специально ведь искали. Искали-то «Маяк», да и наткнулись на «Свободу». Вот и слышали. И ведь знаете, что про него все эти обслуживающие наших врагов умники говорят? Что он, этот самый Алейников, — большой русский поэт. Да-да, представьте себе, Такое услышать — за голову возьмёшься. Да кто он такой, этот Алейников? Что-то у нас в стране писания его не больно-то знают. Кто их знает, вообще, если уж на то пошло? Вот Рубцова — все знают. И Тряпкина. И нашего Юрия Кузнецова, — вот уж кто поэт так поэт, все мы знаем его, и любим, и чтим. А тут — какой-то Алейников. Большой русский, понимаете ли, поэт, — и всё тут. Это они, там, у себя на Западе, так считают. Ну и пусть себе считают. Мы, здесь, у себя, в Советском Союзе, так вовсе не считаем. Да, не считаем. И не хотим так считать. У нас здесь свои поэты имеются. Понятные людям. А этот Алейников...

Ну, читали мы, конечно, его стихи, читали. Приносили нам, для ознакомления. Сами понимаете, надо было всё-таки — ознакомиться. Мало ли что! Полистали мы, ознакомились. Ну и что же можно сказать? Так себе всё как-то, этак. Поток — он и есть поток. Фантазии, видения. А реальность где? Изображение нашей жизни — где оно? Гражданственность — где? Простое, понятное всем, всем доступное слово — ну где оно? Так всё как-то, гладенько, музыкально, конечно, ничего тут не скажешь, но уж очень всё обтекаемо, да и смутно, очень уж смутно, всё звучит да звучит — ни о чём, всё струится себе да льётся что-то странное, вроде речи, вроде музыки. Ну и что? Да мы лучше Кудимову, с её откровенной бредятиной и грубой бабьей правдой-маткой, печатать будем, чем этого сверхмузыкального, ровного, вроде, а всё же заумного, со всей этой его пресловутой культурой, со всей его сложностью, «большого русского поэта» Алейникова! И вообще, если уж на то пошло, многое из того, что характеризует его как не нашего, не советского человека, мы знаем. Знаем, знаем. Разговоры, высказывания, суждения. Всё мы про него знаем. Всё мы видим. И даже такое, чего другие не видят. Или не хотят почему-то видеть. Ну, с этим, сразу надо сказать, мы ещё разберёмся. Мы — обязаны всё знать. Обязаны — быть всегда начеку. Мы — сила. Нас — власть на ответственные должности назначила. Нас — партия сюда поставила. Вон Михаил Сергеевич — вот он, на портрете, — смотрит на нас с укором, — как он сказал? «Начни с себя!» — вот как он сказал. Вот мы, в данном случае, и начнём — с себя. Недосмотрели. Не проявили бдительность. Эх, да что там! — правду надо рубить сплеча! — маху дали, по-русски, по-простому, по-честному говоря. Пожалели страдальца. Посочувствовали бедному, нищему, обременённому заботами о семье поэту. Взяли на работу к себе, — можно сказать, с улицы. А он — вон он как проявился! Разобраться — и немедленно! Купченко — отказать в сотрудничестве. Решительно, по жёстче отказать. Так, чтобы впредь неповадно было соваться в государственное издательство. Да ещё и такое, как «Современник». Здесь враги не пройдут. С книгой Волошина — не спешить. Посмотреть ещё надо, повнимательнее, что там, в рукописи, за содержание. В случае чего — другого, подходящего для нас, подыщем составителя. Есть тут один на примете. Знает, что приемлемо для нас, а что — категорически неприемлемо. Литературовед. Опыт есть. Дело своё знает. Вот ему и предложим работу. Составление, предисловие, комментарии. Словом, всё. Разберётся. И мы — разберёмся. С Алейниковым — тоже разберёмся!..

И пошло, и сдвинулось тут же с места, сразу шагнуло куда-то, наверное, прежде всего, туда, куда полагается, а потом уже и разветвилось, боковыми путями, окольными, незаметными, тихими тропками, расслоилось, в разные стороны поползло, проникло, внедрилось, усвоилось, прижилось, и поехало, да всё дальше, полетело, может и кубарем, ну а может быть, и на крыльях, нет, скорее всего, на колёсах, красных, видимо, вездеходных, всё сминающих по дороге, превращающих в пыль, в труху, вроде тех, пресловутых, бульдозерных, всем известных, ставших невольной то ли притчей во языцех, то ли символом характерным обострившегося бесчastia, и поехало, и пошло, и звалось это просто: зло...

И вот меня стали травить.

Сразу припомнили моё прошлое — да так лихо, споро, уверенно, — на удивление прямо! Все мои попытки пробить в печать что-нибудь стоящее разбивались, как об стену.

Положение становилось невыносимым.

На меня писали всякие «телеги», доносы и жалобы во все тогдашние грозные инстан-

ции — в ЦК партии, в Госкомиздат, в газету «Правда», в правление Союза писателей, — и кто его знает, куда ещё.

Недоброжелатели мои — особенно преуспевающий советский поэт, лауреат госпремий, притворный правдолюбец и липовый русофил, некий Алексей Марков, на мой взгляд — бездарь и графоман, этакий хлипкий, скользкий, жидковолосый и пегобородый, полуопереточный, полупартийный мужичок, себе на уме, хитрован, злобой налитый по лысеющую макушку, но ещё и злопамятный, и злокозненный, как оказалось, которому я, редактор, на корню зарубил составленную им толстую рукопись «Венок Некрасову», где, помимо текстов кучки прочих маловыразительных авторов, львиную долю составляли, разумеется, сочинения самого Маркова, усиленно радевшего о России, о русскости, обо всём, что только ни есть русского в мире, где белый свет всё-таки, по старинке, кое-кому да мил, буквально потрясшие меня и не на шутку огорчившие своей беспомощностью, донельзя низким уровнем художественности, отсутствием света, дыхания и живого слова, расстарался, проявил инициативу и, конечно, усердие, не поленился полистать мою книжку «Предвечерье», посмеялся, пофыркал, как потом уже говорили мне, над её содержанием, вместе с дочерью, Катей Марковой, будущей очередной женой моего приятеля молодости Юры Кублановского — вот какие пируэты порой вытворяет судьба! — и выступил Марков, с речью, гневной, понятно, выступил, и — обличал меня, читай — доносил, крича: «Кого вы здесь собираетесь принимать в наш Союз писателей? Алейникова? Антисоветчика? Смогиста? Да он на Западе издаётся! Да про него радиоголоса вещают! Опомнитесь! Спohватитесь! Что же вы, товарищи, делаете? Нет, не место в Союзе писателей этому Алейникову! И стихи у него неважнецкие. Вот мы ночью читали его книжонку с дочкой и уж так смеялись, ну ржали прямо. Ишь, какие поэты развелись, непонятно, откуда. Я вызвался быть оппонентом. И я первый — против приёма Алейникова! Нечего ему делать в нашей организации!» — распинался перед приёмной комиссией оппонент мой, как оказалось, да ещё и какой — патриот и лауреат, Алексей, понимаешь, Марков, — так потом, на ушко, потихоньку, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не услышал и не донёс, мне рассказывали, — и я улыбался спокойно и грустно, ко всему привычный, смотрел на рассказчика — и молчал, — что за люди? или же — нелюди? — что за время? — да перестроечное, перестроечное, конечно же, перетроенное, передвоечное — словно в школе, да окончное, да двуличное, неприличное, не тепличное, не опричное, так, непрочное и порочное, не барачное, не оброчное, непривычное, неэтичное, — словом, обычное, наше с вами, бывшее, общее, за которым — развал и бред, — вот и Марков исчез в нём, и прочие, скопом, канули, — разнорабочие, отработали — да и сгинули, всех их, оптом, во тьму задвинули — отработанное, ненужное, сор эпохи, бесплотный хлам, — но пришли другие старатели, в новых масках — недоброжелатели, и не лучше они предшественников — много хуже, и рожи — злые и поганые, — те, бывшие, сделали всё для того, чтобы не принять меня в Союз писателей.

И — не приняли.

Хотя, как потом выяснилось, ничего не ведавший о заседании приёмной комиссии, большинство голосов я всё же набрал.

Я чувствовал, что контролируют каждый мой шаг, по-своему, превратно, истолковывают каждое моё слово.

Напряжение было огромным.

Чередой пошли гипертонические кризы — последствия многожды разбитой, неизвестно — кем, оставалось — только гадать, да ещё, как ни грустно, — догадываться, разбиваемой — с тяжёлыми последствиями, с нешуточными травмами и сотрясениями мозга, обычно — после моих квартирных чтений стихов, иногда — и в других ситуациях, но всегда — со знанием дела, и не просто умеючи, нет, — очень точно, наверняка, то есть именно так, как следует бить, конечно — профессионально, разбиваемой — методично, раз за разом, целенаправленно, покуда я и вовсе не перестал читать стихи на людях, и всё реже, реже стал выбираться из дому, даже к знакомым, даже к друзьям, особенно вечерами, — головы моей, разбиваемой, добиваемой, убиваемой, но, однако же, уцелевшей, только боль — до сих пор при мне.

А тогда боль бывала просто невыносимой.

Я терял координацию. Бывало, падал прямо на улице. И никто меня не поднимал. Думали, небось, что пьяный. Поднимался — всегда сам. Восставал. Как умел. И шёл — дальше.

Меня замучили бессонницы. Тот, кто знает, что это такое, — поймет меня без слов.

Порою болело буквально всё — руки, ноги, глаза, суставы.

Я — терпел. Надо было — работать.

В итоге, после издательской очередной нервотрёпки, только я добрался домой, у меня отнялись ноги.

Трое суток, в период жуткого, ни на что не похожего криза, измотавшего так основательно и настолько жестоко меня, что мерещился где-то поблизости ледяной холодок погибели, норовящий проникнуть в душу, я не мог подняться с постели.

В литфондовской поликлинике, где я, как сотрудник издательства, да ещё и до этой поры, как член одного из профкомов литераторов многочисленных столичных, тогда состоял, врач, сверкнув на меня очками, за которыми сразу почуял я намётанный, цепкий взгляд, внимательно осмотрел меня, нахмурился, озадачился, — и, едва с моих слов узнав, где именно я работаю, и тут же, без всякой наигранности, резко всплеснув руками, сказал мне жёстко и прямо:

— Или — в гроб, или тут же, немедленно, уходите из этого, знайте, губительного для вас, издательства. Ну, выбирайте!

И я ушёл из издательства, — ушёл, напоследок всё-таки высказав кое-кому, что я о них думаю.

Месяца три после этого приходил помаленьку в себя.

И дал себе твёрдый зарок — впредь никогда не идти на не нужную мне, государственную, для меня опасную, службу.

Что, с Божьей помощью, — верю в это, — и осуществил.

Но всё, о чём я рассказывал, произошло несколько позже.

А сейчас...

Рейн пришёл ко мне с просьбой — с огромной просьбой, с глубокой, личной просьбой — помочь ему выпустить книгу в этом издательстве.

Знал — куда шёл.

Знал — к кому шёл.

И я помог ему.

Я сделал для этого всё, что было в моих силах.

Не стану сейчас рассказывать, чего мне это стоило.

Зачем поражать воображение молодых моих современников, и слыхом не слыхивавших о подобных страстях, и представить нынче не способных, за неимением собственного, на своей шкуре, опыта, что такое было возможно, что такое было обычной реальностью, в ещё сравнительно недавние, советские, пусть и перестроечные, времена?

Я шёл напропалую.

Двигался целенаправленно, сознательно, только вперёд и вперёд.

Я представил более чем достаточно аргументов, да таких, что после всего этого не издать книгу Рейна вроде бы и никак нельзя было, неудобно как-то, неловко получилось бы.

Я шёл напролом — и победил.

Рукопись Рейна, подкреплённую обеспеченной мною хорошей рецензией и моим убедительным редакторским заключением, помявшись-таки, покряхтев, поморщившись, повздыхав, но — куда денешься? — время такое, — придётся издавать, — надо! — поставили в издательский план.

И книга его, согласно этому плану, несколько позже — вышла.

В этот период мы довольно часто виделись с Женей.

Был я для него необходимейшим человеком.

Это и понятно.

Шутка сказать — вторую книгу Рейну «пробил».

Я ходил у него в Ангелах.

— Володя! Ангел! — обычно кричал он в телефонную трубку, — приезжай! Вот и мама тебя приглашает! Жду! Приезжай!

Забегая вперёд, скажу: когда Женина книга вышла, — нет, куда раньше, — уже когда получила она так называемую «позицию», то есть был издан, на соответствующий год, очередной издательский план, специально выпускаемый, для того, чтобы книги заранее заказывала широкая сеть книжных магазинов по всей стране, а также прочие торговые точки, и даже просто любители отечественной литературы, граждане бывшего Союза, — отчего, кстати, нежданно вполне мог резко возрасти предполагаемый тираж книги, а с ним, соответственно, и гонорар автора, что, в таких случаях, подобными счастливыми случаями воспринималось как подарок судьбы и, само собой, предполагало небольшой праздник по такому хорошему поводу, а то и затяжное застолье или, по-русски говоря, долгую пьянку, это уж как у кого, и хорошо, что система заказов на книжные новинки так была отработана, — Ангелы из его лексикона сразу исчезли.

А потом он и вовсе стал уклоняться от встреч.

Зачем они?

Дело ведь было сделано.

— Володя, прости, дорогой! — сразу начинал он говорить, если я изредка звонил ему, — не могу увидаться. Спешу. Машина ждёт. В пальто стою.

Навязываться людям — не в моих правилах.

Я и перестал Рейну звонить.

Зачем?

Он — всегда стоит в пальто, его ждёт машина.
Он всегда торопится, всегда занят.
Ему не до встреч.
Но это было — позже.

А сейчас Женя всячески демонстрировал свою расположенность ко мне, своё внимание ко мне.

Вот он и листал мою перепечатку, вот и зачитывал вслух отдельные, нравящиеся ему, куски.

Может быть, и была в этом искренность, допускаю.

Но была и нарочитость.

Я это чувствовал.

Была торопливая какая-то фальшь, иначе не скажешь. Наигранность.

Нет, игра.

(Игра. Наверное — в бисер.

Гессе. А может — Гёте?

Не Гейне ли? Гофман? Гауф?

Словом, сплошное «Г».)

Женя — играл передо мною.

Играл ещё одну свою роль.

Временную.

Не соответствующую его репертуару.

Вынужденную даже.

Но — что делать — приходилось отрабатывать.

При его-то, несмотря на вдохновенные порывы и всякие житейские безумные истории, несомненном и развитом практицизме.

При его-то ревности — вспоминаю, Володя Брагинский рассказывал: как они с Ильёй Смирновым, объединившись, всё поддразнивали находившегося в гостях у Ильи и читавшего там стихи, а потом и выпившего, возбуждённого Рейна, — что вот, мол, конечно, стихи у него нормальные, — но Володя Алейников пишет стихи лучше, и куда лучше, чем он, Женя, — и тогда Рейн, от невозможности возразить что-нибудь на это, разозлившись, бессильно как-то, но и с вызовом, вместе с тем, схватил со стола фужер и с размаху грохнул его об пол, — при его ревности, повторяю, хоть и скрываемой, из тактических и стратегических соображений, но иногда и, поскольку трудно копить её внутри, в себе, таки прорывающейся наружу, — он удосужился вроде более-менее внимательно прочитать мои тексты.

И он, актёр, да ещё какой, читал — передо мною, как перед зрителем, — а вовсе не мне, поэту, — мои стихи.

Я — молчал и мрачнел.

Всяческие предчувствия относительно нашего с Рейном общения уже пробудились во мне.

Предчувствия были верными.

Быть не могло иначе.

От стихов, как бывало всегда, постепенно перешли мы к беседам на житейские, так сказать, приземлённые темы.

Стали оба припоминать былые годы с их суровой школой.

Я, довольно сдержанно, впрочем, поскольку и тяжело это было, и грустно, рассказывал Жене — кое-что, разумеется, так, частицы, крупницы, детали, но уж вовсе не всё — о своих, миновавших, по счастью, бездомных скитаниях.

Женя, оживившись, припомнил и что-то своё.

И тут же выдал мне серию знаменитых своих баек.

Байки были обильно приправлены юмором, а ещё и, конечно, иронией, а ещё хороши были их интонации, тон, да и всё, что связано именно с голосом, со звучанием голоса, и, конечно же, с мимикой, с жестами, то есть с тем же актерством.

Слово за слово, и коснулись мы прежней, всеобщей, повальной нищеты нашей.

— Даже в худшие годы, — вдруг сказал со значением Рейн, — даже в худшие свои годы, — тут он наставительно поднял указательный палец и выразительно помаhal им в накуренном, спёртом, перенасыщенном зыбкими, тягучими слоями сизовато-белёсого табачного дыма и прорывающимся сквозь него, приглушёнными, но этими ориентально-нервическими джазовыми синкопами эллингтоновского «Каравана», пряными, жгучими россыпями, то и дело слетающими с чёрного, тускло отсвечивающего диска кружащейся на стереофоническом проигрывателе граммофонной пластинки, — даже в худшие годы, — сызнава, намеренно, подчеркнул он, — я никогда не ходил без стольника в кармане!

Сказав это, Женя, с некоторым, вроде как скрывающим некую тайну относительно безбедного существования, полупризнанием-полувывозом, полудоверчиво-полупобедно, шевеля безнадежно густыми бровями, в упор посмотрел на меня.

Что ему мог я ответить на это?

В прежние годы, бывало, и захудалого пятака на метро, не то что каких-то там стольников — такое и присниться не могло, — не было у меня.

Вот и ходил преимущественно пешком.

Голодуха сплошная, отсутствие крова, ночлега, стоптанные башмаки — да звёзды над головой.

Хроническое безденежье — к этому не привыкать.

Несмотря ни на что, я работал.

Вопреки всему, я писал.

Перемучишься снова, бывало, — и опять появлялись, меня исцеляя, стихи.

Так и жил столько лет. Но и — выжил.

Я опять промолчал.

На столе перед Рейном лежала недавно изданная «Советским писателем» небольшая книжка его стихов.

Теперь ему позарез нужна была — вторая.

Первая, наконец-то, не по возрасту поздно, а всё-таки вышедшая, — лежала всегда под рукой, была всегда на виду. Рядом с ней — нет, не рядом, а осторонь! — лежала большая самиздатовская моя перепечатка — лишь малая, даже крохотная, часть написанного мною за многие годы, — и ни одна строка из неё издана не была.

Прошло несколько лет.

Книги мои наконец были изданы.

Я подарил их Рейну.

Количество их и объём — впечатляли.

Время от времени Рейн говорил:

— Ты много книг издал!

Я обычно отвечал:

— Ещё больше моих текстов — так и не изданы.

Он шевелил мохнатыми бровями и смотрел за окно.

Может быть, вспоминал он тогда свои собственные слова, сказанные мне на самой заре свободного, бесцензурного книгопечатания, когда разом открылись, казалось, все шлюзы и печататься можно было, как привыкли у нас говорить, без проблем — то есть подразумевалось буквально следующее: что принёс в редакцию, то сразу же, вскорости, и напечатают, без всяких там вторжений в текст и сокращений — без этой советской практики прежних лет, напечатают — в подлинном виде, так, как написано, — и казалось тогда нам всем, что, похоже, уже наступают ежели и не райские, то по крайней мере вольготные времена, и они потом наступили, смотря для кого и когда, но об этом пока ничего мы не знали, — только радовались новизне, и её небывалости, и тому, что, наверное, сбудутся наши надежды на лучшее время, и тому, что, выходит, уже дождались хоть чего-то нормального, и уже есть такая возможность — издаваться везде, где захочешь, широко, свободно, на выбор, где надумаешь, где пожелаешь, потому что везде тебе рады, а стихам твоим — и тем более, так уж рады, что диву даёшься, — так, наивно, по-детски, казалось — мне, во всяком случае, — Рейну что мерещилось — я не знаю, ведь чужая душа — потёмки, но тогда говорил он вот что:

— Представляешь, такие возможности вдруг открылись — везде издаваться! Только что же мне издавать? Сколько есть у меня стихов? Сотни три наберётся, пожалуй. Вот и всё. Что мне делать — не знаю.

Я сказал ему, помню, тогда:

— Сотни три — это тоже ведь много. И тем более, если стихи все хорошие. Для поэта, сам ты знаешь, это неважно — сколько он написал вещей. Были б сильными эти вещи, долговечными, — вот что важно. Было б слово живо его. Остальное — так, приложение, — не к чему-нибудь, а к труду. Не печалься. Всё у тебя впереди. Всё сбудется вскоре. Уж во всяком случае, знаю, — у тебя. И куда скорее и удачней, чем у меня.

Посочувствовал я ему. Успокоил его. Утешил.

И тогда же — отчётливо понял: мне с моими стихами, которых написал я несколько тысяч, ждать хорошей поры для себя — много дольше придётся. Но сколько же? И дождусь ли? И что же дальше?

«Дальше — время твоё настанет!» — ясный голос мне вдруг сказал.

Я — услышал его.

И — понял.

И поэтому — промолчал.

О себе — ничего не сказал.

Наперёд говорить — не стану.

И тем более — Рейну, с его размышлениями: что же ему издавать, если текстов — не много?

Ничего. Что-нибудь да напишет. И ещё, и ещё, и ещё.

Я же — как-нибудь сам разберусь: и с собою самим, повсюду и везде бывшим белой во-

роной, инородным телом, случайным гостем — там, на всеобщем пиру, и ушедшем оттуда вдруг, чтобы в глушь отойти и в тишь, чтобы там, в стороне от всех, где покой и воля, — работать, продлевая дыхание речи, продолжая духовный путь, — и тем более разберусь, без подсказчиков, без суеты, сам, как есть, со своими стихами, — дай им Бог и впредь появляться и хранить в себе свет живой.

Надо ли, чтобы слова разрастались, вместе с растениями в песнях сплетались, в сумерках прятались, в мыслях взметались, в листьях сумбур учинив? Сколько бы им на простор ни хотелось, как бы за ветром к дождям ни летелось, где бы развязка вдали ни вертелась, ток их широк и ленив. Где бы решимости им поднабраться, как бы вольготностью им надышаться, как бы с наивностью им побрататься, чтобы опять одолеть то ли стеснение, где некуда деться, то ли смирение, где впрок не согреться, то ли томление, где в тон не распеться, вырваться — и уцелеть? С кем бы им там на пути ни якшаться, как бы о прожитом ни сокрушаться, где бы ни рушиться, ни возвышаться — нет им покоя, видать, ибо успели с раздольем вскружиться, ибо сумели с юдолью сдружиться, с долей намаяться, с болью прижиться, — знать, по плечу благодать. Дай же им, Боже, чтоб реже считались, больше ерошились, чаще скитались, в дни переплавились, в годы впитались, — в будущем, их ощутив где-то, насупясь, а всё же надеясь, что-то почуяв, что ждёт, разумеясь, кто-то изведает, высью овеясь, ясноголосый мотив.

Или так — о своём, о родном:

Горловой, суматошный захлёб перед светом, во имя полёта, — и звучащие вскользь, а не в лоб, хрящеватые, хищные ноты. Сколько цепкости в свисте сплошном! Льготы вырваны клювами в мире — и когтистая трель за окном, подобрев, растекается шире. Сколь же любви мне эта вот блажь, эта гибель презревшая хватка, эта удаль, входящая в раж, хоть приходится в жизни несладко. Пусть сумбурен пичужий вокал — но по-своему всё-таки сложен, потому что жестокий закал, как ни фыркай, конечно же, важен. И не скажешь никак, что отвык от захлёстов капризных и ахов, потому что вселенский язык полон вздохов невольных и взмахов. Мне сказать бы о том, что люблю этих истин обильные вести, но, заслушавшись, просто не сплю — а пернатые в силе, к их чести.

Вот и вся, если вдуматься, разница — между мною и Рейном.

У меня — ведическое мироощущение.

В нём время и пространство, да и все измерения, — заодно, в единстве, в гармонии.

И стараюсь я выразить — единство сущего.

И весь мир мой, земля моя, почва, на которой живу я и с которой никуда никогда я не уходил — мне дом.

Рейн — питерский парижанин и сплошной горожанин.

Он — данник и пленник своего, земного, ему отпущенного, времени, выразитель — только его, изобразитель — сугубо земных, повседневных, людских забот и страстей.

Рейн — агитатор «за искусство» и комментатор искусств. И тем более — литературы. Но, конечно же, хочется — большего. Потому-то, наверное, в совершенно случайно увиденном мною фрагменте снятого неким зарубежным гастролёром видеофильма он, потрясая воздетыми ввысь руками, патетически восклицал: «Я лучше всех в России разбираюсь в стихах!..» Что ж, совсем хорошо, если вправду — вот так. Только время — его, че-

ловечье, — его же спасательный круг. На воде, на широкой воде мирового пространства. Надо крепко держаться за круг. Если вдруг ненароком упустит его — что же будет потом — с ним, таким городским, и бравурным, и вальяжным, и полубезумным — но, однако же, трезвым, разумным, несмотря на повадки свои и сумбурную некогда жизнь? Надо крепче держаться за круг — то ли города, то ли иного, гуще, круче, людского скопления. Там — спасенье, и там — впечатленья, поощренья, даренья, всё — там. Одного лишь там нету — горенья. И того, что за этим: прозренья. Есть — людской толчеи пузыренье, за которым, как призрак, — старенье. И — с собою, давнишним, — боренье, коль захочется фарсов и драм. Но возносятся — благодаренья, за судьбу, — к городским небесам. Потому что дано и паренье, приобщенье — к иным голосам.

К Жене я всегда относился и отношусь, несмотря ни на что, с неизменной симпатией. Нравится мне человек этот — и всё тут. К тому же, он ещё и по-настоящему талантлив. Уж поталантливее Бродского. Так я — давно — считаю. И Женя об этом — знает. Мне всегда с ним интересно. И наши встречи, наши беседы, в последние годы, к сожалению, редкие — остаются надолго в памяти. Колоритный человек. Сложный. Несомненно, обладающий врождённым магнетизмом. И — обаянием. И — чутьём на стихи. А ещё, несмотря на свой возраст, сохранил он в себе замечательную детскость, изумление перед миром, — и я это вижу, и понимаю, и это для меня — очень важно в человеке. Так что можно на него поворчать, да и только. А обижаться на него — зачем? Он такой, какой есть. Он — Рейн. Всем известный современный поэт. Однофамилец знаменитого голландского художника — Рембрандта ван Рейна. Собеседник мой — в былые времена.

Однажды Женя говорит мне:

— Я считаю, что СМОГ — просто некий довесок к тебе. Ты всегда был сам по себе. Всегда был независим, оригинален и самостоятелен во всём. Тем более — в поэзии.

— Мне и самому всё это давно надоело! — отвечаю я ему. — Нынче так и норовят всех сбить в группы, в стаи. Так им, тем, кто пытаются разобраться в том, что мы делали, удобнее. Тебе это хорошо известно.

— Да, у меня такая же история с Бродским, — сказал Рейн.

Потом помедлил — и порывисто произнёс:

— Я всегда хотел дружить с тобой!

И подчеркнул патетически:

— Я считаю тебя великим человеком, великим другом и великим поэтом!

— Ты мне тоже дорог, Женя! — ответил я ему. — Давай, в наших-то зрелых летах, попробуем — дружить.

— Уезжаю в Париж! — сообщил мне Рейн. — Вместе с Надей.

— А я — к себе, в Коктебель! — ответил я. — Вместе с Людой.

На том разговор наш и закончился.

И снова — долго не виделись.

Такое вот у нас, у поэтов, годами собирающихся дружить, — своеобразное общение.

Дружба дружбой, а дороги — врозь.

Кому — на Запад, кому — в Киммерию.

Может быть, и встретимся ещё — у меня, в Коктебеле.

Всё может быть.

У нас — всё может быть.

— Зачем тебе волноваться? Ты великий поэт! — сказал мне Андрей Битов, когда я спросил его, как там обстоят дела с моим приёмом в ПЕН-клуб.

Дело было уже в девяносто четвёртом году.

— Вон сколько книг у тебя вышло! — сказал Андрей, — все это знают. Все знают, кто ты такой. Так что не волнуйся. Примем.

И приняли.

— Поздравляю! — сказал мне Битов по телефону, — приняли единогласно. К Окуджаве, поскольку он болел, ездили специально на дачу. Все проголосовали — «за». На обсуждении вслух читали стихи твои. Наизусть помним. Так что всё в порядке.

Позвонил Женя Попов.

— Поздравляю, Володя! Мы тебя приняли.

Я сказал Людмиле:

— Приняли меня.

— Ну и ладно! — сказала мудрая и проницательная моя жена, — только что это даст тебе? Вряд ли будет от этого прок.

Получил я членский билет — и уехал к себе в Коктебель.

Приехал в Коктебель Битов.

Конечно — летом.

Конечно — отдохнуть.

Конечно — с семьёй.

Конечно — вместе с Сашей Ткаченко и его семьёй.

ПЕН-клубовское начальство к нам пожаловало! — так в посёлке у нас говорили.

Зашёл Андрей ко мне в гости.

Навестил старого друга.

Пригласил меня в Дом Волошина — на презентацию недавно вышедшего очередного «Крымского альбома», в котором стихов моих, разумеется, не было — хотя стихов о Крыме у меня больше, чем у всех русских поэтов, вместе взятых.

Я — пришёл.

В кои-то веки — выбрался на люди.

На веранде волошинского дома собрался народ.

Издатель Дима Лосев, человек феодосийский, молодой, энергичный, представил вышедшую книгу.

Потом все присутствующие выпивали, закусывали и разговаривали о разном.

Так, наверное, полагается на презентациях.

Я, непьющий, сидел в стороне и курил.

Напротив меня, в тесноте, да не в обиде, рядышком, сидели такие разнородные люди, как широко известный в России и далеко за её пределами, популярный, модный прозаик, пишущий и даже издающий ещё и стихи свои, лауреат всевозможных премий, литературных и государственных, неизменный участник различных жюри, раздающий престижные премии, постоянный гость на телевидении, полномочный представитель отечественной литературы в зарубежных, спокойных, зажиточных, с торжеством демократии, странах, претендент на титул «Мистер Совершенство-97» от Марии Арбатовой, писатель номер один нашей страны, ум, честь и совесть — по мнению журнала «Она», педагог, воспитатель прозаиков в Литературном, основанном Горьким, на бульваре Тверском находящемся институте, законодатель вкусов, мнений и мод — в области литературы, че-

ловец, способный влиять на судьбы людские в смутном, всё-таки, мире интриг, и тусовок, и отъявленной групповщины, личных дружб, отношений хороших, выдвинутых куда-то, поездок и всяческих благ, именуемом, как ни странно, по старинке, литературой, да ещё и российской, русской, современник, приятель мой давний, который давно уже — многое может, и особенно — в девяностых, по его же словам, — если только захочет, конечно, — так заметим, и — справедливо, — человек, по словам Жени Рейна, небывалый, который — всё может, автор целого ряда книг, всюду изданных и переизданных, многодетный отец, седой и вальяжный, раньше — в очках, а теперь — без очков, то бритый, то с усами, а то — с бородой, белой, колкой, короткой, модной, — всё зависит от настроенья — как ходить: можно — стричься наголо, можно — волосы отрастить, всё равно есть титулы, звания и, что важно, к нему внимание, всеми признанный нынче лидер и всеобщий любимец, баловень благосклонной к нему судьбы, председатель ИЕН-клуба, гордость демократов, Андрей Битов; бывший эмигрант, основатель издательства «Третья волна» и альманаха «Стрелец», коллекционер и пропагандист современного авангардного искусства, создатель музеев в изгнании, автор книг стихов и мемуаров, недавний, по словам Сергея Довлатова, борец с тоталитаризмом, из-за этой борьбы никому в эмиграции не отдававший долгов, нынче — вроде, устроенный в жизни и давно живущий в Москве, где — всё то же, такая же деятельность, как и прежде, — издание книг, то и дело — устройство выставок, собирательство, целенаправленно, современной российской живописи, и не только российской, а всякой, где придётся и как придётся, благо — много её везде, человек бледнолицый, цепкий, невысокий и всем известный, с сигаретой вечной «Данхилл», взгляд — сквозь дым, — Александр Глезер; и — доселе мне незнакомый, патриот, русофил, из главных в этом стане, издатель, вроде, приложенья литературного — и к чему же? — к газете «День», чьё название вдруг изменилось, если я не спутал чего-то, став туманно-значительным — «Завтра», человек дородный и крупный, рыхловатый немного, спокойный, но, однако же, с напряженьем — там, внутри, скрываемым тщетно, с осторожно приподнятым кверху, как фонарь в полумраке, лицом, славянин и, кажется, критик, со вспотевшим широким лбом и расправленными свободно под рубашкой чистой плечами, шумно дышащий Владимир Бондаренко.

Все трое с удовольствием выпивали — и, несмотря на то, что считались представителями противоположных лагерей, друг с другом и не думали ссориться.

Напротив, было им всем здесь, вместе, на волошинской миролюбивой веранде, у моря, летом, тёплым вечером, уютно, покойно и хорошо.

Андрей Битов сказал, обращаясь одновременно и ко всем гостям, оптом, и к Диме Лосеву, в частности:

— Здесь, у вас, в Коктебеле, живёт Владимир Алейников, великий русский поэт. Почему его стихи не публикуются в таких изданиях, как «Крымский альбом»?

Присутствующие, особенно сотрудники волошинского музея, никак не отреагировали на это. Они давно ко мне привыкли.

Живу я здесь — и ладно, и хорошо.

Работаю всё время — об этом они прекрасно знают. Знают, что я только и делаю, что работаю.

А что пишу — обычно не спрашивают.

Прекрасно им известно и то, что выступать с чтением своих стихов — ни у них, ни в других местах, — я не люблю. Существуя я здесь — вроде, и рядом, близко, но в то же время и осторонь от всех и всего, в первую очередь от суеты, — и всё тут.

У них — своя жизнь, у меня — своя жизнь.

Всем известно: есть Коктебель, и в нём — Алейников, там, у себя в доме, приходит сюда — редко, всё работает и работает, и тянется так — годами.

Издатель Дима Лосев и бровью не повёл.

Словно ничего такого и не слышал.

Я сказал:

— Ну зачем ты так, Андрей?

— А что? Я правду сказал. Так ведь всё и есть! — опять-таки обращаясь одновременно ко всем, стоял на своём Битов.

С набережной во двор волошинского дома врвался грохот музыки из бесчисленных кафе и забегаловок.

На веранде было относительно тихо и спокойно.

Вроде бы продолжалась волошинская традиция общения.

На самом деле — все сидели и выпивали.

Факт культуры сменился обычным застольем.

Ничего не поделаешь.

Это — факт как бы времени.

Лето, отдых и повод вполне подходящий, — для выпивки.

Незаметно я встал и ушёл.

— Ну как презентация? — спросила меня Людмила.

Я рассказал.

— Сиди дома и работай! — сказала моя мудрая жена.

1999



Жёсткий реалистический РОМАН

«Останусь лучше там...»

Игоря ФУНТА

вскрывает

тайны всемогущей

криминальной организации

на территории

России

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Ольга ШЕНФЕЛЬД



Родилась в Киеве в 1972 году. С 1997 года живу в Чикаго. Замужем, двое детей. Закончила КПИ, работаю программистом. Пишу с 6 лет. Печаталась в чикагских газетах и сборниках «Нам не дано предугадать», «Под одним небом». Финалист конкурса «Пушкин в Британии»-2012. Лауреат конкурсов «Золотое перо России», «45 калибр».

Есть поэты, несамостоятельные внутренне, придавленные веригами превозмогающего влияния... — поэты-невольники. А есть поэты, демонстративно несамостоятельные извне, но вольные внутренне... те, что по зову воображенья или по прихоти увлечений — натура-то страстная — перевоплощаются, оставаясь собой, ломая любой плен уже тем, что свободно переходят из одного плена в другой.

Такова Ольга Шенфельд.

И надо ж... где встретишь киевлянку! Невольно задашься вопросом — что знала она из того, чем жил я в 70-е и 80-е, когда мы оба — она уже, а я всё ещё — были киевлянами. В подборке Ольги Шенфельд встречаешься сразу с несколькими поэтическими лицами. Причём каждое из них ненатужно, свежо и естественно. Не копирование, но поэтическое подражание. Не всё одинаково удачно, но лучшее отобрано и заслуживает внимания. Да оно и приковывает внимание: декларированные ли Пастернак и Мандельштам или недеklarированный Лорка (потому что, скажите мне, что это, если не Лорка: «В темных прищурках улиц // Капли зрачков зеркальны», или вот это: «Ночью бледнеют лица, // Лунным питаюсь хлебом»?)

Не знаю, как писались эти стихи, но написаны непринуждённо и при очевидном искусстве — безыскусственно... им ветер — в парус, они легки на ходу... и стилизация, — именно потому, что она открытая, явная, — склоняет к согласию. Так всегда бывает, когда вдыхаешь свежесть художественных удач. Так «рождаются невинные слова»!

Б. Левит-Броун

Сентябрь и Мандельштам

Рифму кормить с руки,
Гладить по мягким ушкам.
Вновь за спиной легки
Медные завитушки,
Вновь запотел стакан
От ледяных закатов...
Кто-то на вражий стан
Рвется в блестящих латах,
Кто-то готовит суд,
Ждет справедливой казни...
Рыжий лохматый шут,
Уличный безобразник,
Флейта твоя суха,
Пахнет смолой и лаком.
Только бы мир не плакал,
Прочее — чепуха.

* * *

Вот так рождаются невинные слова
И открываются зеленые созвездья —
Деревня, выселки, провинция, предместье,
Пыльца на патлы и смешинки в рукава,
Неукрошенная лягушечья трава,
Босые ноги, разноцветные вьетнамки
И мотыльковые расхристанные рамки,
И очень дерзкие невинные слова —
Смешные, резкие и нежные как шелк,
Как влага в локонах, как лунные тропинки —
Деревня, выселки, провинция, низинка,
Олень и гусь, барсук и лось, тамбовский волк.

* * *

Редют косички ивы,
Светлеют сухие травы...
И тот, кто рожден счастливым,
Однажды захочет славы
И будет твердить упрямо
О той — залетейской роще...
Когда-то учила мама:
«Живите на свете проще».
Последним лучам прозрачным
Навстречу лицо наморщив,

Бреду, ничего не знача,
По рыжей табачной роще,
По лиственной прелой толще,
Не скрытой еще сугробом...
Живите на свете проще,
Всего лишь — не зная злобы,
Всего лишь чуть-чуть иначе
Под этим горячим светом...

А время решит задачи
И спрячет от нас ответы.

Оттепель с Пастернаком

Немного солнца и проталин,
По горсти луж и воробьев.
Косноязычен? Гениален?
Все то же крошево из слов.

Перемешай хоть оловянной,
Хоть золоченой — все равно,
Коль стало синим и туманным
И разорвалось полотно.

Рассвет осенний жидким чаем,
Январский — пухлым снегирем.
Лыжня расплющенная тает
За оплывающим окном.

И в сером кружеве древесном
Узор нездешних мастериц,
И вновь — замри, умри, воскресни
И не ищи пустых страниц.

Ночной романсеро

В темных прищурах улиц
Капли зрачков зеркальны.
Тайные сны проснулись
И раскрывают тайны.

Шепот дождя на камне,
Шорох брусчатки млечной.
Дальние дразнят страны
Пряной поющей речью.

Пестрой горячей птицей
Звонкая бьется небыль.
Ночью бледнеют лица,
Лунным питаюсь хлебом,

Как молоко с ладони
Пьются слова и звуки.
Кто-то читает сонник,
В страхе ломая руки,

Кто-то вплетает в локон
Влажный пахучий воздух.
Моря шершавый рокот,
Сети с уловом звездным.

Над полукруглой нишей
Резкий узор латыни.
Кто-то шаги услышит
И у дверей застынет.

Дон Жуану

Ни бодрой Лаурой, ни сонною Анной
Не стану тревожить покой дон Гуана.

Ни Ольгой румяной, ни бледной Татьяной
Не буду рыдать над Невою туманной.

Ни смуглые пальцы, ни перстень с печаткой
В беззвездной ночи не приснятся украдкой.

Лишь утром, бессменный, как чашечка кофе,
Возникнет отнюдь не классический профиль.

И несколько строчек насмешливо-нежных
Коснутся подола домашней одежды,

Весь мир замыкая горячечной искрой
На жарких зрачках с ободком золотистым.

Георгий ТАРАСОВ



Родился в 1958 году в Ленинграде, после школы поступил на физфак ЛГУ, несколько раз был отчислен, служил в армии, восстановился, работал по специальности в «ящике» до конверсии. Потом Кировский завод, яхт-клуб, много всякого, работаю до сих пор и конца и края этому не видно. Живу в РФ в Питере, 12 линия В.О. Писать начал года три назад, в основном, в стол. В РФ не издавался. Иногда выкладываю что-то в интернет, пишу от злобы статейки на Фонтанке.ру. Серьезного в отредактированном виде не выставлял нигде. Только неоконченное и короткие рассказы и миниатюры. На бумаге печатался только в журнале «FloriDa», Майами, США, где числюсь постоянным автором. Заслуг, званий, наград не имею никаких. Псевдонимами не пользуюсь, пишу от первого лица. Есть три повести: «Журналистика», «Секретные материалы» о работе в «ящике», «Влажный Ветер», основой послужила работа в яхт-клубе Кировского завода. Примерно полсотни коротких рассказов, зарисовок, и миниатюр. И, само собой, нескончаемый роман, страниц на триста, чтобы оправдать свое существование на земле. В апреле 2013 года в издательстве Za-Za Verlag (Дюссельдорф) вышла моя первая книга «Пьяные саги. Повести и рассказы».

Отчаянно любимое море и отчаянные моряки. Почти сумасшедшие.

Жизнь в этой прозе зашкаливает. Захлестывает, как волна в шторм.

Хоть прозу эту сполна, до конца и до дна поймут, наверное, лишь сами моряки — так сугубо профессиональна и по-морскому честна она.

Но и «сухопутный» читатель вдохнет соленые брызги. И расправит плечи.

А еще подумает о том, как любят у нас губить и не любят понимать.

Елена Крюкова

МОТОБОТ

Ему 101 год, и еще в 2010-м никто б не узнал в нем построенный в начале века в Германии гидрографический бот. О том, чтобы спустить его на воду, не могло быть и речи — гнить и гнить ему на задворках Богом забытой лодочной стоянки...

Этот катер стал третьим детищем Пенсионера. Почему он занялся такой потрясающей хреновиной, внятно объяснить не в силах никто. Он сам написал книгу о «Дункане», втором своем катере, но нет там полнообъемной разгадки причин столь стойкого сумасшествия. Книга читается лихо, написана дневниково-документально, но есть там все — голод, холод, тяжкий труд, океан непонимания, криминал, бандитство, благородство, корсуность профессионалов и виртуозность дилетантов, жадность и чванливый снобизм.

Кто чем грешил, тот тем и засветился на страницах «Пиратов Балтийского моря».

А чумовой капитан через всю книгу стойко ведет читателя дорогой позитива. Не иначе — натура такая...

Да-с, так вот, о причинах. Ну, вот приперло человеку старый катер восстановить, понятно... Но он же человек трезвый, в курсе цен. И с одной пенсии даже гайку на винт не купишь. Спонсоров искать? Хе... А вот об этом, в частности, книга. Ведь набита под завязку наша страна теми, кто живет примазыванием. Возьми у такого грош на хорошее дело — отнимет все, когда готово будет. Кинуть доверившегося тебе человека у этой мрази почему-то считается шиком, а не подлостью. И именно поэтому Пенсионер все сделал сам.

Все.

Есть расхожая фраза — ради чего-то там я, мол, готов умереть. А попробуйте ради этого чего-то жить! Зимой на лодочной стоянке в ржавом железном холодном катере без света и воды — на них денег нет. Три года. Питаясь крысиными супчиками и вкалывая по десять часов кряду. Кто зимой в лес ходил надолго, подтвердите — чаю попить — на полтора часа проблема — дрова собрать, льда наколоть, ветер аннулировать, разжечь, согреть, пальцы размять, чтоб кружка из рук не выпала...

А «Дункан» вышел в Неву в 300-летие Российского Флота под оригинальной паровой машиной. Оригинальная — это значит родная. Столетней давности. Все слышали фразу «поднять пары». Что это? Это сорок часов. Таскать дрова, топить, выгребать шлак, следить за паром, температурой, черт знает чем еще, устраняя постоянно всплывающие повреждения — сто с лишним лет технике. Все — оригинал. И все в тесном железном ящике. Поразвлекайтесь, хотя бы мысленно.

Подвиг, подвижничество, слава? Ага, как же. Налетели соколы:

— Продай, отдай.

— Нет.

— Так возьмем!

Когда к делу честного отъема чужого имущества подключили администрацию города, катер улизнул в Финляндию — шансов остаться в России судном и носить это гордое имя у него не было. Стал бы он помесью заблеванного кабака с публичным домом. И грохнул бы его в конце концов по пьяни бык о бык. То есть уважаемый состоятельный человек об опору моста.

Что было дальше — берите книгу, читайте. Скажу еще только одно на эту тему — к быкам у меня отношение резко презрительное. Но не все люди с деньгами — быки, как ни странно. За одного ручаюсь. Это Ходорковский. Ничего не спросив, он выкупил подъем судна, утопленного косорукими датскими спасателями, не предъявил на него прав и ничего не потребовал взамен. И стоит теперь «Дункан» в германском музее. Там он еще сто лет проживет, минимум, порядка там, что надо. И законы есть и работают — никто его не умыкнет. Спас человек частицу истории парового флота.

Скажете — непатриотично? Фига вам. Если тебе интересен до боли зубовной легендарный катер, то можешь напрячься и съездить в Варнемюнде, прийти на пирс, взойти на борт и все потрогать руками. И стать за спиной Пятнадцатилетнего капитана, снять, как и положено, за десять минут картинку, и взяться за столетний штурвал, направив свою мечту за капитаном Грантом. И бронзовый компас с готическими румбами доведет тебя в гавань детства.

А вот на частную стоянку под элитным муравейником на реке Ждановке в Санкт-

Петербурге ты не пройдешь — ротвейлеры порвут. Что останется — менты растащат на сувениры.

Вы можете втирать мне, что угодно, но шила в мешке не утаишь — тот, кто сносит трехсотлетние здания в Биржевом переулке, чтоб сляпать стеклянный отель, кто раскурочил Знаменскую, устроил из Крестовского острова лесоповал, опозорил Мариинский театр и Морской порт — быдло. Без скидок. И ради даже призрака денег он (она) раскурочит что угодно — от старого катера до утробы собственной матери. Как всегда, бессмысленно и провально. Ведь прикол в том, что существа с криминальным сознанием обречены на провал ввиду примитивности мышления — даже великий урка Сталин продул игру в коммунизм, более грамотные Черчилль с Рузвельтом его в легкую обыграли. Не думайте, что у Матвиенко, Полтавченко и Путина шансов больше. И логика игры такова, что даже промежуточное созидание уголовником заканчивается разрушением. Не для созидания его дьявол выстрегивал. На всем, что они делают — дьяволово клеймо. И любые отношения с тем, от кого смердит государством — сделка с дьяволом. Провал. Если хочешь что-то СДЕЛАТЬ, делай сам.

А, да, почему уголовники? Отсылаю к нетленному «Золотому теленку»: «Все крупные состояния нажиты преступным путем». Еще, кстати, разок о примитивизме их сознания — они почему-то считают, что хоть кто-то из живущих в Российской Федерации об этом не знает. Кретины.

А будущий «Нептун» гнил себе и гнил. Основательно надраться надо было, чтоб распознать в покосившейся деревяшке, заросшей бурьяном, отменный породистый бот. Кэп его по трезваку разглядел. Во глаз, капитанский, едрена вошь... Он, действительно, КДП на пенсии. И вот тут я подхожу к тому, что, на мой взгляд, стало причиной его стойкой тяги к старым маломерным судам. Конечно, это только одна из граней данного сумасшествия, но, похоже, существенная. Лезть в «Капитана Врунгеля» Некрасова не буду, так, на память: «Слова-то какие! Дальнее плавание... Даль... Простор... Пространство... Плавание... Движение... перемещение... Значит, так и скажем — перемещение в пространстве». А капитан дальнего плавания, КДП? Мостик, рубка, океаны, шторма, виски «Чивас Ригал», рассвет над Бискаем, море Уэддела бездонной прозрачности, и девки в портах? Вообще-то это директор плавучего завода. И у станков не работяги, восемь часов, и — шашь домой, а тут же, рядом живут, в тесной коробке без баб. И народ своеобразный — сами поразмышляйте, что это за зверюга дикая — русский моряк. И прикиньте, каково им командовать. Да еще так, чтоб слушался. И это все в загранке, а за плечом — замполит, на него не обопрешься — враз в навоз угодишь. И ведь его, козла, еще и беречь надобно, выйди он в свежак на палубу — любой член команды рад будет ему под ноги маслица плеснуть. А с тебя в порту приписки все сдернут за его пируэт за борт, вплоть до шкуры. И для команды ты, поэтому, где-то в глубине их душ — шкура. Так что и за своей нехило бы приглядеть. Какой тут, к собакам, рассвет над океаном?

И ведь вот оно, море, рядом же, дюжина метров вниз с крыла моста, и запах его, и бесподобный цвет пробитой солнцем океанской волны, а радист нажрался, и волновод не сболтил — кранты радару. Чуть в маяк не въехали...

Море, море... Близок локоть, а не укусишь. Только что свои грызть остается. Где выход? И будешь ты рад хоть алмазным надфилем себе посудину из кубометра чугуна выточить, чтоб на самом деле — в море. Один на один. Чтоб ни одна зараза помешать не смогла. Чтоб напиться морем всласть, в одиночку, как закоренелый алкан перед зеркалом. Алчущие и жадно...

Но Кэп живет в таком месте, где круглый год открыта охота на мечту. Из всего имеющегося оружия — от ПР-76 до бронетехники, законодательства, и кредитной системы под 36%. Это Российская Федерация, прошу с Русью не путать. Мечтать тут категорически запрещено. Воплощать — риск на грани фолла. Первую мечту он воплотил, пришлось продать, чтоб в живых остаться. Вторую еле спас — через весь Балтийский океан на паровой машине прочапал. Каб не финны и немногие оставшиеся после геноцида русские психи, шиш бы чего вышло.

Дьявол с двух раз не сожрал, Бог троицу любит — Капитан взялся за «Нептуна». Когда судно начало приобретать родные очертания, зашевелилась стая соколов, налетели, гниды. Кто из злорадства, кто с умыслом. Всплыли предложения помочь материально. Но Кэп — моряк, знает, что за вещество всплывает и не тонет. Благодетелям был указан конкретный адрес, где их ждут с подобными предложениями. Дальше пошло по известной схеме — зашевелилась продажная власть.

— У вас задолженность за гараж, доступ запрещен...

— Судовой билет невозможен ввиду возраста судна...

— Техосмотр? Вы охренели!!!

— Да все ж работает...

— Неважно, вам нельзя...

— Конструкция вашего рундука не соответствует типовому проекту...

— Вам запрещен доступ к судну в связи с антисанитарной обстановкой в зоне стоянки вашего катера...

— Пойдемте, проверьте обстановку.

— Вот еще, буду я ходить, есть акт...

— Акт мною не подписан, составлялся в мое отсутствие.

— Вам посылали e-mail.

— У меня компьютера нет.

— Ваши проблемы...

И так далее.

Я б при таком раскладе, честно скажу, или руки б опустил или б поднял на кого. Так, что не откачали бы потом. Как Кэп все это провернул, не в курсе, но к июню катер был готов к спуску на воду. Он наскреб грошей, и мы погнали в Турку за навигационным оборудованием, оставшимся у него от прошлых эпопей. Добавилась в этой истории еще одна — как мы через всю Финляндию мотались, уложившись в полтора суток, пока кофе в термосе не кончился, полтора ойро на спасительный напиток в финке нам было не наскрести. Гнали под 140 на «Таунусе» 1982 года, у меня тоже свои тараканы в голове... Хотя машинка Кэпу понравилась, видно, что вкус у человека есть. Хе-хе... Мне фиолетово, что это предвзято выглядит, мой бред — старые тачки.

Пока я лазал с финнами на «Анастазии» по Северо-Западной акватории и гонялся на Онежской регате, Валентин катер спустил на воду и довел до ума. Совершенно немыслимый в современном мире кособоким набор корпуса. Абсолютно незнакомые в этом тысячелетии обводы изменяли траекторию движения почти любого прохожего. И время от времени щелкали фотики, и уж совсем радостно было слышать: «А можно, мы это сфотографируем?». Это счастье создателя, счастье очень высокого полета.

А с тыла накатывала зловонная волна, нацелившаяся «Нептуна» накрыть. Вопрос стоял уже на редкость остро — неподатливость нищего пенсионера стала раздражать. И способ

приобретения судна в стиле «нет человека, нет проблемы» стал витать в воздухе. И придавить мог с легкостью. Целью судно уже перестало быть, раздражал человек.

И вот что, скажите мне, в такой ситуёвине делать, а? Как помешать оттяпать приглянувшееся кому-то твое имущество, да еще в живых остаться? У меня ООО «Западный скоростной диаметр» по предварительному сговору с правительством Санкт-Петербурга гаражи снесло два года назад, предложив за все 11 тысяч, хотя я только один за 84 покупал. Присралось им, видите ли, трассу построить. Скоростную, чтоб потом перманентно ее чинить и деньги в нее зарывать. КАДа им для этого, видите ли, мало...

Я ввязался в драку, убил полгода, сменились два прокурора Василеостровского района. Пара участковых и зам начальника уголовного розыска 60-го отдела полиции слетели с должностей, я вырвал-таки смехотворную компенсацию в 1000 долларов через полгода бойни, но, когда дым рассеялся, из кармана у меня поллимона выдуло. Из них триста тысяч — кредитных. Хрен знает теперь, когда расплачУсь. Или расплАчусь. Ставьте ударение сами, где хотите. А трассу и строить не начали. Два года не срок, Площадь Труда 9, 5 лет делали, а дамбу — вообще 33. Как раз Илья Муромец, видать, подрос, чтоб закончить. Теперь еще 33 года на печи пролежит...

Так что про законы там, суды, телевидение, манифестации, петиции и прочее — не надо. Я в этой кухне после той драки круто разбираюсь, любому адвокату рыло заткну. Вердикт один — безнадежно.

Но есть еще волшебная наука психология. Ишак идет за морковкой, бык — за перспективой хапнуть больше за гроши. Вешаем морковку. В Хамене, Финляндия, есть оригинальные девайсы, после укомплектования коими судно приобретет музейную ценность. Всего и делов-то, сбегать на нем в Хамен и довести его до продажности. Установить-то могут только там, подводная часть, то, сё...А потом домой, в лапы. Или копыта, что там у него...

И что для быка Хамен? Околица Питера, для него Мальдивы — не рейс. А нам катер только бы в еврозону вывести, там он, сука, об закон рога себе обломает. Это тебе не РФ, на ЮНЕСКО никакого лопатника не хватит...

Схавал, жаба, сказку, и не поморщился. Явно Сунь Цзы не читал.

Берег, берег, сколько ж на тебе хрени... Как бы так выйти в море, чтоб ни одной крупички с собой не утащить? Чтоб только мы и оно...

Море...

Рассвет заливает Маркизову лужу, стеклом бесподобным сияет вода, журчит под форштевнем старинного судна, и манит настойчиво, ну же, туда! Где волны с боков бирюзою сияют, где ветер не треплет, а гладит сосну, где явь или сон потеряют границу, где только вдыхать, выдыхать ни к чему... Я таю, я знаю, что все это будет, мне б только увидеть маяк Стирсууден, пройти, стиснув зубы, таможни причал, и вырвать на волю счастливое судно, помочь окунуться в начало начал...

Так черта лысого прах земли с ног отряхнешь — солярка дрянь, вспенилась на качке в один балл, дизель-японец, «Ниссан-Лорел», к такому компоту непривычен. Воздуху насосал, сдох. Пока воздух выгоняли из топливной системы, батарейки подсадили. Их четыре, но не шесть же раз систему продувать! Сдохли. Еще до подхода к форту Константин. Черт с вами, после таможни на подвеснике пойдем, бензина хватит. Приличный «Mercury», узла три даст. Время есть, над нами не каплет. Ну, не очень... А что навигашки без электричества нет — фигня, русский моряк и по пачке «Беломора» ходит, если карт нет. Вполне успешно, между прочим, безопасность на уровне Ллойдовских стандартов.

Таможни мы опасались вполне ощутимо, но подфартило отменно — проверяющий майор смотрел больше на бот, чем на внутренности. Сунув нос к дизелю, мгновенно определил, в чем беда. Ни хрена объяснять не пришлось. Через десять минут осмотра достал айфон и давай фотки прокручивать. Мама моя, он сам тем же болен!!! На фотках катер, сделанный им самим практически с нуля. Наш человек, дай Бог ему удачи.

С нами вместе вырывалась на волю яхта с названием, которое я даже в радиопереговорах за четверть века ни разу не слышал. «Невеста». Хозяин, Сергей, шел в Чухню один, и я задрал бровь, это уже было почти экстра. А учитывая название... Все оказалось именно так, как я и думал — обрыдла земля парню, плюнул на все и пошел, куда глаза глядят. Один. Было б время, на остров Пасхи б почапал, благо посудина потрясающая — футов тридцать пять, крейсер. Вооружение — закачаешься, навигашка «Raymarine», локатор, авторулевой, все очень грамотно в кокпит выведено, короче, в океане, как дома на такой. Жизнь грызет, свободного времени — ноль, так хоть по Балтике чутка побегать. Дунул он в моря — в два часа нас в пупце оставил, слился за горизонт, а мы хрюкаем по-тихому на подвесничке и за парня радуемся. Не водку ж жрать в сауну полез, когда замотало, а на волю. Есть еще люди на Руси...

У Толбухина в рыло дунуло, но несильно так, узлов на шесть ветер, а для мотобота мордотык — самый милый курс — ни тебе качки серьезной, ни заливалова. Дача, короче... А вот на траверзе рейда прибавило, и прибавило ощутимо — нога у Меркурия вылетать из воды начала. Мы подобрались. Поколдовали с дизелем, но безуспешно. В принципе, попытки его завести были безнадежны, но природа потребовала выгрести все шансы до конца — валяло здорово. Рулилось скверно — мощи подвесника не хватало, раза б в четыре побольше требовалось, но судно рыскало существенно меньше, чем я ожидал. В меня закралась зеленая благодарность к немецким судостроителям начала века, ботик-то в Ростке свалили.

Каким-то чудом за пару часов мы проползли еще милю, и тут вдарило по-взрослому. Увидев перед носом трехметровые ямы, я здорово охренел, потому что бак судна даже при такой волне был сухим! Такого я и представить себе не мог, это что ж за гений обводь рассчитывал? При такой волне любая крейсерская яхта и с более высоким форштевнем зарывается в воду до закрутки, а то и капитанские волны принимает, а этому — хоть бы хны, даже не отряхивается. Прет, как породистый скакун, ни на что не оглядываясь. И корпус цел, даже не трещит особо.

Помпа накрылась. Я на руль, капитан — к ней. Совладал, сунул под пайолы, включил, литров пятьдесят всего откачали. Идем себе, как ни в чем не бывало. Обалдеть, что за корабль...

В этот день, видать, ворота для беды широко кто-то распахнул — Меркурий подлетел на волне очередной раз, сказал: «Все, ребята, дальше без меня...» — и утонул. Повертел винтом в воде напоследок в опасной близости от наших морд и ушел на глубину в тридцать один метр. Наше счастье, что лопнуло крепление двигателя аккуратно по проушинам страховочного троса, никого из нас он в мясо не размолотил. Я сигаретку достал, Кэп — так просто присел. Но горевать не вышло — судно стало разворачиваться лагом к волне. А вот это уже приглашение последовать за мотором. Причем такое, от которого шиш откажешься. Удар в борт положил привальный брус в воду, я воткнул ногу в релинг, но на дно мы почему-то не пошли. Еще не поняв, в чем дело, я получил по хребту уткой, аккуратно в поврежденный на гонке копчик, взвыл, но судно-то не тонуло!!! Оно качалось поплавающим, стоя лагом к волне, кивало правым бортом в воду и изредка спрыскивало себе

бак водичкой, не иначе — умаялось малость. Неее, братцы, такое чудо надо спасать, хоть тресни. Оно того стоит.

На форштаги было нанизано два стакселя, я задрал штормовой, но тут же понял, что ступил — такой сморкунчик «Нептуна» даже подвернуть под ветер не мог. Задрал взрослый — фига там. Кэпу не выкрутить корыто было даже на десяток градусов. А стоять лагом к волне — ну час, ну два, не больше — никакой корпус такого не выдержит, чай, не броневая посудина. А било уже слева чуть не в киль, бот хорошо все-таки ложился, очень прилично дуло. И, похоже, добирало еще. Ё-моё, прям как настоящий шторм...

Вот скажи мне кто, что Бога нет — в рожу плюну, за день до выхода мастер обменял какой-то не очень нужный ему девайс на драконовский, кажется, спинакер. Квадратов на двадцать — двадцать пять тряпка. Лежал он себе на баке абы как, слегка привязанный к чему-то веревочкой. И не за топовый угол, и вообще черт-те как. Без брасов, спинакер-гика и вообще...

Сколько я на него времени угробил, у Капитана спросите, я не в курсе, но и он вам вряд ли чего поведаст — рулем он работал отчаянно, это единственное, что могло нас удерживать на плаву без ходов. Но пузырь, наконец, взлетел, нос стал подворачивать на фордак, я поймал этим мешком ветер и, работая обоими брасами без гика, уложил бот на полный курс. Тут парус так потащил, что руки мне чуть не оторвал. На палубе ни намека не было на блоки, ушки или турачки, пришлось брасы фиксировать на релингах, да такими замысловатыми узлами, что, Богом клянусь, я таких в жизни уже никогда не завяжу. Когда все устаканилось, я мирно сидел на баке, тягая правой ногой правый брас, левой кистью орудовал левым, держался за релинг левой ногой и курил наконец-то, держа сигарету правой, справедливо полагая, что в данной ситуации некурящий капитан меня вряд ли упрекнет. Он и впрямь молчал, работы за рулем ему хватало. Что ни говори, а моторный гидрографический бот с сигнальной мачтой высотой всего в 4, 5 метра для ходьбы под парусом, да еще спинакером, который был изобретен лишь спустя полвека после постройки судна, явно был не приспособлен. Но ведь шел же, зараза! Да как! Когда я закурил и сел на руль, мастер открыл планшет на последних электронах зарядки и успел заметить нашу точку и скорость в 3, 4 узла. Каково? Для справки — это вполне приличная скорость для яхты под штормовым вооружением. Но найдите мне дурака, который задержит спинч на 22 узлах ветра...

Наше счастье, что мы не знали, на сколько дует. Поэтому и не волновались особо. Да там, в принципе, и не до этого было. Дело в том, что Финский залив — отнюдь не бульон, а суп с клецками. И их не жалеют. Пароходиков в этом котле, как тараканов в старом доме. Штук восемь стояли на рейде, не доходя миль шесть до маяка Стирсууден, штормовали, как потом выяснилось, от них, стоячих, беды-то не предвиделось. Но от Толбухина маяка на запад проложены три официальных фарватера. Северный прилично нагружен, он ведет к рейду и дальше, в Приморск, что ли, лоции я четверть века не видел, по среднему шныряют шайзовозы, вываливают на глубину грунт, вынутый из основных фарватеров, ну а уж по основному судовому ходу — как поезда в метро... И вот не угодить под чей-то форштевень — это проблема из проблем. Задача слегка усложнялась тем, что топать нам только в Кронштадт, другой дороги нет, ветер — стойкий вест, а мы можем только полным курсом. А по пути несколько свалок грунта, пес их знает где, и два захоронения взрывчатых веществ. Ну и утопленников хватает.

И есть еще на свете такая тварь, как рыбак, этому по фигу, где сети ставить, он и на судовой ход может кинуть, эти троглодиты «Правила судовождения» в глаза не видали. Вы-

сокого полета стервятники, посчитал бы кто, сколько кораблей на дно ушло из-за их сетей, вершей и костров на берегу, искажающих судовую обстановку. Не далее, как за две недели до всего этого безобразия финская «Анастасия» влетела в Свири на судовом ходу в сети, идя под мотором. Счастье, что сплав был рядом, парни заметили, подлетели на разъездном «Прогрессе» и ухватили «Стаську» за ноздрю до того, как она на берег вылетела. А потом ныряли четыре часа с ножами, сети с винта срезали. А вода в Свири — десять градусов. И точка — узла три. И от денег отказались, и от водки. Герои, без скидок. И так обидно, что героизм — неизбежное следствие чьей-то дурости или хамства. А обрезки сети Аулис, капитан так по всей Онеге в кокпите и провозил, и домой в Куопио увез. Над камином повесил, среди голов лосиных да кабаньих. Рыбачка б того башку над тем камином вклячить...

Отвлекся, извините, но уж больно тема злая.

Да-с, так вот, стемнело, но ветер почему-то не стих. И волна, сами понимаете, меньше не стала. И той самой пачки «Беломора», по которой русские ходят, стало уж совсем не видеть. Конечно, поначалу я ориентировался по далеким ходовым огням, по еле видимым береговым светлякам, по проблескам маяков, хотя без карт такая ориентация более чем приближительна...

Но стемнело совсем, и высыпали звезды. И накатило то, ради чего и ходят в море. На баке, подогнув под себя ногу, сидел изрядного возраста викинг, неспешно обшаривая взглядом звездное небо, и, сначала с трудом, как сквозь пьяный угар, а потом все увереннее находил свою звездную дорогу...

Не было драконовского спинакера, а гордо реяла над форштевнем драконья голова, и парус с молотом Тора, лениво покачивался, не полоская и не упуская ни единого вздоха ветра, и позвякивала сталь доспехов товарищей, ворочающихся во сне. И маячил в конце пути не таможенный терминал форта Константин, а Константинополь, набитый под завязку не сказочными сокровищами, а Сказкой... Я неспешно цедил команды на руль, но знал бы рулевой, что не вижу я ни единого огня этого мира, набитого железом и электричеством, что иду я по звездам. Ведь это так просто — лечь поспокойнее на палубе, найти знакомый с детства ковш, поднять линию до Полярной звезды, повернуться так, чтоб она уселась на топ мачты, и, держа ее на топе, спокойно идти, твердо зная, что уж это навигационное устройство тебя нипочем не подведет. Надо просто вспомнить, кем ты был тогда, тысячи лет назад. А в море это так просто...

Сверкнул с оттяжкой следа падающий метеор, но я не загадывал желаний. Все исполнилось, зачем? Небо само знает, что мне нужно...

К двум часа ночи к дамбе подошли, освещена она здорово, видно отменно, одна беда — судовую обстановку такая иллюминация скрывает напрочь. Но вышли аккуратно ко входу в створы дамбы. Мастер было разохотился и в них под парусом лезть, больно хорошо ботик под спинчом бежал, но это уж извините... Не мы одни по морю ходим, да и ветер никак не позволял. Убрались метров на сто от судового хода, яшку метнули, и я лично задрых без задних ног.

Штормовая волна судну оказалась вполне по зубам, а вот волна от доклада по рации накрыла и его и экипаж по самый топовый огонь. Прихлопнула, можно сказать. После удара этой волны всплыли обломки крушения:

— Катер «Нептун» форту Константин. Терпели бедствие на траверзе рейда, потеряли ход, стоим в километре от вас, за молом.

— Вы же не имели права возвращаться! Вам надо отметиться в финском таможенном пункте в Ловииссе!

— Мы в шторм попали, отказ маршевого двигателя, вспомогательный сорвало волной, и он утонул, еле дошли на парусе, находимся прямо за дамбой, в километре от вас.

— Мы не имеем права допустить вас к терминалу без досмотра, мало ли куда вы заходили!

— Да мы даже до Стирсуудена не дошли! Спросите корабли на рейде, они все видели.

— Без досмотра не имеем права!

— А у терминала вы нас досмотреть не можете???

И так далее. Полномасштабный бред. Сразу всплыл в памяти доктор из «Итальянцев в России», у которого мафиозо стибрил паспорт. Но это ж кино, комедия!!! А я эту хрень наяву слышу! Вот Кэп орет в рацию, вот оттуда бабий визг. Трендец. Я уж запасы провизии подсчитывать в уме начал... Мало ли...

Через полчаса воплей сформировалось приемлемое решение — нас к причалу МЧСы подтянут, им все можно, для них закон не писан. И слава Богу, что так быстро решилось, рация садилась, а прекратись столь щекотливые переговоры в каком-нибудь стрёмном месте, таможня б, поди, ПСКР вызвала, чтоб нас расстрелять из бортового оружия. С них станется...

Выход из-за мола МЧСов меня здорово повеселил, не так на «Зодиак» ходят. Потом я перепугался — тащить-то эти ухари нас будут, не кого-нибудь. Увидев у них на транце 150-сильную шарманку, я совсем сник, а уж когда они примерились нас лагом тащить, чуть молиться не начал. Ща, думаю, крутнет ручку, сложимся, и разбирайся потом на дне, кто кого спасать должен. «Дункана» датские спасатели именно так утопили. Тот, что потолще, хоть в чем-то разбирался, допер, что лучше все-таки за ноздрю, я суетливо метнул ему конец прямо в кокпит, бубликом, мало ли сдрейфуют, так хоть чтоб не сразу веревку потеряли. Второй сунулся было раскручивать буксир, и тут же раскачал «Зодиак», старшой на него цыкнул и увязал сам. Потом повернулся ко мне, надел горнолыжные очки, деловито осведомился о готовности, и приказал на полном курсе поднять парус, чтоб помочь ходами. Я понял, что «Штурман Жорж» лицо не выдуманное, Михал Афанасьич ее видел в натуре, и Настасья Лукинична Непременова точно издавалась — именно ее батальные морские рассказы, похоже, МЧС читал под партой на лекции о буксировке, приказ его был из каких-то заоблачных райских высей, там о судовождении слыхом не слыхивали.

Приказ есть приказ, я откозырнул, якорь, понятное дело, с бака убирать не стал, напротив, еще и аккуратненько сбухтовал якорный конец и положил рядом с яшкой. Мало ли. Пусть без нас в мол врезаются. И пошел к мачте, судорожно вспоминая, каким фалом штормовой стаксель тащить, на вид они все одинаковые были.

Когда ветер зашел в корму, я тягомотно вытянул тряпочку, до шкота и не дотронулся — висит парусок и леший-то с ним. Старшой МЧС увидел выполнение команды, протянул ко мне руку с поднятым большим пальцем, я изобразил улыбку и сел на бак, вытягивая десятую сигарету за этот час и машинально с тоской поглядывая на яшку. Пирс бы, думаю, не разнесли...

У пирса стояла пришвартованная «Невеста». Что, думаю, за леший, она-то откуда? И движений на палубе никаких... Ближе к ночи мы по переговорам слышали, что она возвращается, но с ее-то ходами до Ловииссы как раз туда и обратно. Ну, не пошел человек в Котку, как намеревался, понятно, но что он здесь делает? Странно. Я глянул на яхту вни-

мательнее, но ничего не заметил, повреждений не наблюдалось. Разве что подводка, но помпа б отливала, так ни струйки же. Еще раз странно.

Швартовка — это когда судно привязывают к пирсу, а не бег взад-вперед по нему в паникерке с концом в руках и выпученными глазами. Но пирс цел, оба судна тоже, зачет. И-эх, пораньше б где зачеты брал, в мореходке там, или на курсах спасателей...

Проехали, на другое нервы беречь надо.

И вот оно, другое, топает по пирсу, со скрипом открывая решетку из Родины. Еще из радиовоплей ясно было, что мы ей не больно-то нужны, но официальное лицо нам точек над «ё» насыпало. Выходило, что, спасая свои никчемные шкуры, мы нарушили бездну каких-то законов и таможенных правил, что делать с нами неясно, так что, исходя из доброжелательности и гуманизма, лучшим выходом будет нас утопить. Я Капитана на переговорах видел, как у него язык подвешен, знал, поэтому и половины не прослушал, к «Невесте» пошел. Что с нею стряслось, меня волновало гораздо больше, не прямо же сейчас нас топить начнут...

Я постучал по корпусу яхты, негромко позвал: «Сергея!». А в ответ тишина. Греметь не стал — верхним чутьем усек, что неуместно. Или спит, умаявши, один все-таки, или в таможне отдувается. Стучал я в твердое, так что ясно стало, что это не «Летучий Голландец» и не глюк. Этого я тоже опасался, ночка все-таки та еще была.

У «Нептуна» стоял один капитан. Таможенников, МЧСов и конфликт смыли сто евро. Логично. На родине же все-таки в курсе, зачем народ так на официальные должности рвется...

— Мастер, что делаем?

— Ждем. Буксировщик с яхтенной стоянки подойдет, нас туда оттащит.

— Так мы ж вроде в нейтральных водах! Как они...

— Егор...

— В смысле, уже по фигу?

— Дороговато, но уже.

— Понял... А им?

— Стоянка 1300 в сутки.

— Мать твою... Я б за такие вплавь зубами отбуксировал...

— Нет у тебя зубов.

— Так и денег...

«Невеста» качнулась, и в кокпит вылез заспанный Сергей. Как оказалось, где-то перед Березовыми островами ему сшибло гафель, он встал в левентик, срубил поврежденное вооружение, пошел под генуей, но, как он выразился, «зачем-то», попробовал на всякий случай мотор. А он не сразу завелся.

— Что-то мне, мужики, стремно стало, подумал я, подумал и решил вернуться. И правильно сделал, в горловине у Стирсуудена мне так напинало, что я и геную срубил, под железным стакселем пошел.

— Слушай, у тебя ж электроника отменная, на сколько дуло?

— Истинный — 22 узла с порывами.

Мы с Кэпом переглянулись. И вправду шторм был. Я повернулся к Сергею.

— А ты рейд когда проходил?

— Часов в шесть

— Нас не видел?

— Да не до того было. А у вас что?

— Подвесник сорвало. А до этого маршевый сдох.
— А как вы сюда? МЧСы подтащили?
— Последнюю версту за сотку ойро. У нас спинакер драконовский был, так доехали.
— Ну, вы... Что, серьезно, 18 миль?
— На бак посмотри, он там еще лежит. А мили нам считать нечем.
— Однако... И как бот к этому отнесся?
— Да это чудо, а не посудина, пока мордотыком шли, ни одной брызги на бак не попало.
— Иди ты, я закруткой в волну зарывался!
— Это еще не все. Когда «Мерк» утоп, нас лагом развернуло, так он, как поплавок....
— Вот это дааа... Хм. Может, зря я повернул?
— Сергей, ты слышишь команды с неба и их понимаешь. Ты будешь ходить долго и счастливо.
— И умру с «Невестой» в один день???!!!
Мы оторжались, и я вытер слезу.
— Вы никогда не умрете.

Сергей потянулся, хрустнув суставами, оглянулся на свою яхту. Конечно, она его звала...
— Ладно, мужики, удачи. Я пошел, отоспался вроде.
— А эти упыри? — я ткнул большим пальцем через плечо на таможду.
— Так, полазали, я им — «Вы гляньте, что за посудина. Хотел бы чего спрятать, с собаками бы не нашли...». Отстали.
— Даром?
— Куда там...
— Ладно, бывай, удачи!
— Рад был познакомиться.
— Тоже. Море маленькое, еще сто раз встретимся...
— Это само собой.
— Скинуть? — я указал на швартовы.
— Спасибо, сам.
Он скинул оба, толкнул яхту ногой, вспрыгнул на борт, не глядя, протянул руку к ключу, заурчал мотор, и «Невеста» послушно погналась в море. Хотя какая она ему невеста... Жена. Любящая и любимая.
Навеки.

Злые языки утверждают, что начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Максим Бирюков — бывший пожарный. Умело написанная биография на официальном сайте старается убедить в том же, так как знающие люди грязно утверждают, что он ветеринар. «День Выборов» Фомин снимал не на пустом месте. Да и Марк Твен «Мои часы» заканчивал фразой: «Я узнал в часовщике знакомого пароходного механика, да и механика-то не из лучших...».

С точки зрения компиляции биография написана слишком умело, что и настораживает. Я таких замесов за сорок лет насмотрелся вдоволь. И более чем в курсе, как биографии пишутся. На себя, любимого, штук двадцать написал только. В соответствии с требованием момента. Это происходило примерно так. Нужна зачем-то моя биография, я — к тому, кто ее писать должен, ему некогда, сам, мол, давай. Да ты себя и знаешь лучше всех. Ну, и настроишь. Что я, рыжий, что ли?

Так ведь в том и дело, что почти все на свете — не рыжие. Редкий оттенок. И ничем не хуже меня. Проверял. И пишут сами себе «био» не кое-где у нас порой, а подавляющие все. Причем чем выше, тем одиознее. Оно и понятно — соискатель на должность старшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках не имеет нужды сильно себя приукрашивать — пахнет чуть, и ладно...

А вот из капитоса-замполита в генеральское кресло влететь — тут расстараться надо. Специалистов там привлечь, то, сё... Но специалисты-то из того же котла, что и соискатель — не очень профессионалы. Ну и подзабыли заветы доктора Геббельса, чтоб врать — так напропалую. Маху дали, крупницы истинной биографии подсыпали. И нестыковки глаз режут. Товарищ в биографии какой-то вышел с вертикальным взлетом, вроде Николая Ивановича Ежова. Чем тот кончил, знают все, Бирюкова же днями штрафанули на 50 косарей за финансовую нечистоплотность при строительстве Гатчинского пожарного депо, так, может, это — звоночек? Железного наркома с того света...

С меня, конечно, можно строго спросить — а что это ты, мол, к генералу придрался? Не он же тебя лагом буксировать собирался и деньги драл! Не он, согласен. Но, во-первых, за подчиненных башкой отвечает командир. Именно заради этого ему из моего кармана такое жалованье охрененное дают и неограниченные возможности для самостоятельного улучшения благосостояния. А во-вторых, на примере несанкционированно спасшегося вельбота можно узреть, в чем, на самом деле, заключается основная задача МЧС. Спасением занимаются нормальные, честные, в меру сумасшедшие парни, я видел их работу, и каждому второму прилепил бы ярлык «виртуоз». Но, появившись он с таким ярлыком перед начальством, в МЧС ему не служить — вышибут. Хотя бы из зависти. И, потом, положительный ярлык со стороны? Не в приказном порядке? А мы, генералы, тогда на что?

Рядовой (до капитана по армейской табели о рангах) спасатель, типа Лехи, который нами занимался после таможни — это чумной ураган, электрический пес, запрограммированный только на одно — сорваться и спасти. Это помесь японского сына утреннего ветра и неподкупного педантичного немецкого полиция, замешанная на русской бесшабашности и изворотливости при выполнении задачи. Поясняю.

С момента нашего доклада по рации до окончания разборок с таможней прошло часа четыре. А доклад-то по инстанциям вверх пошел! До ГУ МЧС. На входе было: «Вельбот, шедший в Финляндию, вернулся в Кронштадт после шторма под аварийным парусом». Все.

Поскольку спасатели пальцем все-таки шевельнули, протащив вельбот аж целый километр, то, раз действия — налицо, на каждой инстанции добавлялись подробности. Итого, на выходе — «Флотилия финских яхт отчаянно тонула по всему Финскому заливу, МЧСы всех спасли».

Естественно, из такого подвига могло много всего вкусного проистечь, и сверху в Кронштадтский МЧС ухнула директива — разобраться и доложить! Мало ли, может, где золото партии обнаружилось, или кого из знаменитостей спасли. И лично Бирюков уже мчится на форт Константин, чтобы принять персональное участие. Ни свет, ни заря, аж в 11 утра. Ну, может, и не мчится, но лично позвонил, что мчится.

Леха ночь отбарабанил, чем он занимался, мне выяснить не удалось и не хотелось, я слишком хорошо знаю такие лица, это лицо солдата после боевого — серое, чуть ироничное, чуть растерянное, губы щас плюнут: «Аааа... отстань...». Это то состояние, когда ты видишь струи ветра и глохнешь от звона растущей травы. Это так интересно, важнее всего на свете, ты же чувствуешь это впервые в жизни, ты заново рожден, а руки твои шарят по телу, трогая карманы, и пытаются найти выключатель, отрубающий память...

Он не пошел домой. Колодки на служебной «Ниве» содрались до железа и правый ступичный подшипник — на замену, а левый — под подозрением. Вывешено правое колесо, содран суппорт. Осталась фигня — начать и кончить, но звякает мобила, в ней беснуется начальство, и надо собирать все обратно, так ничего и не починив, и гнать к таможенному терминалу, разбираться, что там с финской флотилией. Других машин нет. Может, и есть, но не спасателю ж давать годовалый «Мондео». Рылом не вышел.

— Судовой билет, пожалуйста, и ТО. — Алексей протягивает руку и берет у Капитана документы. Кэп комментирует:

— Техосмотр записан в судовой билет.

— Ааа, ну да, конечно. Извините... В возрасте машинка. Тааак, он зарегистрирован, как катер, мачта — сигнальная?

— Да, конечно.

— Высоковата.

— Конструкция, гидрографический бот. Да и четыре метра всего.

— Слушайте, а на чем вы шли?

— Да спинакер выменял на всякий случай за день до выхода. Матрос у меня парусник дурной, вот и...

— Не повезло вам.

— Не понял.

— В докладе в управление значит, что вы — яхта.

— Ну и что?

— Судно зарегистрировано, как катер. Вы не имели права идти под парусом.

Тут встрял грубый я:

— Парень, ты что, сдурел??? Маршевый сдох, вспомогач утоп, волна три метра, слава Богу, тряпка была! Нам что, на дно??? По инструкции, не поднимая паники...

— Что ты на меня насел? Думать надо, что наверх сказать.

— Ошибочка вышла, бывает, мол...

— Поздно. Там такую волну нагнали... Чтоб все срослось, надо пару яхт утопить. Желательно иностранных.

— Твааааюуюю маааааааа...

Капитан отмахнул перед лицом рукой, мотнул головой.

— Постойте... Вас как зовут?

— Леха.

— Алексей, я сам не дурак пошутить, но что-то у меня с чувством юмора сегодня. Еще раз пожалуйста, и попроще, а?

— Вы не имели права даже трупы на мачту задирасть.

Я мгновенно понял, что это не гротеск, именно так все и обстояло на самом деле. И тут же опять встрял:

— То есть, поскольку капитан не имеет права покидать судно, я, как старший офицер, обязан был взять в зубы судовой билет, прыгнуть за борт, проплыть 18 миль до Кронштадта, дожидаться приемных часов в ГИМСе, внести изменения в судовой билет, предварительно оплатив взнос в сберкассе, потом бросаться в море в обнимку с инспектором по маломерным судам, плыть к катеру, проводить техосмотр и плыть обратно за талоном. Потом опять к катеру и после этого поднимать парус? Я правильно понял?

— Почти правильно. Плыть надо в паникерке, пристегнутым к катеру страховочным ле-

ером, так как судно терпело бедствие. И инспектора купать необязательно, достаточно оплатить рейс разъездного бота до судна и обратно.

— Это дорого? — осведомился ухмыляющийся Капитан.

Леха смерил взглядом «Нептун».

— Штук шесть таких продадите, хватит. Даже на пиво останется.

И почему истерика всегда кончается гомерическим смехом? Ни разу не видал, чтоб слезами...

Мастер протер забрызганные смехом очки, нацепил на нос и приобрел опять капитанский вид.

— Что делать будем, Алексей? Что-то ведь надо...

— Что делать, звонить. Попробую вразумить.

Диалогом это не назову, ответов начальства не слышал.

— Это просто катер, один, их таможенные МЧСы только через ворота протащили.

— Да никакая это не яхта, сигнальная мачта есть, да, но тогда все катера так делали, ему ж лет пятьдесят...

— Да один он, один! Не было больше никого...

Отмечаю про себя, что спасение флотилии стоит дороже одиночного судна, и вопросам начальства не удивляюсь.

— Ну давайте я вам весь пирс сфотою! Тут только этот катер...

— А что им было делать? Главный сдох, подвесник волной сорвало, хорошо, парус нашелся, у них в команде гонщик какой-то, вез в финку его...

— Да нештатный он, нештатный, что его регистрировать, он вообще случайно на борту оказался... Спинакер какой-то от детской яхты, старый...

— Ну а труссы б на мачту задрали — тоже яхта? Скажите спасибо, что не утопи — вот тогда б у нас действительно головняк бы был!!!

— Да говорят вам, мачтушка там отродясь стояла! Вам крепления сфотать? Она с меня ростом, даже ахтерштага нет, как на ней ходить?

— Да не знаю я, как они дошли... Они и сами не знают...

— Кто, кто, два деда...

— Да нет больше никого, говорю же! Их двое на катере и больше никого, никаких яхт! «Невеста» просто вернулась, своим ходом, капитан сейчас отсыпается у таможенного терминала.

— Нет, он без парусов шел, что он, больной, что ли?

— Да не знаю я, кто из диспетчеров паруса этой ночью видел!!! Сами их спросите! И пусть дыхнут...

— Да дыхну, не вопрос, сразу ж как приедете! Вы ж мчитесь уже, поди...

— Да вот вам капитан, здесь стоит.

Леха протянул Кэпу хэндик. Его речь я цитировать не буду, на пятой минуте поплыл, и вспомнить не смогу, а выдумывать лениво. А вот конец разговора...

— Черт с вами, вы меня убедили, что я совершил страшное преступление, спасши свою никому ненужную жизнь, нарушил все мыслимые законы, так объясните мне, Христа ради, что мне за это будет??? Шлепнете здесь же у пирса??? В Магадан?? На рудники??? Катер утопите? Себе возьмете? Что мне за это полагается? Чего ради мы тут полчаса распинаемся?

— Что, штраф? Аааа, значит все-таки деньги... С этого бы и начинали. И сколько?

Кэп смотрит на нас чуть оторопело, отставив от уха мобилу. Губы почти шепчут:

— Пятьсот...

Я:

— Тысяч?

— Рублей... Пятьсот рублей.

Леха рвет мобилу и орет:

— Ты мне уже триста проболтал из-за этой вшивой пятихатки!!! Я б уже тачку давно починил, и мужики б хоть поспали!!! Все. Закрыт вопрос, ща в МЧСе заплатим, сам, бля, заплачу!!! Конец связи!

Поворачивается к нам:

— Во, урод... Даром, что ветеринар...

— Леха, ты говоришь, он на каждое ЧП дергается...

— Бывает, что и доезжает иногда. Черт знает, на фиг ему это нужно?

— Подкаблучник. Домой впишется и гундит — «Ничего без меня, козлы, не могут». Хоть так себе цену набить. Он у вас на кораблекрушения в бронике не приезжал?

— На пожар в паникерке... Собирайтесь, мужики, я вас до управления довезу. Тут даже пёхом не добраться...

— Спасибо, Леша...

— Аааа... Там еще... Тоже не все просто...

— Младший брат большого босса?

— Вроде того, но еще вменяемый...

— Да мы отлаемся.

— Нет уж. Давай до конца. Видать, что-то вкусное от них уплыло. Я такого хипеша давно не видал. Как бы вас не того... За это цунами... И дернул вас черт спинакер задрать...

Капитан приложил руку к сердцу:

— Алексей, обещаю, мачту спилю, чтоб соблазна не было в следующий раз. Прямо вот завтра.

— Завтра не придет никогда. Живите.

Ключевые имена и названия в данной истории я изменил, хоть мне это и несвойственно. Безымянный здесь Пенсионер, Капитан, Мастер и Кэп мне резонно втер, что головняков у него и без моих опусов хватает, выгорит то, что задумал, милости просим, раскрывай секреты. Но пока дело не сделано, не дай Бог, кто-то из «этих» пронюхает, ходят слухи, что их все-таки успешно грамоте учат...

Я лично придерживаюсь другого мнения, но чужое для меня всегда было дороже своего. Да и как бы ни был призрачен шанс, что наши мародеры извлекут крупницу информации о героическом плавании «Нептуна» из океана информации, он есть. И тогда Кэпа пригласят за наградами. Ему, по большому счету, начхать, как говорится, «дедушка старый, ему все равно...», но прибьют вместе с ним к стене гвоздями ДЕЛО. Дело всей его жизни.

А интересно ведь все-таки, кто он такой? Кто, кто...

Черт с ними, с тайнами, скажу.

Русский моряк.



Живу в Киеве, профессор Института международных отношений, преподаю перевод. За последние десять лет опубликовал в издательстве «Эльга-Ника Центр» пять романов, три в «Серии 700» и два последних отдельно, все под псевдонимом Хуан Мирамар. Пишу и стихи под тем же псевдонимом, на конкурсе «Золотая строфа» стал победителем двух этапов. В 2012 года в издательстве Za-Za Verlag (Дюссельдорф) вышла книга прозы «Полоса отчуждения».

Изумительный по простоте, теплейший юмор, и опять, как в театре, задник, как в живописи, уходящий в глубину фон, прописанный легким сфумато — время здесь видно через жесты, горе — через искренний смех. Мирамов владеет искусством притчи и иносказания, не расставаясь с изящной формой традиционного русского рассказа.

Елена Крюкова

РУЖЬЕ

Дело было в том, что у писателя К. недавно появилось ружье, висело теперь дома на стене на старом ковре, как в какой-нибудь пьесе Чехова.

Ружье это у К. неожиданно появилось: подарил приятель давний, почти забытый — не переписывались они, не виделись много лет, и вдруг приятель позвонил.

— Привет, — говорит, — это я. Уезжаю на родину предков, на землю, так сказать, обетованную. Хочу с тобой попрощаться — приезжай, выпьем, как когда-то, вспомним старые добрые времена, а то эти времена, что сейчас, уж больно поганые. Ты как считаешь?

— Поганей некуда, — согласился К.

— Вот-вот, — поддакнул приятель, — Так приедешь?

— Приеду, — пообещал К.

Собираться особенно долго К. не надо было, как говорила когда-то его бабушка, «подпоясался и пошел».

Писателем К. был мало кому известным — нравились его романы только некоторым людям его поколения, да, как это ни странно, одной красивой женщине. Печатать его давно перестали, так что был он ничем не связан — по редакциям бегать не надо было, интервью всякие давать тем более, а с работы его недавно уволили.

Кормился он сейчас переводами, как издавна в России было принято — безработная интеллигенция всегда перебивалась переводами или уроками музыки, но к музыке К. был абсолютно неспособен — вот и оставались переводы.

Короче говоря, собрал К. тощий рюкзачок, положил туда литр какой-то особенной водки и колбасы копченой — столичные гостинцы, и поехал.

Ехать надо было долго и далеко. Приятель его жил в глухом селе, где когда-то К. проходил практику после пединститута. Тогда они и познакомились. Приятель К. был тогда фельдшером в школьном медпункте, а теперь стал известным врачом — к нему отовсюду приезжали, а он из глуши своей уезжать не хотел.

— Я тут один, как доктор Айболит в Африке, — говорил он, когда они с К. еще связь поддерживали, — ко мне тут и ворона, и волчица, так сказать, лечиться приходят и все чуда ждут, а в городе что?!

Был еще знаменит этот приятель К. тем, что охотиться любил, что для еврея несколько нетипично, по крайней мере, так считал К., и ружье у него было какое-то особенное, и не ружье вовсе, а карабин, хотя, в чем разница, К. представлял себе слабо.

Вот, владельцем этого чудо-ружья он и должен был стать, приехав к приятелю.

— Зачем мне ружье? — спросил он приятеля по телефону, когда тот сказал, что хочет подарить ему ружье.

— Подарок, — ответил приятель лаконично, но емко.

Ехал в гости К. долго и сложно: сначала на электричке несколько часов, а потом через лес на тряском местном автобусе и, как говорили в старину, всю поездку предавался праздным размышлениям.

«В деревне мало что изменилось с того времени, когда я здесь учительствовал и с приятелем медицинский спирт пил, — думал он, глядя на темный смешанный лес по краям дороги и на такие же темные, дремучие, как этот лес, непроницаемые лица своих попутчиков, главным образом, стариков. — Вот такими и древляне, наверно, были, и скифы тысячи лет назад, — он исподтишка вглядывался в изрытые морщинами, хмурые лица, — цивилизация их совсем не коснулась, по крайней мере, советская цивилизация. Интересно, — спрашивал он себя, — изменит ли новая цивилизация их детей, внуков. Скорее всего, изменит — эта новая культура спекуляции и стяжательства вирулентна и агрессивна, не чета советской. Что советская могла предложить? Образование, интересную работу и все, а им это ни к чему. А эта цивилизация предлагает деньги, богатство. Трудно конкурировать», — вспомнив новое время, К. расстроился — очень он новое время не любил, можно сказать, ненавидел он новое время всей душой — и стал смотреть в окно.

Смешанный лес скоро сменился высокими мачтовыми соснами, подлеска в сосновом лесу не было и он просматривался далеко вглубь, потом начался веселый березняк, так что в глазах зарябило от белых, освещенных вдруг выглянувшим весенним солнцем стволов.

Скоро К. начал уже узнавать дорогу, хотя был здесь последний раз много лет назад, а потом и деревня появилась — разрослась она и стала поселком. Автобус выехал на, очевидно, центральную площадь, и К. увидел в окно своего приятеля.

Подарок приятель вручил К. сразу, как только они пришли к нему домой.

— Вот, — сказал он, протягивая ему ружье, — карабинчик, дружок мой. Владей.

— Может, не надо, — робко произнес К.

— Подарок, — веско повторил приятель, как первый раз по телефону, и К. неловко взял ружье в руки.

— Да ты не бойся, пощелкай затвором, — поощрял его приятель, — но аккуратней — заряжено.

— Я потом как-нибудь, — отказался К. и осторожно положил ружье на диван, — Давай сначала перекусим — я вот тут привез, — и стал доставать из рюкзака подарочный литр и колбасу.

Приятель тоже в долгу не остался — выставил свои деревенские деликатесы, среди которых был и особого рецепта самогон.

Потом были воспоминания, потом обед плавно перешел в ужин, потом, кажется, гуляли в лесу и, может быть, даже опробовали подарок — это уже К. помнил плохо, но отчего-то болело правое плечо — он решил, что это отдача от выстрелов, хотя с полной уверенностью сказать не мог.

Утром он проснулся поздно, посмотрел на часы и с ужасом увидел, что опаздывает на автобус, который ходил на станцию один раз в день. Опаздывать ему никак нельзя было, потому что на следующий день обещали ему очень выгодный перевод, от которого зависело его благосостояние в последующий месяц, а то и два.

Приятеля разбудить не удалось, поэтому К. хлебнул из носика чайника холодной заварки, схватил свой рюкзачок и направился уже к двери, как вдруг опомнился: — подарок!

Ружье лежало на диване, и вид у него был какой-то зловещий. К. опять попробовал разбудить приятеля, но тот только мычал.

«Может, оставить?» — мелькнула у К. мысль, но он эту мысль прогнал — приятель его был обидчив, и такое обращение с ценным подарком не простил бы, поэтому К. осторожно взял ружье с дивана и вышел.

На автобус он, как было сказано, опаздывал, поэтому последнюю часть дороги к остановке, когда на площади уже стал виден автобус, готовый к отправлению, ему пришлось бежать.

Вид он являл собой, мягко говоря, нестандартный — бородатый, немолодой человек бежал, размахивая на бегу ружьем, из домов выглядывали люди, и он даже испугался, что шофер, увидев бегущего к нему с неизвестными намерениями человека с ружьем, тронет автобус и уедет.

Однако автобус не уехал, только шофер и пассажиры странно на него посмотрели и потом уже в автобусе, встретившись с ним взглядом, глаза опускали.

В автобусе К. долго возился, пристраивая ружье и так и этак, пока, наконец, не поставил его в угол к стенке, прислонив к спинке переднего сиденья. Мужчина, сидевший на этом сидении, встал и перешел в конец автобуса.

«Намучаюсь я с этим подарочком», — подумал К., вспомнил, как бежал к автобусу, размахивая ружьем, увидел себя со стороны — то ли бандит, то ли сумасшедший — и громко засмеялся.

После этого женщина, сидевшая позади него, тоже пересела и скоро вокруг образовалось незанятое пространство — благо, автобус был почти пустой.

И без того напряженную ситуацию он еще усугубил, когда пошел к шоферу расплатиться: автобус в этот момент качнуло на выбоине, и ружье, прислоненное к стенке, со стуком упало на пол автобуса.

— Оно у тебя на предохранителе? — сурово спросил шофер.

— Наверно, — ответил К. и шофер посмотрел на него странно, но промолчал.

Вернувшись на место, К. опять осторожно прислонил ружье к переднему сиденью, но оно все время сползало, и, в конце концов, он пристроил его на коленях.

Оказалось, однако, что при этом дуло ружья смотрит прямо на тетку, сидевшую через проход. Тетка перекрестилась и, бормоча себе под нос, перешла в конец автобуса к другим беглецам.

Всю дорогу до станции К. судорожно сжимал в руках ружье, лежащее на коленях, проклинал щедрость своего приятеля и думал, что его высадят, но обошлось, и он до станции доехал.

Когда он вышел из автобуса на станции, то был уверен, что тут-то и начнутся опять неприятности с этим несчастным ружьем, ведь у него никакого документа на него не было и ружье было, к тому же, не в чехле — как-то забыли они все за самогоном особого приготовления.

Станция была большая, узловая, народу вокруг масса, но выяснилось, что на него с его ружьем никто никакого внимания не обращает, даже милиция — парочка станционных милиционеров окинула его равнодушным взглядом и опять занялась торговками, расположившимися на перроне.

Никто не обращал на него внимания, вот только он сам никак не мог решить, каким образом ему нести ружье.

Сначала он повесил его на плечо стволом вверх, но тут же подумал, что напоминает красногвардейца из кинофильма, поэтому перевесил стволом вниз, но немедленно испугался, что оно возьмет да выстрелит прямо ему в ногу, поэтому опять понес, как вначале, стволом вверх.

Так он и вошел в вагон электрички, как «человек с ружьем» из кинофильма.

Вагон был полупустой, и вначале рядом с ним никто не сел — ружье он опять, как в автобусе, положил поперек коленей — но скоро напротив него шлепнулся на сиденье парень бандитского вида. Впрочем, в новом времени бандитский вид был в моде, и парень вполне мог оказаться и каким-нибудь мирным бухгалтером.

Некоторое время его попутчик молчал, разглядывая ружье жадным взглядом, потом, когда электричка тронулась, наконец спросил:

— Карабин?

— Наверно, — ответил К.

— Ты че, не в курсе? — довольно удивленным тоном уточнил парень.

— Не совсем, — ответил К.

— Ну ты даешь! — восхитился парень и попросил посмотреть.

К. выпускать из рук ружье не хотел, но сказать парню ничего не успел — вагон качнуло, ружье начало сползать с колен, К. его судорожно подхватил и при этом невольно повел стволом в сторону парня. Парень понял это как ответ.

— Все в порядке, батя! — испуганно пробормотал он, вскочил и опрометью кинулся вон из вагона.

Так К. впервые начал понимать значение неожиданно свалившегося на него подарка. Однако осознал он это значение еще не полностью. Прозрение на него снизошло на вокзале.

Хотя опыт писателя К. в обращении с оружием был, мягко говоря, невелик, даже он понимал, что в метро с ружьем соваться не стоит, поэтому сразу пошел на стоянку такси.

— Сто, — сказал таксист, тоже бандитского вида, как тот парень в электричке, но пожилой. Это был совершеннейший грабеж, так как жил К. недалеко — минут пятнадцать ходьбы всего.

Делать, однако, было нечего, и К. молча открыл заднюю дверцу и просунул в машину свое ружье.

— Окей, батя, окей, — испуганно затараторил шофер. — Десятки хватит, — и включил счетчик, что совсем уж было удивительно.

Так писатель К. наконец осознал свой новый статус «человека с ружьем».

По дороге домой, хотя и короткая это была дорога, он успел обдумать открывающиеся перед ним возможности и понял, что они безграничны. Начать он решил со своего двора.

Подъехать к его дому такси не могло, потому что проезд, как всегда, перегораживал джип какого-то мордатого бизнесмена, очевидно, приезжего, потому что по выходным джип исчезал, а в будние дни загораживал дорогу полностью, так что прохожие пробирались к своим подъездам по газонам.

К. повезло — бизнесмен сидел в своем джипе и говорил по телефону. Только К. открыл дверцу, тот разинул было рот, чтобы заорать — К. слышал, как он орал на какую-то старушку, — но тут же рот закрыл — К. достаточно было сделать вид, будто снимает карабин с плеча, и сказать тихо: — Машину убери!

Дома К. повесил ружье на украшавший стену в его комнате потертый, но старинный и красивый таджикский ковер.

Подумал он, что надо бы ружье зарегистрировать где следует, но, где следует, он не знал, и решил спросить своего друга Константинова, который знал все, но скоро об этом забыл и не спросил.

Просыпаясь иногда ночью, К. при свете стоящего под окном уличного фонаря смотрел на ружье, висевшее на ковре.

«Чехов говорил, — вспоминал он, — что ружье, висящее в первом акте на стене, в последнем обязательно должно выстрелить. Но это ведь не театр, — возражал он Чехову, — это жизнь, а в жизни все иначе», — он даже не знал, заряжено ли ружье.

Иногда, в бессонные ночи, он думал, кого бы он из этого ружья хотел застрелить, и получался длинный список: правительство в полном составе; Михаил Горбачев, разваливший Великую Империю; его тупые, полуграмотные издатели; те, кто делает телепередачи и рекламу; современные писатели, бесталанные и самодовольные; разные дилеры и брокеры, а попросту говоря, спекулянты и бандиты всех мастей, ставшие героями нового времени.

Длинный получался список, но он знал, что никого застрелить не сможет.

«Увы, это не театр, — думал он, — это жизнь, и в ней чеховское предвидение не сбывается — ружье в последнем акте не стреляет, и зло так и остается безнаказанным».

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ



Сергей Сутулов-Катеринич — поэт, главный редактор международного поэтического интернет-альманаха 45parallel.net.

Родился 10 мая 1952 года в Северном Казахстане, живёт и работает на Северном Кавказе. Окончил филфак Ставропольского государственного педагогического института и сценарный факультет ВГИКа. Член Союза российских писателей, Союза писателей XXI века и Союза журналистов России.

Автор сборников стихов «Дождь в январе» (1999), «Азбука Морзе» (2005), «Русский рефрен» (2007), «Полная невероятность» (2011), «Райский адъ. Люблюзы» (совместно с Борисом Юдиным, 2011), «Двенадцать — через ять» (2011), «Выдох на слове LOVE» (2012), «Ореховка. До востребования» (2012–2013). Участник проектов «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов» (2002), «45-я параллель. Антология» (2010), «Антология XXI» (2012). Автор термина «поэллада» и многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной периодике: «День и ночь» (Красноярск), «У» (Москва), «Альбион» (Великобритания — Латвия), «Трибуна» (Москва), «Литературная газета» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «Футурум АРТ» (Москва), «Крещатик» (Германия), «EDITA-Klub» (Германия), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Побережье» (Филадельфия), «Континент» (США), «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» (США), «Новый берег» (Копенгаген), «Звезда Востока» (Ташкент), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Истоки» (Красноярск).

Лауреат премий «Золотое перо Руси-2007», журнала «Зинзивер» (2008), «Серебряный стрелец» (победитель в номинации «Серебряный слог», 2010), журнала «Дети Ра» (2012), международного литературного конкурса имени Петра Вегина (2010) и других премий и конкурсов.

В 2012 году награждён медалью Императорского ордена Святой Анны — в ознаменование заслуг перед отечественной культурой.

Цитата-2012

Человек бурных вожделений, Сутулов-Катеринич неустанно стремится к вербальному идеалу стоического аскетизма. Выразительность строки / Боже правый, Боже левый... / затмевает все возможные толкования и от них не зависит.

Амплитуда его поэтического творчества велика. Лучшие вещи существуют независимо от породившего их движения и от общих мест, которые в них выражены. Они отнюдь не темны характерным для нынешнего безвременья беспросветом, не грешат стремлением смутить или развлечь загадками. Это словесные объекты, отдельно и самостоятельно существующие, как берега реки, деревья, отраженья в воде...

Сергей немыслим без царящего над ним порядка высшей пробы: при всём натиске стиля гиперболы и метафоры уподоблены изначально знающим своё место под солнцем, сотворённым поэтом.

*Юрий Перфильев, поэт
Москва, Россия*

...ИЗОТОП ИЗУМЛЁННОГО ВРЕМЕНИ

Факультатив для биографов

Мой эпический герой, отсучав,
Отчекрыжит Чингисхану Янцзы —
И команчи, зарычав в басмачах,
Очамчырят янычарам язык.

Избегает вензелей на золе
Даже муза из заумных матрон.
Покраснеет на заре Мавзолей.
Побледнеет беспардонный Дантон.

Мой панический герой овдовел.
Слава богу, поэлладит жена!
Аки пёрышко, скольжу по воде...
Героический вдовец — с бодуна.

Протрезвеет в мичиганской тюрьме.
Магаданит Амстердам блатаря.
Обыграет Бурлюка в буриме:
Три наяды — в киноряд января!

Мой лирический герой, протруби
За себя и за меня: дважды — сто! —
До последней, запредельной любви:
Нострадамус — минус дама! — нон-стоп...

Бизнес-классом на Парнас — Мистер Икс.
В Арзамасе монпарнасит дублёр.
Черновицкий черновик перекис.
Под Фалёнками поёт буква ё...

Геральдический изгой, отдохни!
Балабол, оберегай Балатон.
Государевых мужей трудодни —
Трубадуровых ночей обертон.

Из Ваграма телеграмму отбей:
кукарача курага какаду
Барабаню эсэмэской тебе:
обормот обэриут обалдуй

...Мой мифический герой, не впервой
После драки кулаками махать,
После первой, помечтав о второй,
Над Невою выдавать петуха!

Биографий поразительных — тьма.
Монографий подозрительных — тьмы.
Грибоедов, мой герой — от ума.
Вознесенский, мой герой — скрытымным!

2012, 25–27 июня

Шесть рукопожатий, или Пара затрещин полубога

поэллада

*12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил
первый в мире полёт в космос.
В момент старта старший лейтенант
выдохнул удивительное слово: «Поехали!..»
Гагарин провёл на околоземной орбите 108 минут,
совершив один виток вокруг Земли на корабле «Восток-1».*

*Теория шести рукопожатий:
любые два человека на нашей планете разделены
(в среднем) всего лишь пятью уровнями общих знакомых
(и, соответственно, шестью уровнями связей).
Теория была выдвинута в 1969 году
американскими психологами
Стэнли Милгрэмом и Джефффри Трэверсом.*

*Владимиру Сутулову с наилучшими пожеланиями. 2.02.71.
Павел Попович, лётчик-космонавт*

*Уважаемому Владимиру Ивановичу Сутулову
с признательностью за улыбку (Вашу). 2.02.71.
Марина Попович, лётчик-испытатель*

*Владимиру Сутулову с искренним уважением
и добрыми пожеланиями. 17.10.80.
Юрий Малышев, лётчик-космонавт*

*Автографы на фотопортретах, сделанных моим отцом,
Владимиром Сутуловым, в Пятигорске...*

*Американский астронавт Нил Армстронг —
первый человек, ступивший на Луну, —
скончался 25 августа 2012 года в возрасте 82 лет.
«Это маленький шаг для человека,
но гигантский скачок для всего человечества», —
заявил Нил Армстронг 20 июля 1969 года
в тот момент, когда, выбравшись из модуля
корабля Apollo-11, он ступил на поверхность Луны...*

Обличитель ночных загулов,
Попечитель дневного храпа,
Регистратор чужого счастья,
Кинокор Владимир Сутулов,
Суверенный суровый папа,
С небожителями общался.

Папа Русский — в родной Сибири.
(Папа Римский — в своей гордыни...)
Сероглазый изгой Кавказа.
(Генералы тебе грубили!..)
Лейтенант Сутулов Владимир
Уберёг объектив от сглаза.

Небожитель (мужик по жизни) —
Космонавт-четыре... — В погонах?!
(Астронавта отец не выдал...)
— Фотографии?.. Покажи мне
Кинокадры на полигонах...
— Ты автограф изгваздал, идол!

На Бештау молчун шашлычит —
Поджидает вечерний всполох,
Увядая к утру малёхо...
— Раскавычь череду привычек... —
Подзатыльник! — Замолкни, олух,
Скоморохин Царя Гороха!

По теории, каждый с каждым
Стал знаком, пожимая руку
Генерала, врача, поэта,
Космонавта, бомжа... — неважно.
Доверяй квадратуру внуку,
Карусельная Мать-планета!

Дорогая моя ладошка,
Вознесенский, Аксёнов, Яшин,
Королёв, Титов, Окуджава
Согревали тебя немножко...
(Обжигала ладонь папаши!)
Золотая моя держава!..

По Вселенной время — кругами.
Космонавт, астронавт, небожитель
Разумеет дорогу к Богу...
Улыбавшийся, как Гагарин,
Умудрённый угрюм-родитель,
Провожая, шпынял Серёгу.

— Озверел от твоих баулов,
Балаболов, блаженных женщин!
— Журналисты пижонят в Звёздном?!
Полубог Владимир Сутулов,
Отпуская пару затрещин,
Относился к судьбе серьёзно.

...Космонавты кружат доныне
По орбитам и по арбатам.
(Астронавтам — отсчёт до Марса!..)
Небожитель, слепой Владимир,
Отлетал в две тысячи пятом
И загадочно улыбался.

2012, 25–27 августа

Контрольный поцелуй у Храма Святого Семейства

*Антони Гауди-и-Корнет
(25 июня 1852, Реус — 10 июня 1926, Барселона) —
гениальный испанский (каталонский) архитектор.
Множество его удивительных зданий и сооружений находится
в Барселоне.
Самый известный проект Гауди —
Искупительный Храм Святого Семейства,
возведение которого начато в 1882 году.
Уникальное творение мастера и его преемников,
известное и под названием Саграда Фамилия,
включёно в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Окончание строительства Храма Святого Семейства наме-
чено на 2030 год.*

Архангел прогудит: громаден Гауди!
Наследники спасут мерцающий сосуд.
(Пророков пруд пруди?! Мороки впереди...
Сороки донесут: контрольный самосуд).

Идальго, подтверди: скрижален Гауди —
Серебряный кинжал, оранжевый овал.
(Принцессу Ди — в дожди — тиранит троглодит?!
В Сибири запропал контрольный самопал).

Сеньора, подходи: в свирели Гауди
Дудит рябой карел, свистит седой менгрел.
(О, Господи, в груди рыдает паладин...
Дали модель... доел? Контрольный самострел!)

Паскуден прах годин. Бесстрашен Гауди!
В аллеях аллилуй балуй, быкуй, бликуй.
(Пророк всегда один — прощаться погоди!
Бессмертная, ликуй: контрольный поцелуй...)

*2012, 21 августа, 1–5 сентября
Барселона — Валенсия — Москва — Ставрополь*

* * *

...сто полных весомых лет —
из моих шестидесяти
с небольшим (пока) хвостиком —
я живу в странном чужом городке,
иногда посылая тебе письма —
на деревню... девушке —
со своими неуклюжими виршами...

(гениальная девочка
успела стать прекрасной девушкой,
а потом — и застенчивой женщиной...)

сто целых прицельных зим —
из твоих сорока
(ещё чуточку неполных) —
ты обитаешь в странной родной деревушке,
иногда отправляя мне письма —

город S, до востребования, поэту S —
со своими дивными стихами...

порой я делаю вид: согласен на переезд,
чтобы целых сто лет и сто зим —
из моих шестидесяти и твоих сорока —
прожить в избушке на берегу Волги.

подчас ты лукаво соглашаешься на перелёт,
чтобы целых сто зим и сто лет —
из твоих (тех самых) и моих (конечно, этих) —
провести в коммуналке с видом на Эльбрус.

однако оба прекрасно помним:
давным-давно, о боги, —
уже битых двести лет! —
мы живём в громадном фамильном замке,
стерегущем изумрудный залив Эгейского моря.

...ах, как хочется нырнуть — поутру —
с обрывистого волжского утёса!

вчера наш дворецкий чинно прошествовал
из твоего восточного крыла в мой северный кабинет
и, церемонно поклонившись, передал записку,
написанную вечным девичьим почерком:
пора, дорогой, — хотя бы раз в новом веке! —
подняться на западную вершину Шат-горы...

2012, 27 сентября

* * *

По форме — сонет, а по сути — роман.
Четырнадцать строк. (Остаётся двенадцать...)
Нелепо страдать, как герой синема.
Смешно рифмовать и грешно повторяться.

Друзья отмолчались за страшной чертой.
Отец отворчал. Отпечалилась мама.
Загвоздка — в загадке закладки простой:
Бессмертие есть — висит программа...

Системные сбои девятой строки.
Десятый апостол. Десятое мая.
Весталки, драконы, быки, ведьмаки,
Закладка в романе Стругацких «Хромая
судьба»... И взрывают зарю петухи,
Сжигая пророчества племени майя.

2013, 17–19 февраля

Задача номер раз, или «Вам возвращая ваш портрет»

Чурилов, капитан, по прозвищу Чудило,
Поклявшийся любовь войною перемочь,
За чаркой вспоминал: «Ах, как она любила —
Майора, а меня дразнила день и ночь...»

Июльский Кисловодск, блаженный, довоенный...
Людмила, медсестра (через полгода — врач).
«Причудина?! Смешна фамилия, мой пленный,
Но верная жена — гарантия удач...»

Причудину устал завидовать Чудило:
«Вёзет тебе, майор! До сладких в Кислом встреч...» —
«Коньяк — на посошок...» — «Что было, то и сплыло...» —
«Задача номер раз — Чудинку уберечь!..»

Лубянка и чужой судьбы паникадило...
«Людмила, Бог — в Кремле!» — воскликнул капитан.
Июль. Сороковой... Ах, как под сердцем ныло...
Чурилов — на крыло! Причудин — в Магадан!..

Аэродром «Кагул*». Добраться до Рейхстага
И фрица запугать, чтоб лютый бес дрожал.
Союзники чуют? Друг промолчал — присяга.
В газете прочитал: «Бомбёжка, взрыв, пожар...»

Свои сто сорок бомб и свой побег из плена
Полковником обмыл седеющий аскет.
Войною превозмочь ознобы предвоенной
Мелодии танго — с рефреном «ваш портрет»...

Чурилов уцелел в аварии под Гродно,
Где рухнул «дуглас-бис», рванувший на Берлин...
Сиделку обозвал змеюкой подколодной,
Хирургу пригрозил: заряжен карабин.

— Достать из-под земли полста «Герцеговины»!
— Семь бед — один ответ, товарищ генерал...
— И ящик коньяка, поскольку именины:
Георгий, Жорка, Джордж «полтинник» разменял!..

Июльский Кисловодск. Блаженный сорок пятый.
От койки до окна — три шага и назад...
Людмила, главный врач: «Опять бузишь, крылатый?!
Покурим, почудим... И не таращь глаза...»

Чурилов, генерал, по прозвищу Чудило,
Причудиной пять лет настойчиво твердил:
— Однажды обними влюблённого дебила!
Майора не вернуть — рассвет, расстрел, распыл...

Июльская Москва. Людмила отчудила:
Жена, а не вдова! Чурилова теперь.

...Причудин под окном! Сигналящий водила...
— Родная, ставь коньяк! Я открываю дверь.

*В 21.00 7 августа 1941-го с аэродрома «Кагул» на острове Эзель поднялась особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 ВВС Балтийского флота под командованием полковника Е. Н. Преображенского, загруженных бомбами ФАБ-100 и листовками. Звеньями командовали капитаны В. А. Гречишников и А. Я. Ефремов, штурманом летел П. И. Хохлов. Полёт проходил над морем на высоте 7.000 метров по маршруту: остров Эзель (Сааремаа) — Свинемюнде — Штеттин — Берлин. Для соблюдения секретности на всём протяжении полёта выход в радиозфир был категорически запрещён...

В 1.30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину... В 4 утра 8 августа, после семичасового полёта, экипажи без потерь вернулись на аэродром...

8 августа немецкое радио передало: «В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации, в количестве 150 самолётов, пытались бомбить нашу столицу... Из прорвавшихся к городу 15 самолётов 9 сбито».

В ответ на это радио Би-би-си связвило: «Германское сообщение о бомбёжке Берлина интересно и загадочно, так как 7-8 августа английская авиация над Берлином не летала».

В сводке Совинформбюро от 8 августа сообщалось, что советская авиация успешно бомбила Берлин. В «Известиях» подчёркивалось: «В результате бомбёжки возникли пожары и наблюдались взрывы. Все наши самолёты вернулись на свои базы без потерь»...

*По материалам Википедии,
2013, 30-31 марта*

Верблюжья колючка

Уподобив верлибр верблюду,
Понимаешь, что точен в главном:
Стих качается соразмерно —
Долго-долго и плавно-плавно
На волнах песчаного моря.
Не спешит — себя уважает,
Караванщика раздражает:
— Дюже медленно — подло дюже
Ты жуёшь колючку верблюжью!

Прозаична еда каравана.
Поэтична луна, и вечен
Силуэт горбача-горемыки.
А верлибр, как верблюд, артистичен.

Но на месте стоять негоже:
Впереди — счастливый оазис,
Позади — печальные дюны...

Если я тебе разонравлюсь,
Засуши случайные рифмы —
Сбереги верблюжьи колючки...

Перед свадьбой любимой внучки
Кровоточит твой безымянный...

2013, 9-10 мая

баллада о признаках, принципах, призраках и... контрапункте

...трое суток гонялся за признаком
дарвинизма. виляя хвостом,
обезьяныш повизгивал: приз — на кон!
вдругорядь покараю перстом.
притомились. уселись под липками —
примирил золотой «Стрижамент».
голосистый обиженно всхлипывал:
комплимент... комитет... клей «Момент»...
конкурент... самозванец замешкался:
континент? компромат? конфискат?
компонент? затерзали насмешками...
помоги контрапункт разыскать!

...в сотый раз, обжигаясь на принципе
гуманизма, пишу письмо
графоману: дружу с кахетинцами —
русской музе полезно винцо...
продолжаю, трезвея от опуса
«Заратустра — золотые уста»:
за полгода облётал полглобуса,
извините — безмерно устал...
ни словечка — о мета-метафорах,
метонимия? вряд ли поймёт
пустобрёх из породы малаховых —
графоман, фанфарон, рифмоплёт.

...в пятой жизни беседую с призраком
коммунизма — над картой европ:
заходите по адресу... iskra-com —
«Капитал» растерзал хронотоп!
вопрошаю: легенды о Ленине?
дальше — Сталин и звёзды отцов?
изотоп изумлённого времени
воскресит сумасшедших тельцов?!
призрак явно обиделся: батенька,
коммунисты навеки с Христом!
рассмеялась буфетчица Катенька:
балаболишь, дедок, о пустом!

...нановек, отрицающий принципы
чаплинизма, основан на лжи.
размечталась кухарка: за принца бы!
президент разболелся: «Анжи»...
а над байками, песнями, сказками
дельтапланит фольклорный Ходжа:
сверхзадача: прожив разномастными,
научиться прекрасных рожать!
согражданки мои, соплеменники,
отсмотрев марсианские сны,
улыбнитесь: поспели пельменики
на ладошках алтайской сосны.

2013, май

Москва — Горно-Алтайск — Усть-Кокса

Петр ЕПИФАНОВ



Петр Епифанов — историк, прозаик, поэт, переводчик. Родился в Сибири в 1963 году. Автор двух книг прозы и ряда публикаций в журналах «Знамя» (Москва), «Звезда», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), «Русская провинция» (Тверь) и др. Издатель и автор альманаха «Крылья голубиные». Занимается исследованием и переводами сочинений французского философа Симоны Вейль (эти переводы публиковались в журналах «Иностранная литература», «Континент», альманахе «Крылья голубиные» и на интернет-сайте simoneweil.ru). В «Иностранной литературе» в переводе Петра Епифанова опубликованы стихи Джузеппе Унгаретти (2011, № 2).

17 июля 2013 в Санкт-Петербурге (Мойка, 8) прошла презентация книги стихотворений итальянской поэтессы Антонии Поцци в переводах Петра Епифанова.

Мысль и образы Петра Епифанова открывают большое, огромное, фресковое пространство. Там мировая культура и отдельно взятая человеческая душа сосуществуют, соседствуют, совместно сияют. Сам человек богатейшей культуры, Епифанов не теряет возможности непосредственного, теплого обращения к близкому, к ближнему: чувство всеобщего родства, сродни шиллеровскому (и бетховенскому!) «Seid umschlungen, Millionen!» — один из векторов и его поэзии, и его прозы. Книга «Луна над улицей Монтеоливьето» — сплав записок русского путешественника по Европе, философских диалогов, авторской исповеди.

Елена Крюкова

ЛУНА НАД УЛИЦЕЙ МОНТЕОЛИВЬЕТО

(Notturmi napoletani)¹

фрагменты книги

*...Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали;
лес несется с темными деревьями и месяцем;
сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане;
с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют.
Дом ли то мой синее вдали?
Мать ли моя сидит перед окном?*

(Гоголь. Записки сумасшедшего)

*Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?*

(Leopardi. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia)²

Песенный зачин

*Vivant omnes virgines,
Faciles, formosae.
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!³*

Строчки из «Гаудеамус» я вспомнил одиноким вечером — на самом деле, порядком уже за полночь. На бутылке «Ламбруско», внизу чёрной этикетки, под названием большими буквами было напечатано: «amabile». И чего же ради оно «amabile»? «Mulieres amabiles» — понятно, «милые женщины». Это по латыни, а по-итальянски будет: «donne amabili». Оказавшийся под рукой словарь пояснил, что «vino amabile» означает не то, что вино — «милое», а что оно всего лишь полусладкое. Может быть, ещё стаканчик этого лёгкого (всего-то семь градусов), пенистого, чуть-чуть кружащего голову напитка? Но уж — нет, брат. Стаканчик за стаканчиком, сначала будто повеселеет, а после третьего только хуже затоскуешь... Выспался после ужина с этим замечательным «Ламбруско», а теперь ночь придется коротать без сна. Посиди, попиши в тишине; за работой голова приходит в порядок, за работой, если увлечешься по-настоящему, и горе не беда. Хлебни чайку, соберись, наконец, с духом и давай-ка, начинай, как задумывал, свои «Notturni napoletani».

Лев Карсавин в голодном и насмерть запуганном Петрограде 1921 года писал свои «Noctes petropolitanae»⁴. Писать о смысле любви под эхо дальней канонады мятежного Кронштадта, среди ночных обысков и расстрелов, это... это как-то очень правильно. Даже лучше сказать — праведно. А ты, к своему стыду, будешь отстукивать на компьютере свои «Notturni» на сытый желудок, в прекрасном далеке от родины, укрывшись от наших затянувшихся морозов, оледенения в экономике и полярной ночи в общественно-политической жизни. И холостая пальба официальной пропаганды делает эту мрачную пору только еще более тягостной. Правда, в Неаполе иногда тоже палят по ночам, вой сирены слышится с улицы каждые эдак минут двадцать, а по вечерам центральные улицы патрулирует бронемашина с пулеметом. Но этот броневик все воспринимают как игрушку. Город беззаботен, город радуется каждому мгновению жизни так, как ты отродясь ей не радовался. Потому что не умеешь, потому что не учили тебя. Не принято у нас в России на трезвую голову радоваться жизни. Ну, уж если оказался здесь, привыкай понемногу.

*Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus...*⁵

За следующим ужином с Лоренцо и Даниэлой предложу им пропеть вместе «Гаудеамус». Неужели питомцы университета, основанного императором Фридрихом Вторым в тринадцатом веке, гуманитарии, не знают старинный гимн всего европейского студенчества? Я-то знаю лишь случайно, в мое время в МГУ никто этой песни не певал, да и не слыхивал. И слова, и напев помню от Андрея Чеславовича Козаржевского (низкий ему поклон и вечная память)⁶. Вот он и его однокашники, студенты-филологи тридцатых, знали. И, как рассказывал Андрей Чеславович, пели компанией, гуляя ночью по улице, в самом что ни на есть 1937 году.

*Vivat et Res publica
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit!*⁷

Воображаю, как хор тогдашнего ИФЛИ8 исполнял средневековый гимн на сцене под большущим портретом Сталина, и дирижер на словах «qui illam regit», во избежание недоразумений, живо поднимал палочку, указывая на лик вождя. И глаза певцов благоговейно устремлялись ввысь...

...Дипломная работа в Италии называется «тези ди лауреа», а выпускник вуза — «лауреато». Увенчанный лаврами. Вот уж скоро друзьям моим подставлять головы под вечнозелёные венки. «Лавры», то есть диплом и вузовский значок, мне не пришлось получать в руки. Знаменательные выпускные дни я провел в психиатрической больнице имени Кащенко, куда был направлен прямо из военкомата... Военная кафедра сочла студента «идеологического» факультета недостойным звания советского офицера по причине морально-политической ненадёжности, отметив это в личной характеристике. Военный комиссариат Октябрьского района Москвы, соответственно, озаботился проверить студента на предмет психической (не)нормальности... На прошлой нашей посиделке я рассказал ребятам об этом эпизоде своей жизни. Поводом явилось то, что Антонелла, предвкушая вечер в компании Джузеппе, покрасневшая как уголь, с горящими глазами, густо подведенными тушью, сказала мне со смехом, закрываясь рукой: «Не смотри на меня, я razzo, сумасшедшая». Я ответил: «Я сам razzo, не хуже тебя. У меня и документ есть». А когда Джузеппе с Антонеллой, радостные, на ночь глядя унеслись куда-то в город, рассказал Лоренцо и Даниэле, при каких обстоятельствах получил звание психически ненормального. Они грустно посмеялись. Но когда Лоренцо через пару дней вспомнил мой рассказ, у него даже плечи вздрогнули. Меня так же передергивает, когда я представляю себе гражданскую войну в Нигерии или допрос в тюрьме Абу-Грейб.

Да, razzo. На этот счет теперь есть и церковное свидетельство. После ухода с церковного служения, после объявления об отказе от монашества и намерении вступить в брак,

теперь — что еще сказать... Когда-то, ради веры во Христа, пошел — не на муки, правда, но на очень большие неприятности. И вот, чуть не в пятьдесят лет, на тебе: поп-расстрига, блудный монах... Легче всего объяснить столь крутые повороты патологическим развитием личности.

У меня нет намерения кого-то эпатировать или, наоборот, интриговать; но это предисловие кажется совсем не лишним. На случай, если меня занесет куда-нибудь уж слишком далеко, надо оставить читателю возможность признать эти заметки записками столоничальника Поприщина, который вообразил, будто он испанский король. Тогда можно будет не принимать написанное всерьез. Я больше пекусь о душевном покое читателя, что называется, воцерковленного, нежели светского. Светский-то подчас расположен с доверием читать даже авторов, окончивших жизнь в помрачении ума.

Поезд Рим — Неаполь

(Trenitalia, regionale⁹. Roma Termini¹⁰ 16.45 — Napoli Centrale 19.24)

Войдя в купе, я увидел на моем месте, у окна, стройную золотоволосую красавицу в облегающих джинсах, по чертам лица явно славянку. Из-под волос виднелись проводки наушников: девушка слушала музыку и в мою сторону не смотрела. Я обратился на итальянском, прося проверить по билету, правильно ли она сидит. — «Что?» — рассеянно переспросила она по-русски, будто спросонок, и тут же, догадавшись, переместилась на другое сиденье. Забрасывая на багажную полку свой чемодан, я был вынужден снова потревожить даму — попросил позволения отодвинуть ее объемистую сумку. Она не расслышала и на этот раз. Ее подруга, сидевшая напротив, такая же высокая, с лицом монгольского типа, сероватым, как бывает у смуглых женщин, которые много курят, сказала с нажимом: «Лариска, уши разуй, сумку убери, человеку чемодан положить некуда». Лариса повиновалась, я поблагодарил обеих, теперь уже по-русски, и уселся, довольный, что смогу расспросить о Неаполе и вообще об опыте жизни в Италии. Подошли и другие пассажиры: между мной и Ларисой сел рослый парень лет двадцати восьми, а рядом с Ларисиной подругой — женщина за пятьдесят, с сыном-юношей, видимо, студентом. Впоследствии в разговоре выяснилось, что парень — сельский, из неаполитанской округи, а мать с сыном — жители Салерно. Вступить в беседу с девушками я решился далеко не сразу. Молча наблюдая за ними в течение первого часа пути, выделил для себя некоторые детали. Во-первых, глаза. Глаза ни у той, ни у другой не были пустыми или недобрыми, они вполне располагали к общению, но при этом смотрели как-то жестковато, с холодной трезвостью. Ни иллюзий, ни романтики, ни той беззащитной доверчивости, которая так нас пленяет порой в женском взгляде. Затем, странное немногословие. Обычные женщины живо обсуждали бы мужчин, детей, подруг, знакомых, домашние дела, покупки. Здесь — ничего подобного. В разговоре между собой мои спутницы обходились обрывочными и почти ничего не значащими фразами вполголоса, зато обменивались долгими выразительными взглядами. Было видно, что понимают они друг друга и без слов, а вот чтобы их слышали и понимали другие, совсем не обязательно.

Когда мы, наконец, заговорили, я отметил про себя, насколько мои собеседницы осторожны в словах и оценках. Поделился с ними своей неудачей. Вчера в телефонном бутике рядом с вокзалом торговцы-индусы продали мне сим-карту, сказав, что срок ее действия начинается со следующего дня. Положив на счет десять евро, дождался утра, звоню, соединения не происходит. Голос оператора говорит так быстро, что я ничего не успеваю понять. Мне срочно надо договориться о ночлеге с хозяином квартиры в Неаполе. Что делать? Девушки приняли живое участие в моей беде, пытаюсь узнать, какова реальная сумма на счете, не заблокирована ли карта, и что-то еще. Карта оказалась не заблокирована, но баланс был почему-то отрицательным. Обсуждая ситуацию, они ни единожды не обронили фразу типа «ах, эти индусы». Они категорически не задевали национальность или религию, выражаясь всегда так: «эти люди, там, где вы купили карту», «в тех местах, где продают такие карты», «у таких людей лучше никогда ничего не покупать». Чувствовалось, что мои попутчицы прошли серьезную школу и на практике знают, что за всякое слово надо отвечать. Конечно, я был для них таким же объектом наблюдения, как и они для меня. Меня тоже исподволь рассматривали и изучали. Лариса, как я и предполагал, оказалась украинкой, а Айнагуль родом из Казахстана. В Италии они уже девятый год, живут в пригороде Флоренции, в Неаполь едут на десять дней. К кому, зачем, я не спрашивал, а попутчицы не горели желанием рассказывать.

Зато Айнагуль не без удовольствия говорила о повадках и привычках жителей той или иной части Италии, о сюрпризах, которые могут поджидать неопытного иностранца на Юге. Первое правило поведения в Неаполе, которое она мне предложила, гласит: «Не стесняйтесь с любыми вопросами обращаться к полицейскому. Если вы разговариваете на улице с кем-то незнакомым, хорошо, чтобы где-нибудь поблизости стоял человек в форме. Тогда меньше вероятности, что вас обманут. А главное, сами всегда будьте начеку».

Более активная и общительная, Айнагуль задавала тон в нашей беседе. Было видно, что среди двух она — на правах старшей. Она прямо спросила, не священник ли я. Я подтвердил. Как можно было ожидать, сразу последовал вопрос, уверен ли я, что все, кроме православных, пойдут в ад. Я ответил, что так не думаю. Говоря о последнем суде, Христос обещает воздаяние каждому из нас в зависимости от того, насколько милосердны были мы к людям, которые нуждались в нашей помощи или сочувствии¹¹. Правда, есть в Евангелиях и другие места, где Христос грозит вечным осуждением тем, кто не уверует в Него¹². Но тут не видится противоречия. Ибо понятно, что одно дело — не уверовать в Него, когда Он здесь, рядом, творит дела правды и святости, когда ты смотришь Ему в глаза и слышишь Его слово. Или когда имеешь возможность увидеть и услышать Христа в лице тех, кто подобны Ему животворящей деятельной любовью. И другое дело — не уверовать, потому что никогда не слышал о Нем, или слышал превратно. Когда вместо Его самого и Его верных друзей ты встретил лживых и корыстных людей, назвавшихся Его служителями... Бог справедлив, и я уверен, что судить Он нас будет только за те дела, которые были в нашей власти. А религия далеко не всегда и не для всех является делом сознательного выбора.

Из греховных дел Айнагуль выбрала для обсуждения два. — «Скажите, курить — грех ведь, да?» Я отметил про себя: внутренний голос подсказывает простой женщине, достаточно далекой от религии, что курение дело плохое. Несмотря на то, что целая армия курящих богословов, священников, пасторов, проповедников уж не первый век объявляет его «нравственно-безразличным» деянием — не хорошим, но и злом в себе не содержащим. Я ответил Айнагуль: «Грех, это когда человек делает что-то не по Божьей воле. Ко-

нечно, нет воли Божьей на то, чтобы вы отравляли дыхание себе и окружающим». — «А вот матом я ругаюсь? В Италии что-то вообще распустилась. Думаю, они не понимают, и шпарю прямо на улице». — «Ничего ты не думаешь. Ты просто не замечаешь. Тебе даже говорить бесполезно», — вставила слово Лариса, вынув из ушей проводки. — «Вот видите, какая я плохая, — сказала Айнагуль, улыбаясь, и в глазах её блеснула искорка. — Меня точно не простят. Я же по профессии воспитатель детского сада. Дома, в Павлодаре, племянники уже в школу ходят. А я и при них шпарю, когда бываю там. Они мне замечания делают: «Ты что, тетя? Такие плохие слова разве можно говорить?» — «Ладно, молчи уж. Если бы только это». — Лариса грустно, без всякого юмора, посмотрела на подругу. — «Молчу. Пусть богослужитель скажет. Ведь правда, плохо мне там будет?»

Вместо ответа я рассказал попутчицам одну историю.

*История жизни и смерти Ани
из поселка Красный Текстильщик
и размышление о грешнице,
помазавшей миром ноги христовы*

«Знаю я только одно, что суд всем нам будет не по человеческим меркам. И не столько по тем делам, что у всех на виду, а по тому, чем наше сердце живет.

В том поселке, где я двадцать лет прослужил в храме, жила девушка Аня. Родители Ани произвели ее на свет немолодыми, за сорок, когда умерла первая их дочка, подросток двенадцати лет. Они тогда уже сильно пили. Аня не видела счастливого детства, не знала ни материнской ласки, ни отцовской заботы. Пряталась, бывало, от пьяных и буйных родителей по курятникам. В пятнадцать лет влюбилась в парня, который ее развратил и приучил пить водку. После того, как он бросил Аню, девушка быстро опустилась. От природы она была скромной, стеснительной и добродушной, но при этом совершенно не имела силы воли. Лет семнадцати она была самой известной блудницей в нашем поселке, готовой на все что угодно ради стакана водки. Желаящие всегда находились — не только воспользоваться ее телом, но при этом еще и унижить. Ища денег, чтобы опохмелиться, Аня стала воровать. Особенно страдала ее тетка-старуха, старшая сестра отца. В Анином детстве тетка часто укрывала ее у себя во время родительских дебошей. Но теперь племянница доставила ей немало скорби. У Ани, в ее пьяных и блудных подвигах, была подруга — Ирка, лет на пять ее моложе. Крепкая, волевая, хладнокровно-жестокая, Ирка направляла и использовала Аню в своих целях, а потом, если надо было отвечать, подставляла вместо себя. Вместе они или крали, или отнимали у тетки ее пенсию, а бывало, что и били.

Когда я познакомился с Аней, она была глубоко падшим человеком. Сейчас было бы долго рассказывать, как это вышло, но я имел случай заметить, что за той Аниной жизнью, которую видели все, скрывалась, как я уже говорил, чистая и добрая душа. Она, например, была реально способна поделиться с человеком последним, — едой, деньгами или одеждой, — не думая о себе. А еще у нее было такое живое, искреннее чувство близости Бога, какого я больше никогда ни у кого не встречал. Она не просто верила, что Бог есть, что Он благ, всемогущ и так далее, но испытывала к Нему любовь такого рода, будто видела Его и осязала. Понятно, что это присутствовало в ней лишь в недолгие пе-

риоды просветлений. Поделиться этим своим опытом ей было не с кем, в поселке знал только я один.

Потом в Аниной жизни были несколько лет, когда она бросила пить, стала прилежно молиться, ходить в храм, даже пела в хоре. Вышла замуж. Муж оказался наркоманом и умер от передозировки, проживши с ней меньше года. Ребенок родился уже после его смерти. Когда мальчику исполнилось два года, Аня снова сорвалась на пьянку и блуд, теперь уже до самого конца. Кроме ее слабости и непривычки трудиться, сыграли свою роль и отношения со свекровью. Свекровь безумно ревновала к ней сына, а после его смерти стала ревновать внука. Когда Аня делала слабые попытки вырваться из своей беды, свекровь умело ее провоцировала и подталкивала в грязь, а потом жаловалась перед всеми встречными и поперечными на горькую долю. После смерти Ани она воспитывает ее ребенка, и это, пожалуй, единственная радость ее жизни.

А смерть Анина приключилась вот как. Аня с Ирккой и несколько других таких же несчастных пили вместе в одном доме. Потом все заснуло, но Ирка проснулась среди ночи и стала искать припрятанную с вечера бутылку самогона, чтобы выпить без товарищей. Не нашла. Разбудила Аню, говорит: «Признавайся, это ты спрятала». Та отвечает: «Не я». — «Ах, не ты? Сейчас узнаем, ты или не ты». Она потащила Аню к газовой плите, зажгла горелки, сняв с них колпачки, сорвала с Ани кофту и положила ее грудью на огонь. Сожгла левую грудь до ребер. Опалила живот. Потом засунула в огонь Анину руку — два пальца обуглились как головешки. Я не могу сказать, как Аня все это выдержала и почему не пыталась сопротивляться. Подруга имела над ней какую-то магическую власть. Окончив пытки, Ирка велела Ане одеться и сказала, что убьет, если она проболтается. Через несколько дней в ранах завелись черви. Аня потеряла сознание на улице; был конец ноября, уже лежал снег. Подобрали, отвезли в больницу. В палате были плохо утеплены окна, постоянно сквозило. Ей подлечили ожоги, но никто не думал лечить от начавшейся двусторонней пневмонии. Аня кашляла в подушку, терпела молча, не прося о помощи. В нашей районной больнице дожидаться помощи бывает трудно даже, что называется, приличному человеку. Что уж говорить об Ане, которая по своему образу жизни не вызывала у окружающих большого сочувствия. Она его и не ждала. У нее с детства был испытанный способ справляться со страданиями: крепко закусить зубами угол простыни, чтобы не кричать.

О смерти Ани мне сказала спустя восемь дней сама ее мучительница (всё это время некому было забрать из морга ее тело), а я сообщил свекрови. Хоронили на десятый день. При отпевании меня поразило лицо Ани — удивительно чистое и светлое, совершенно живое. Я никогда не видел ее такой красивой. Решил сделать несколько фотографий, чтобы оставить для ее сына. Пытался раз пятнадцать, но все до одного снимки оказались засвечены. Сплошной пучок белых лучей. Так бывает, если направить объектив прямо на солнце в жаркий полдень. Или на яркую лампу вблизи. Все фотографии, на которых были сняты другие люди, вышли как обычно. Объяснения этому факту я не могу найти. Только верю, что Аня прощена в своих грехах и сподоблена большой радости у Бога. Один Бог вполне знает сердце человека, и только Его суд справедлив».

Айнагуль и Лариса за время моего рассказа ни разу не пошевелились и не промолвили ни слова. Первой отозвалась мама студента из Салерно. Она устала сидеть молча. — «Как жаль, что я не знаю русский. Вы рассказывали что-то molto emozionante¹³. Я смотрела на девушек и слушала вместе с ними, но ничего не могла понять». — «Ну, конечно, ваша Аня заживо весь ад прошла, — выдохнула Айнагуль. — Вот Бог ее и простил. Слушайте, на всякий случай дайте ваш номер, я запишу себе. Мало ли что, позвонить иногда друг дру-

гу, поддержать, что-нибудь хорошее сказать. И вообще, приезжайте к нам в Тоскану, на что вам сдался этот Наполи? Климат, говорите? Да у нас еще лучше, вы здесь просто еще летом не жарились. Экологию так и сравнивать нечего: мы мусор не жжем тоннами у себя под носом, как эти наполоетанцы. Чисто, порядок кругом, люди хорошие, уважительные. Разговаривают на нормальном итальянском языке, не то что жаргон тут ихний».

Будто услышав, что речь коснулась телефонных дел, проснулся мобильник в кармане куртки нашего соседа-крестьянина. (Парень вышел покурить полчаса назад и всё не возвращался.) Взыграла мелодия какого-то мексиканского танца, приправленная грохотом кастаньет. Услышав этот отчаянный мотив, никто из нас не мог сдержать улыбку. За одним звонком последовал другой, третий, еще, еще... Мобильник прыгал в кармане, как мышь. Мексиканское лихо взрывалось своими кастаньетами каждые две минуты. Наконец, Айнагуль не выдержала и пошла искать парня. В соседнем вагоне, вместе с компанией земляков, он смотрел футбольный матч на экране чьего-то ноутбука. Посмотрел на телефон, широко улыбнулся. — «Вишь, фиданцата¹⁴ как ищет его, ревнует видать, — засмеялись девчата. — Что, контролирует тебя, как бы с другой не загулял?» Парень, набрав номер, крикнул пару коротких фраз на неаполитанском диалекте. Пояснил нам: «Всё в порядке. Это моя Пинучча». Положил телефон обратно и отправился досматривать чемпионат. — «Что такое пинучча?» — спросил я у девушек. — «Пинучча — Джузеппина, значит. Джузеппиночка. Подруга его, — пояснила Лариса и прокомментировала: — Вот вы какие, мужчины. Не выключает мобильник: мол, «я на связи», и с собой не берет, чтоб от важного дела не отрывала». Как бы соглашаясь с ее словами, в разговор вмешался другой телефон, из другого кармана той же куртки, с новой развеселой мелодией. Полный беззаботного оптимизма наигрыш скрипки под ритмичные удары тамбурина был словно музыкальным портретом нашего соседа. Все опять рассмеялись. Айнагуль даже в ладоши хлопала. — «У него, наверное, для каждой девчонки свой мобильник предусмотрен. Сколько их всего, интересно...» Так я впервые услышал знаменитую неаполитанскую тарантеллу.

Раз уж вспомнилась мне та старая история... Я ее, собственно, никогда не забываю; все это прошло через годы моей собственной судьбы, как тут позабудешь. Словом, раз уж зашла речь, стоит отвлечься от дорожных обстоятельств и задуматься, почему именно моему сердцу так верится в спасение Ани? Только потому, что «здесь отмучилась»? Я вообще против мысли, что за свои грехи надо обязательно отмучиться здесь или там. Не думаю, что безмерные страдания, которые Ане пришлось пережить в последний месяц ее жизни, были необходимы для ее спасения. Могла Божья благодать и без этого ее очистить. Почему попустил Господь так жестоко ее истязать? Зачем Он попускает Ирке делать то, что она делает: влезая ночами в дома одиноких старух, отнимать последние деньги, грозя задушить или сжечь? Вероятно, что и случай с Аней был для Ирки не единственным опытом в этом роде; ничего, она жива, на свободе, и пользуется отменным здоровьем. Зачем? Лучше оставить эти вопросы тайной. Как, наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни, и я, бывает, сжимая кулаки в бессильном гневе, кричу Богу: «Зачем?» Ответа нет. Ответ есть. Но об этом когда-нибудь в другой раз. Оставив Ирку и ей подобных, я хочу осмыслить, как — по несомненному убеждению моего сердца — взошла к Богу и была прощена Аня.

Снова и снова мне вспоминается в Евангелии то место, которое, совершая литургию, я никогда не мог читать без слез:

«Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи»¹⁵.

«Прощаются грехи ее многие, ибо она возлюбила много. А кому мало прощается, мало любит». (Так в греческом. В славянском тексте, как и в латинском, стоит: «меньше любит».) Если слова беседы переданы евангелистом совершенно точно, в них присутствует явно не «линейная» логика морали. Я не вижу оснований полагать, что Христос хочет возвысить покаявшихся тяжких грешников над теми, кто смолоду старался жить честной жизнью. Разве не случалось с каждым из нас, что тот, кому мы сделали много добра, оказывался неблагодарным, а другой, кому помогли совершенно незначительным делом, о чем и сами давно забыли, с признательностью помнит это добро до сих пор? Логика Симона прямолинейно-прагматична; для него она вполне последовательна, и именно это подтверждает Христос: «Правильно ты рассудил». Но Его собственная логика — иная. Женщина возлюбила Его не за то, что Он уже простил ей грехи. Она обливала слезами ноги Христа, ни о чем Его не прося, когда еще ни слова от Него не услышала. Бросилась к Его ногам без всякой корысти, может быть, даже вообще не думая о прощении, а потому что внезапно ощутила в себе силу и высокое, чистое достоинство любви. В этот момент она чувствовала себя свободной от греха, осознавала себя вправе сделать то, что сделала. Христос, без сомнения, знал, что дало женщине такую смелость. Его слова о ней можно понять совсем по-другому, чем выходило бы по механической логике Симона. Вот что они означают: «Смотри. Вот эта женщина — грешница. Но она способна по-настоящему сильно любить. И будет прощена. А ты — Христос указывает на собеседника, не называя по имени, — да, ты не совершил столько грехов, сколько она. Но в тебе нет такой любви».

Акцент здесь не на раскаянии в грехах. Речь идет именно об открытости для любви всем своим естеством. Это эротический порыв женщины к идеальному образу мужчины — как своему отражению, своему данному от Бога соответствию. Здесь, не разделяясь на отдельные потоки сознания, в единой эмоции собрано всё — любовь к Богу, к его миру, ко всему доброму и прекрасному в человеке, любовь к мужчине, да, да, к истинному мужчине; на этот раз — не к тем, кого ей пришлось встретить в прежней жизни, а к Мужчине во всей его благородной красоте и силе духа — такому, как его замыслил Бог. В этот момент она сохраняет все свойственные ей как женщине эмоции и переживания. Но еще

и становится подлинной Женщиной, какова она в Божьем замысле. Как бы дорастает до Христа. Да, мы действительно видим подобие брачного сочетания. Общеизвестно, сколь велика чувственная сила, передающаяся через женские волосы. Перед нами, вне всякого сомнения, акт эротический. В нем происходит приобщение к любви как всеобщему божественному принципу. О том Господь и говорит: «возлюбила много». А иные думают, что речь идет о покаянии, воздаянии и прочем.

Художники и поэты вернее поняли, в чем тут дело. Первое, что приходит на память русскому читателю, это, конечно, «Магдалина» Пастернака.

*...Но объясни, что значит грех
И смерть и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной...*

Или во втором его изумительном стихотворении на ту же тему:

*...Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.*

*Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус...*

Это еще все обычное, земное. А вот как происходит возрастание, богоуподобление — вероятно, то самое, о чем возгорится сердце апостола Павла, когда он будет призывать братьев по вере достигнуть «в мужа совершенного, в меру возраста полноты Христа»¹⁶. Блудница оказывается Божией невестой, становясь в одну меру со своим восходящим на крест Женихом.

*...Брошусь на землю у ног распятого,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.*

*Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?*

*Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.*

Непосредственным образцом для Пастернака, который он, на мой взгляд, далеко превзошел, явилось стихотворение Рильке «Pietà». В свою очередь, Рильке продолжил богатую традицию истолкования образа Магдалины в религиозном искусстве и литературе Европы. Предание Западной Церкви, как известно, считает, что именно Магдалина была той грешницей, что помазала ноги Господа миром и отерла своими волосами. По-человечески Запад лучше нас ощутил, хоть и не высказал открыто, что двигало этими грешницами, бросавшимися к ногам Иисуса. Как бы ни были безобразны их падения, эти «истерички» были куда более одаренными личностями, чем многие «нормальные» супруги. Духовная и чувственная одаренность живут рядом, подчас не догадываясь о своем соседстве. Надеюсь встретить когда-то, среди многих мужчин, — единственного, а может быть, видя в них — его одного, они предчувствовали, предуглавали ту святую любовь, которая есть суть бытия. О чем, как мне представляется, и говорит Христос. Ибо и сам Он — как человек — был движим этой любовью, а как Бог — одухотворяет ею созданный Им мир.

А хотите, прочту вам еще о том же самом? Сейчас, если вы христианин, вы, вероятно, скажете, что я окончательно спятил. Итак, Альбер Камю. «Бракосочетание в Типаса».

«...Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо. Мы идем навстречу любви и желанию. Мы не ищем поучений, проникнутых горькой философией, которых обычно ждут от всего величественного. Все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым. Что до меня, я не стремлюсь бывать здесь в одиночестве. Часто я приезжал сюда с теми, кого любил, и я читал в их чертах светлую улыбку, которой здесь озаряется лик любви. (...) Здесь я понимаю, что такое избранничество: это право безмерно любить. Есть лишь одна любовь в этом мире. Сжимать в объятиях тело женщины — то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба нисходит к морю. Сейчас я брошусь наземь и, валяясь по полыни, чтобы пропитаться ее запахом, буду сознавать, что поступаю согласно истинной природе вещей, в силу которой солнце светит, а я когда-нибудь умру. В известном смысле здесь я ставлю на карту свою жизнь, жизнь, согретую теплом, которое излучают камни, полную вздохов моря и стрекота цикад, которые заводят теперь свою песнь. Свежий ветерок, синее небо. Я самозабвенно люблю эту жизнь и хочу безудержно говорить о ней: она внушает мне гордость за мою судьбу — судьбу человека. Однако мне не раз говорили: тут нечем гордиться. Нет, есть чем: этим солнцем, этим морем, моим сердцем, прыгающим от молодости, моим солоноватым телом и необъятным простором, где в желтых и синих тонах пейзажа сочетаются нежность и величие. Завоевать все это — вот на что я должен употребить все мои силы и средства. Здесь ничто не мешает мне оставаться самим собой, я ни от чего не отрекаюсь и не надеваю никакой маски: мне достаточно терпеливо учиться жить. Это трудная наука, но она стоит всех формул житейской мудрости».

Да, я считаю, что оба — и евангельская грешница, без слов целуя и обливая слезами ноги Христа, и писатель-атеист — чувствуют одно и то же. И Христос знает, что живет в этот момент в сердце, в душе, в теле — у одной и у другого. Знает лучше их самих. И, про-

стите мне очередную дерзость, думаю, что «во оный день» Он скажет рабу своему Альберу, как той женщине: «Отпускаются грехи его многие, ибо он возлюбил много».

А повеса Пушкин! Да, и его «Я вас любил; любовь еще, быть может...», «Печаль моя полна тобою», «Я помню чудное мгновенье...» — и они возвещают любовь, пронизывающую мироздание, эту «странную радость, которая с неба нисходит к морю». Как мы знаем, предсмертная исповедь Пушкина умилила священника своей детской искренностью, раскрыв целомудрие и красоту его души. И, услышав слова милости и прощения, поэт будет возлежать на пиру в украшенном чертоге Христовом среди Его друзей.

Вот и в несчастной Ане, блуднице-пьяничке из серого фабричного поселка, эта любовь жила. Поэтому верю, что слова Христовы и она услышит.

* * *

...На вокзале моих девушек встретил крупный пожилой дядька с густой седой гривой и массивным подбородком. Его лицо выглядело простовато-деревенским, но в движениях можно было ощутить властную уверенность и силу. С ним расцеловались в обе щеки, как водится у итальянцев между друзьями. Дядьку сопровождал смуглый шкафообразный парень, азиат незнакомого мне расового типа, с кулаками, которые были лишь чуточку поменьше, чем его непропорционально маленькая головка. Паренек переминался с ноги на ногу в дешевых китайских кроссовках, глазки весело поблескивали, не выражая никакой мысли. Его не удостоили приветствия, да он и сам держался в сторонке, не раскрывая рта.

Дядька предложил девушкам садиться в машину, но Айнагуль заявила, что поедет только когда поможет земляку активировать сим-карту. Она побежала со мной в какой-то киоск, чтобы положить деньги на мой счет и заставить наконец-то телефон работать. Ничего не вышло. «Симка» проглотила и ее десять евро (Айнагуль сама внесла их вместо меня), и опять баланс был отрицательным. Карта оказалась специально приспособленной для воровства денег у клиента. Да, миленькую свинку мне подложили, выражаясь языком Айнагуль, добрые люди с вокзала Термини. Стало неловко, что она тратит на меня столько лишнего времени; к тому же я догадывался, что за публика эти встречающие... Род занятий девушек тоже был теперь вполне понятен. Наконец, прибежала обеспокоенная Лариса и, не глядя на меня, что-то зашептала на ухо подруге. Айнагуль сказала: «Извините, больше нас ждать не могут. Но вы не бойтесь, Бог вам помогает. Свет не без добрых людей. Они везде встречаются, и здесь тоже. Удачи!» На прощанье она улыбнулась, сверкнув глазами; ее некрасивое лицо на миг расцвело. Я вздохнул невольно. У меня до сих пор хранится номер ее телефона.

Первые впечатления, первые друзья

Призвав в помощь молитвы всех, кто любит меня, вывез свой чемодан на площадь Гарибальди. Было уже темно, начало девятого. Город с первых шагов обдал меня сутолокой, шумом, смесью выхлопных газов и вони горящего где-то мусора... Колесики чемо-

дана грохотали по грубо отесанным плитам мостовой. Я шел по тротуарам корсо Умберто Примо, пробираясь через плотную массу торгующих, покупающих, гуляющих. С первого взгляда можно было подумать, что улица — это и есть самая душа города, его коллективный очаг. Иначе, зачем столько мужских компаний пасмурным зимним вечером собралось на узком тротуаре вокруг угольных жаровен с каштанами. Прохожие еле пробиваются сквозь них со своими сумками, колясками, но стоящие не видят в этом никакого неудобства. Их абсолютно не волнует сплошной поток автомобилей, бесконечная переключка клаксонов, перемежаемая сиренами полиции и «скорой помощи». Они увлеченно болтают между собой — то по-итальянски с шипящим южным акцентом, то на неаполитанском наречии, в котором слух свежего человека, вроде меня, вообще не в силах различить признаков итальянского...

С немалым трудом (как потом выяснилось, дав большой крюк) нашел дом, где заказана была комната для ночлега. Хозяин отсутствовал, во всяком случае, на сигнал домофона не откликался, связаться с ним по мобильнику тоже не было возможности. Оставалось искать гостиницу. Поднимаясь по виа Монтеоливьето, вышел на площадь с несколькими массивными церковными зданиями, в центре которой высилась украшенная мраморной резьбой колонна со статуей Богородицы. (Потом я узнал, что место называется пьяцца Джезу — площадь Иисуса.) Встав посреди площади, поклонился перед колонной, моля милосердную Матерь, Царицу Небесную, не оставить меня без помощи. Компания молодых парней и девушек, сидевших у подножия колонны, замахала руками, прокричав что-то непонятное, шутовское, скорее всего, о моей бороде. Я приветствовал их жестом Фиделя Кастро и направился дальше наугад, в один из прилегающих переулков. Вокруг не было видно ничего похожего на гостиницу.

Передо мной, метрах в пяти, шла пара — юноша и девушка; как и я, они везли за собой чемодан на колесиках. Я подумал, что это, вероятно, студенты, которые возвращаются на учебу из родительского дома, откуда-нибудь из ближней округи. Оба наших чемодана дуэтом стучали по мостовой, и эхо звучно отдавалось в арках ворот и сводчатых окнах. Наконец, девушка оглянулась на меня и что-то сказала парню. Они остановились и спросили меня, откуда я приехал и куда иду. Я ответил. — «Самая ближняя гостиница как раз на улице, где мы живем, — сказал парень. — Хочешь, проводим тебя туда?» Я с радостью последовал за ними. Мы пересекли следующую площадь — пьяцца Данте, со статуей поэта — и через несколько минут стояли уже в приемном холле гостиницы «Коррера». Цена оказалась высокой — пятьдесят евро в сутки, но от усталости искать ничего другого не хотелось. Ребята зашли вместе со мной в номер. Он оказался удивительно хорош. Впрочем, после уличных впечатлений у меня могло вызвать восторг самое скромное жилье, лишь бы в нем было тихо. Новых знакомых звали Лоренцо и Даниэла, он — студент философского факультета, она — филолог; живут неподалеку от Неаполя и учатся здесь в университете «Федерико Секондо», снимая комнату в квартире.

Так началась моя дружба с этой симпатичной парой. Во все время пребывания в Неаполе Лоренцо и Даниэла были моими частыми и теплыми собеседниками.

Скрипки и ослы. Неаполь в картинках Аполлона Майкова

С человеком, о котором я сейчас расскажу, каждый из нас знаком с первого класса школы. Я говорю от лица своих сверстников — нынешних 40-50-летних, а до нас с ним встречались наши родители, учившиеся в сороковые годы, а еще раньше, при Николае Втором, — наши дедушки и бабушки... Аполлон Николаевич Майков, неприменный персонаж любой детской хрестоматии, один из тех, кто встречает нас у самого входа в русскую словесность:

*Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.*

*Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон — даль голубая видна...*

История неаполитанского путешествия Майкова интересна с начала и до конца.

В 1850-е годы в военно-морском министерстве, которое возглавлял великий князь Константин Николаевич (второй сын Николая I), разрабатывались планы коренного преобразования русского флота. Начало было положено одновременно с Крымской войной. По мысли молодого великого князя, чьими наставниками детства были флотоводец адмирал Литке и поэт Жуковский, наряду с техническим перевооружением, перед Россией стояла более масштабная задача: воспитать современную породу моряка, в которой сочетались бы профессионализм, ответственность и широкий кругозор. В этих целях были снаряжены экспедиции в разные части Империи, а также далеко за ее пределы, с участием видных ученых и литераторов, которым давались разнообразные творческие задания — в частности, изучение местностей и народов, особенно тех, чья жизнь была связана с морем, живое, правдивое и, в то же время, возвышенное описание морской службы. По мысли великого князя, и сами факты экспедиций, и последующие журнальные и книжные публикации должны были поднять престиж военно-морского флота как в стране, так и за ее пределами. В ходе первой из таких экспедиций (она была кругосветной) Иван Гончаров написал свою известную книгу «Фрегат «Паллада»» (1852-55). Плавание вокруг Европы на корабле «Ретвизан» (1858-59) стало темой очерков Дмитрия Григоровича. Участниками экспедиций внутри России были наш прославленный драматург Островский, очеркист и этнограф Максимов... Называю лишь наиболее яркие и поныне хорошо известные имена.

В 1858 году, обогнув Европу, в Средиземное море вошел русский корвет «Баян»¹⁷, державший курс на Ионические острова. Он должен был продемонстрировать моральную поддержку населению архипелага, которое в то время добивалось независимости от Англии. Среди участников экспедиции находился сотрудник Комитета по иностранной цензуре, тридцатисемилетний стихотворец Аполлон Майков, откомандированный для того, чтобы поэтически воспеть освободительный порыв единоверных греков. По отзывам друзей и знакомых, сохранившимся в переписке, Майков не без труда решился принять предложение министерства. Теперь не совсем понятно, то омрачало в его глазах идею,

казалось бы, столь интересного путешествия за казенные деньги. Чуть позже я выскажу некоторые мысли на этот счет.

По какой-то причине корвет «Баян» изменил свой маршрут и на Ионические острова не пошел. В конце пятидесятых годов, после нескольких лет вооруженной борьбы с повстанцами, английское правительство согласилось на постепенную передачу островов Греции. Возможно, наши дипломатические службы порекомендовали правительству отказаться от посылки военного корабля в зону, где наметились перспективы мирного решения проблемы. После недавнего поражения в Крымской войне раздражать Англию непрошеным визитом в зону ее влияния было совершенно ни к чему. С другой стороны, всё более разгоралась война в Италии. Здесь Англия и Россия имели общий интерес: обе стремились к уничтожению австрийского влияния в этой стране. После неудачи пьемонтцев в борьбе с австрийцами на Севере, в Ломбардии, ожидалось, что ареной активных военных действий станет Юг — территория Королевства Обеих Сицилий. Прежде, при Николае Первом и еще ранее, при Александре, петербургский и неаполитанский дворы были связаны узами дружбы. Тогда невозможно было вообразить, что Россия оставит неаполитанских Бурбонов без помощи в трудных обстоятельствах. После Крымской войны всё резко изменилось. Правительство Александра Второго не могло, или и не хотело сопротивляться итальянской политике Англии и Франции. С самого момента, когда отряды Гарибальди, вооруженные на английские деньги, высадились в Сицилии, мало кто сомневался в его успехе. Фактически, одно из государств Италии — Пьемонт, под властью Савойской династии, — вело руками Гарибальди необъявленную захватническую войну против другого суверенного королевства. Заинтересованные в победе пьемонтцев, великие державы выставили перед мировым общественным мнением этот захват как народную (но в то же время добропорядочно-монархическую!) революцию во имя освобождения Италии, ее единства и прогресса. Говоря о будущей независимости объединенной страны, совместными усилиями они уничтожали совершенно независимое и, в то же время, самое большое, многонаселенное, богатое и экономически устойчивое из итальянских государств. Королевство Обеих Сицилий было лишено международной поддержки, изолировано и — обречено.

Незадолго до начала войны русский корвет зашел в порт Неаполя и оставался там целый год. В архивах царского двора и министерств могут храниться какие-то документы, проливающие свет на эту историю. С учетом средиземноморской геополитической ситуации наиболее естественно предположить, что прибытие «Баяна» имело целью разведку или, выражаясь поизящнее, сбор важной информации военного и политического характера. Конечно, и чиновник Майков имел от военно-морского начальства не только литературные поручения.

Поэту не пришлось ездить по Кампании. Это могло бы показаться странным, ибо всякий русский путешественник XIX века считал непрямым долгом — забраться на Везувий, исходить все закоулки Помпей, посетить пляжи Сорренто и развалины Пестума, влюбившись по пути в случайно встреченную красавицу... Вместо всего этого, Майков целый год просидел в Неаполе, разгоняя скуку в ресторанах и на светских гуляньях, комментируя в юмористических стихах чужие романы и влюбленности, — в общем, занимаясь отчаянными пустяками. Плодом поездки явился цикл под названием «Неаполитанский альбом», напечатанный в 1862 году в журнале «Отечественные записки». «Альбом» посвящен некой мисс Мэри, молодой англичанке, за настроениями, занятиями, чувствами которой поэт наблюдает со стороны с горячей симпатией. Судя по всему, Мэри с ее отцом

жили в той же гостинице, где и Майков, и посещали те же рестораны для состоятельной публики. По форме стихи откровенно небрежны, похожи не на серьезную литературу, а на экспромты для компании друзей. В самом ли деле Майков писал для мисс Мэри (которая, конечно, не знала по-русски), или посвящение ей было чисто литературным приемом? Второе куда вероятнее. Почему поэт избрал в «альбоме» странную роль «третьего лишнего»? Подозреваю, что стихи, такие, как они вышли, явились побочным продуктом командировки, а настоящей задачей, которую начальство поставило перед чиновником цензурного комитета, было изучение настроений в столице королевства и слежка за примечательными иностранцами — например, за отцом мисс Мэри, которому в альбоме уделено немало места... Малоприятная обязанность «фискалить», унижительная для родовитого дворянина, и могла быть причиной досады Майкова¹⁸.

В рукописях поэта сохранился эскиз шутивного вступления к «альбому», которое никогда не было напечатано.

*(...) Точно кто меня спросит: давай, что принес ты, голубчик?
Даже страшно и совестно (...)
Что ж с собой принесу? Ни полезных советов,
Ни идей для дальнейшего хода прогресса в России,
Ни правительству важных каких указаний...¹⁹*

Да, Россия, оставаясь абсолютной монархией, смотрела отныне в сторону прогресса. В русских церквях продолжали возглашать анафему Стеньке Разину и Пугачеву, однако, в угоду Англии, итальянского Стеньку Разина, заочно приговоренного к смерти за пиратство и разбой в Южной Америке, было принято хвалить, величая «народным вождем», чем и занимались журналы прогрессивного направления, как те же «Отечественные записки». Майков, наблюдая ситуацию вблизи, не особенно обольщался на этот счет. Несколько бравурных фраз о Гарибальди вставлены в стихи принужденно, без всякого внутреннего сочувствия²⁰. А в целом «Альбом» демонстрирует отстраненность от политического пафоса, озорство и иронию, казалось бы, мало подходящую для торжественного момента «освободительной» войны.

Впрочем, кроме «Неаполитанского альбома», Майков привез «Новогреческие песни» — цикл стилизаций на песни клефтов, греческих партизан. Весь фольклорный материал был собран по книгам: ведь живая встреча поэта с Ионическими островами так и не состоялась. Министерство было не вполне довольное его творениями²¹: по уровню они далеко отстояли от очерков уже упомянутых Гончарова и Григоровича, которые сразу привлекали к себе внимание всей читающей России. «Новогреческие песни», запоздало подражавшие многочисленным переработкам фольклора, какими была полна европейская поэзия первых десятилетий XIX века, не явились ярким событием в литературной жизни. Но и они, с чисто формальной стороны, были куда как более «литературными», «художественными», чем основная часть стихов в «Неаполитанском альбоме», и, что было важно в глазах начальства, имели четкую идеологическую направленность.

Однако, на мой взгляд, ни живопись Щедрина, ни поэзия Батюшкова, Баратынского или Николая Гумилева, посетившего Неаполь уже в начале двадцатого века, — не передают живую атмосферу Неаполя с такой точностью, как внешне примитивные стихи Майкова. Майков пишет, как видит, как слышит, и как сам живет внутри этого мира. Неаполю свойственно вовлекать в себя всякого, кто решится полюбить его шум и толчею. Вот и чи-

новник цензурного ведомства, патриот, государственник, становится сообщником самого анархического города Европы.

*Жар упал. На берег моря
Шумно в сад толпа валит,
И кругом, по звонкой лаве,
Экипажей рой летит...
Звон колес, и блеск, и хохот...
Крик и щелканье бичей!..
Всё-то к саду мчится, к морю,
В сень каштановых аллей...²²*

«Звонкая лава» — вот, оказывается, как надо называть по-русски эти черные мостовые из вулканического камня. Я чувствую в строках поэта вечернее движение города, хоть теперь на тех же улицах, вместо пролетов, с нетерпеливым гуденьем клаксонов теснятся стада автомобилей. А видали вы, как в сумерках по крутому булыжному спуску с Вомеро бесстрашно летит на мотоцикле дева лет шестнадцати, с выбивающимися из-под шлема черными и густыми — тоже, как лава — волосами!.. Сзади нее уцепился семилетний братишка, а спереди, в корзинке, спит сестрица, которой не исполнилось, кажется, и года. Еще один из ликов неутомимо движущегося Неаполя...

*Не хочу я смерти ждать,
Ждать до старости постылой,
Умирать — так умирать
От ножа, в глазах у милой!
Станет вдруг она тогда
Говорить — о чем молчала,
Целовать — как никогда
До того не целовала!²³*

Не эту ли песню пел на улице Толедо мой знакомый Кристиан? Когда поют на неаполитанском диалекте, я совсем ничего не понимаю. Но уверен, что он пел о чем-то подобном, там тесно сплетались любовь и смерть. О Кристиане еще расскажу в свое время.

Почти весь неаполитанский цикл Майкова написан в одном размере. Это четырехстопный хорей, который идеально подходит под наигрыш тарантеллы. Некоторым его стихам необходимо музыкальное сопровождение; просто прочесть их вслух — значит исказить.

*Как стройна, гляди, Аглая!
Вот помчалась в круг живой —
Очи долу, ударяя
В тамбурин над головой!
Ловок с нею и Дженнаро!..
Вслед за ними нам — смотри!
После тотчас третья пара...
Ну, Нинета... раз, два, три...²⁴*

*Завязалась, закипела,
Всё идет живей, живей,
Обуяла тарантелла
Всех отвагою своей.
Эй, простору! шибче, скрипки!..
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!*

«Отвага» — удачное определение для тарантеллы. В ее живом и чистом веселье в то же время заключено что-то мужественное, полное достоинства.

Музыка, стук колес и копыт, переключки базарных торговцев — это еще не весь звуковой фон неаполитанской жизни. Контрапунктом к скрипкам и тамбуринам в стихах Майкова то и дело звучит рев осла. В те времена осел был незаменимым помощником в перевозке грузов по крутым улочкам, ведущим на холм Вомеро, куда сегодня нас поднимает фуникулер.

*Мне Неаполь опротивел,
Опротивел, как тюрьма!
Это скал на груди груди,
На домах еще дома!*

*Продавцов, мальчишек крики!
Крики взбалмошных ослов...
Точно город этот вечно
Занят пробой голосов!..²⁵*

А вот еще картинка с ослом. Поэт обращается к собеседнику, неудовлетворенно-му жизнью:

*Всем ты жалуешься вечно,
Что судьбой гоним с пелен,
Что влюбляешься несчастно,
Дважды чином обойден!*

«Дважды чином обойден» — несчастье чисто петербургское, неаполитанцу даже не совсем понятное. Однако он, со своей стороны, все-таки может сказать горемыке-чиновнику несколько слов в утешение:

*Друг! не ты один страдаешь!
Вон, взгляни: осел стоит
И с горы на весь Неаполь
О бедах своих кричит.*

Ослы в городе давно уж не режут, зато человеческий хор не умолкает: по-восточному кричат продавцы на рынках, бурлит толпа на торговых улицах, перекрикиваются домохозяйки с балкона на балкон, во всеуслышание, не затворяя окон, бранятся супруги... Способ-

ность резко и оглушительно кричать у неаполитанцев передается, кажется, по наследству. Со времен Майкова их луженые глотки ничуть не ослабели. Как только в марте солнышко начинает пригревать по-весеннему, кажется, что молодежь вообще перестает спать. Ночи напролет не смолкают шумные гулянки. «Шумные», впрочем, не то слово. Когда в полночной тьме эхо внезапно разносит по кварталу грохот, подобный пушечному выстрелу, свист и топот врассыпную убегающих ног, остается гадать, что произошло: «акция» левых экстремистов, учеников Бакунина и Махно²⁶, мафиозная вендетта, или просто кто-то от избытка юного веселья запустил увесистым булыжником в железные ворота. Лишь на какой-нибудь час перед рассветом город забывается в некрепкой дреме...²⁷

Стихотворение «Два карлина»²⁸ привожу целиком, надеясь не утомить читателя слишком.

*Эй, синьор! хоть два карлина
Дайте мне за что-нибудь!
Спеть вам «Bella Sorrentina»?
Или пыль с сапог стряхнуть?*

*Боже мой! С какою злобой
Вы кричите: «Негодяй!»
Здесь Неаполь! Здесь особый
И народ, и самый край!*

*Много есть народов умных,
Но философ — наш один,
Хоть живет средь улиц шумных,
Как поэт и арлекин!*

*Богачи и ладзароны²⁹ —
Всё одна душа! У всех
Счастье — те же макароны,
Те же песни, тот же смех!*

(Конечно, макароны — общеизвестный символ Италии. В Неаполе разнообразие макаронной продукции поражает даже на общепитальянском фоне. Но отдельной приметой местной кухни веками была и остается по сей день пицца. Сильно пропеченный плоский пирог с томатами, сыром и зеленью крестьяне брали с собой вместо обеда в поле, рыбаки — на ловлю; ремесленники и рабочие перекусывали им среди дня на скорую руку. Говорят, король Фердинанд Первый был вынужден тайком посещать простонародные трактиры, чтобы полакомиться пиццей, которую его супруга категорически запрещала подавать во дворце. Но нравы меняются: Фердинанд Второй (внук Первого, он умер в мае 1859 г., во время пребывания здесь Майкова) приказал устроить специальную печь для пиццы в своей резиденции Каподимонте. Трудно поверить, что за всё время, проведенное в Неаполе, Майкову не случилось ее попробовать. Но одно дело отведать, а другое — придумать, как назвать эту штуку по-русски. Зато теперь, когда пиццу знает весь мир, ее можно смело вставлять в стихи на любом языке.)

*...Наши песни — что их краше?
Как цветы из недр земных,
Из груди певучей нашей
Так и тянет солнце их!*

*Смех нам хартия³⁰! Захочет
Деспот сжать нас — смех уж тут:
Знак, два слова — и хохочет
Весь Неаполь, всякий люд!*

*Мирно с церковью он ладит,
Да и церковь ко двору!
Для него мадонну рядит,
Как невесту на пиру!*

*Галлы, немцы, арагонцы
Спор вели из-за него —
Он, от всех лоя червонцы,
Не стоял ни за кого!*

*Возвестил ему свободу
Гарибальди — *perché no?*³¹
Были б праздники народу,
Были б песни и вино!*

*Всё равно, кто правит нами —
Тот иль этот!.. Здесь один
Над рабами и царями
Есть повыше господин...*

«Повыше господин» — почти нависающий над городом Везувий. Когда смотришь на Неаполь с холма Вомеро, миллионный город кажется россыпью детских кубиков под ногами циклопа. Здесь слишком очевиден комизм человеческих притязаний, и смех, пожалуй, — самая адекватная реакция на гордыню, произвол и насилие. До этого места всё у Майкова идет прекрасно. Однако дальше он сбивается на фаталистический, зловеще-отчаянный тон, совершенно не свойственный Неаполю, но обычный в нашем отечестве. Хотя извержения Везувия случаются каждый век, а землетрясения разной силы — при жизни каждого поколения, неаполитанец уверен, что его нежно любимый город не возьмет никакая напасть — ни стихийное бедствие, ни политический катаклизм. Иное дело русский человек, которому при любых переменах грезится конец света или, во всяком случае, «глад и мор, и иго злых татар». И вот, в согласии с национальной традицией, поэт кличет подобно птице-Гамаюну:

*...Вон — чудовище! — открыло
К ночи огненную пасть —
Точно ждет, сбираясь с силой,
Только знака, чтоб напасть!*

*Не минует верной кары!
Нынче ль, завтра ль — всё одно!..
Уж подземные удары
Ночью будят нас давно,*

*И колеблющейся лентой
По прозрачным небесам
От Пуццоло до Сорренто
Дым стоит и здесь, и там...*

*Всё, что дышит, — гибель чует
И, бояся опоздать,
Веселится и ликует...
Человеку ль отставать?*

*Лучше петь, забывши горе,
Перед часом роковым,
Как поглотит огонь иль море
Почву шаткую под ним...*

*Ах, ужасная картина!
Вдруг порвется жизни нить...
Так что... ваши два карлина...
Перед смертью, может быть!*

Не здесь ли проходит грань между поэзией и не-поэзией? В первой части немудреные, ничем не примечательные строчки оживают и становятся чистой и глубокой правдой, не только фактической, но и художественной — стоит лишь сопроводить их наигрышем тарантеллы. Вторая часть звучит патетически, но при этом — не правдиво, не по-итальянски. Это наше, русское: перед лицом гибели выпростать душу наизнанку в отчаянной пляске под гармонию. По мере приближения к родным берегам в сознании поэта-цензора включается внутренняя цензура. Неаполитанский вкус к простой жизни и внутренней свободе теперь кажется опасным контрабандным товаром: если уж за борт не выбрасывать, надо срочно перелицевать под что-то привычное. Одна чуждая нота — и в тот же момент неповторимая атмосфера далекого города рассеивается. А с нею уходит и поэзия.

* * *

Никак не могу определиться: о чем все-таки я взялся писать? Впечатлений много, можно было бы исписывать по полсотни страниц ежедневно. Однако ночное время, когда я сажусь за компьютер, всё меняет: виденное при свете дня странным образом сливается с орнаментами и красками других минувших дней; главная драма разворачивается между мыслями и душевными состояниями, для которых дневные события создают лишь декорацию.

Национальный археологический музей — некогда принадлежавшее королевской семье собрание греко-римских статуй в великолепных реставрациях. Среди них много такого, что не увидишь ни в Ватикане, ни в музеях Капитолия. Там же — образцы помпейских фресок. Картезианский монастырь святого Мартина. Замок Сант Эльмо на самой высокой точке города. Воплощение тупого насилия, сам по себе он страшен. Но вид с него неповторимо красив. Городской собор, с чудотворными головой и кровью святого епископа-мученика Януария. Не уступающие собору в размерах и архитектурном великолепии церкви иезуитов, миноритов и доминиканцев. Прогулка по Помпеям под холодным дождем. Римские курорты Байи и ПUTEОЛЫ, с руинами амфитеатра и храмов. Кумы — город-святилище с пещерой Сивиллы — прорицательницы Аполлона, посмертно зачисленной в ряд провозвестников Христа...

А занятия в языковом центре: разве это не увлекательно? Ну, хотя бы взять состав нашей группы: румяная, как пышка, шведка Линнеа, названная, вероятно, в честь великого земляка-естествоиспытателя, и вечно улыбающийся японец Хироши, свободные туристы, обоим по двадцать лет (эх, где мои-то двадцать лет). Две турчанки — жены моряков с натовской базы. Могучий, как гора, флегматичный американец Мэтью — шутка ли сказать, следователь военной полиции. Юная украинка с модельной фигурой, наудачу выскочившая за профессора философии из «Федерико Секондо». (Чем сидеть дома со старой ворчливой свекровью и, томясь, ждать мужа с работы, лучше блистать на курсах, кто же поспорит.) Тоненькая, очень положительная немочка из Берлина, студент-медик. Двадцатилетняя шри-ланкийка по имени Маша³², цвета молочного шоколада, с необыкновенно лучистыми глазами, о таких говорят: «посмотрит — рублем подарит», в разноцветных бусах и браслетах, меняющихся каждый день... Наконец, мой лучший друг, серьезная, исполнительная кореянка Суки (это имя означает «верная супруга»³³). Она и в самом деле верная супруга, мать двух взрослых сыновей, офицер американского флота, истовая католичка и член республиканской партии. Милая разноцветная мозаика. При явном, впрочем, доминировании военно-морских сил Североатлантического альянса. О преподавательницах наших — эх, разговор отдельный, да лучше его и не заводить. За два месяца занятий успел влюбиться сначала в одну, потом в другую. Если кратко, влюбляться в итальянок ни одному русскому

искусства вообще. Может быть, причина в том, что именно в Неаполе ему очень многие подражали? Однако можно без преувеличения сказать, что в течение семнадцатого века ему подражала вся Европа. Среди тех, кто прошел увлечение «караваджизмом», прежде чем найти собственный путь, можно указать крупнейших мастеров эпохи. Рибера, Веласкес, Мурильо, Латур, Пуссен, Рубенс. Наконец, Рембрандт... Что касается почти всех неаполитанских живописцев той эпохи, даже весьма талантливых, они хранили подражательную, чисто ученическую верность наставнику, не помышляя о том, чтобы когда-либо превзойти или хотя бы в чем-то сравняться с ним. Такое исключительное почтение к Караваджо город являет и до нашего времени.

Лично мне Караваджо кажется мастером неожиданных световых эффектов, умелым постановщиком романтической драмы, но не глубоким художником-мыслителем, каким был, например, Рембрандт. А ведь Неаполь имеет собственного мастера, который из всех современников Рембрандта, на мой взгляд, ближе всех к нему по глубине внутреннего зрения. Это Хусепе де Рибера, испанец из Валенсии, проживший в Неаполе две трети своей жизни. Но... испанец есть испанец (Рибера так и называют — Спаньо-летто, «Испанчик»), представитель нации заносчивых иноземных господ. И хотя Рибера оставил после себя городу немало прекрасных картин, хотя он известен и высоко ценится по всему миру, в Неаполе его слава будто намеренно приглушена. В одной из городских церквей — Санта Мария Аннунциата — я видел большое полотно Риберы в плачевном, разрушающемся состоянии, под толстым слоем пыли. Но представить себе не отреставрированную, не окруженную всяческим пиететом работу Караваджо — просто невозможно.

В этом, вероятно, проявилась живучесть исторической памяти неаполитанцев. Как человек, Рибера вызывал у окружающих далеко не самые теплые чувства. Близость ко двору вице-короля, связи с испанскими вельможами он использовал для борьбы с конкурентами. Передают, что его целью было захватить в свои руки весь местный рынок заказов и торговли живописными работами, и борьбу он вел весьма жестоко, сколотив для этого настоящую банду. Ходит о нем и другой недобрый слух: будто, чтобы научиться достоверно изображать боль, Рибера посещал городской трибунал и делал зарисовки во время пыток обвиняемых. Впрочем, если это и правда, навряд ли можно винить его больше, чем фотореп

Первая моя встреча с Риберой произошла в картезианском монастыре Святого Мартина. В так называемой *Capella del Tesoro*, где в старину совершался обряд пострижения новых монахов, я увидел над алтарем картину, которая сразу остановила меня. Находясь перед ней, невозможно смотреть на что-то другое. *Pietà*, Мария над мертвым Христом. Полотно Риберы можно поставить рядом только с одноименной скульптурой Микеланджело. Всё остальное будет безусловно ниже.

Из смоляной тьмы бледно-красноватый луч выхватывает мертвое тело Христа, фигуру юного Иоанна, лицо и руки Матери. Нет, не караваджевский отблеск пылающего факела; может быть, этот луч похож на тот свет, что будет светить на последних полотнах Рембрандта. Но здесь он холоден и недвижим. Я назвал бы этот свет Молчанием Бога. Бог видит и слышит нас, но мы не слышим Его ответа. Богородица изображена именно так — не слышащей ответа, абсолютно оставленной, так же, как ее Сын, кричавший с креста несколько часов назад: «Зачем Ты меня оставил?» Лицо не искажено болью, глаза не плачут, они подняты к небесам, к этому молчащему свету. Во взгляде — страшная сила непобежденного достоинства. Взгляд, который не выдержит ни один из убийц ее Сына. Кажется, перед ним дрожит темное небо. Взгляд — вровень Богу. Иоанн, изображенный в виде подростка, ребенка, смотрит на Марию с боязнью, как смотрят дети на что-то абсолютно новое, превышающее их понимание, и в тоже время с доверием, как на мать. Нельзя не вспомнить предсмертные слова Христа: «Женщина, это сын твой». Образ «возлюбленного ученика», служебный, второстепенный в данной композиции, осмыслен художником глубоко и своеобразно.

В том же монастыре есть и другие картины Риберы. Одна из них — «Святой Иероним», созданная в 1651 году, в самом конце жизненного пути мастера, — образ души, которую смирило и очистило страдание. Чуткие глаза человека, которому ведомы сильнейшие страстные порывы и переживания, способного глубоко проникнуться всякой красотой и, при этом, таящего в себе что-то детское... эти глаза, не утратившие живого блеска, просят только прощения и милости. Не запечатлен ли здесь образ собственной судьбы?

Последние годы жизни мастера были горьки. Он не пострадал во время антииспанского восстания Мазаньелло, но близость к вице-королевскому двору, которой он столь активно пользов

цев. Женщина выбрасывает с пятого этажа мертвого супруга (а может быть, сына), чтобы не мучиться, стаскивая тело по крутым лестницам. На улице телами людей, как дровами, дюжие парни до верха грузят крытые крестьянские телеги. Но число мертвецов растет так быстро, что справиться с вывозом кажется нереальным. Среди скопления мертвых и еще копошащихся тел мечется офицер с обнаженной шпагой, безуспешно пытаясь распорядиться людьми, потерявшими рассудок от ужаса. В центре площади поставлена виселица, на которую палачи деловито затаскивают какого-то несчастного, вероятно, мародера. Впрочем, смерть от петли скорее и легче, чем смерть от чумы... Картина напомнила мне рассказы стариков о голоде 1933 года на Украине и Северном Кавказе, о гибели бесчисленных тысяч ссыльных в Карагандинской степи годом раньше.

Рибера не дожил до этих страшных зрелищ. Его вдова и дети, кроме Марии Розы, уцелели в эпидемии. Возможно, благодаря тому, что за несколько лет до смерти опозоренный художник оставил дом в густонаселенном центре Неаполя и переехал в предместье.

В монастыре святого Мартина почти сразу после чумы была проведена амбициозная реконструкция. Церкви и капеллы украсились мраморными мозаиками немыслимой яркости и богатства — казалось, все искусство неаполитанских мастеров праздновало в них праздник возвращения к жизни... На эти диковинные соцветия невозможно налюбоваться: не только престолы храмов, но и стены, и полы — все цветет буйными зарослями орнаментов. За время эпидемии картезианцы получили от граждан всякого чина и звания немыслимые суммы — на помин умерших и по обетам тех, кто выжил. Уже не Рибера, а другие художники писали для обители новые впечатляющие полотна: на них изображены иноки монастыря, вместе с родоначальником ордена, святым Бруно, и со святым Януарием, покровителем города, коленопреклоненно умоляющие Царицу Небесную о заступничестве в прекращении Божьего гнева над многогрешным Неаполем.

Еще через несколько лет, в 1665-ом, вдова Риберы смогла отсудить у приора монастыря святого Мартина три сотни золотых дукатов, которые он не доплатил больному художнику за последнюю картину «Прича

Приходит в голову мысль, что «портреты» Риберы, со столь высоким напряжением реализма и идеализации образа одновременно, — настоящие иконы, иконы какой-то новой, возможно, до сих пор еще не наступившей эпохи.

Еще одна исключительно важная, на мой взгляд, картина — так называемая «Trinitas terrestris» (Троица земная³⁹), написанная Риберой примерно на середине его творческого пути. Считают, что в это время, около 1630 года, когда возраст Риберы приближался уже к сорока, из последователя Караваджо (как все в тогдашнем Неаполе) он стал вполне самостоятельным мастером. Картина представляет собой диптих. На верхнем холсте изображен Бог Отец в облачных высях. На нижнем — под покровом облаков, где витают ангелы и кружит голубка (символ Святого Духа), стоит Мария, с непокрытой головой, с испанскими чертами лица, держащая за руку Иисуса — мальчика лет четырех, перед которым склоняются святые. Один из них, согбенный старец в плаще, с посохом, в описаниях картины называется пророком Илией, но не имеет характерных для Илии признаков и атрибутов. Рибера писал Илию в ином виде — отнюдь не старцем, а человеком средних лет с мужественным и энергичным лицом. Я считаю более вероятным, что это праведный Иосиф, в чем убеждает и название картины: под «земной Троицей» всегда понимали изображение Святого семейства. Но низко склоненная голова Иосифа, тень, в которой он стоит, отдаляют его от Марии и Младенца; он не вместе, не рядом с ними, а среди смиренных молитвенников (кроме него, на картине представлены святые Бруно, Бернардин и Бонавентура, известный богослов).

Даже если название дано не самим художником, а заказчиками, — как в случае с «Троицей» Андрея Рублева, так и здесь, слыша слово «Троица», мы ищем в композиции нечто, символически указующее на таинство Троицыного Бога. Было ли у мастера некое осознанное богословское видение, или он повиновался своей интуиции художника, — весть, которую несет картина, мне кажется удивительной. Сквозь обе части диптиха протекает поток света, и в нем соединены — Отец небесный, голубка, ангелы, Мария и младенец Иисус, имеющий черты лица Матери. Кончается поток на фигуре святого Бруно Кельнского, беседующего с Младенцем (вероятно, картина писалась по заказу картезианцев)⁴⁰. Фигура Марии, как бы собирая в себе свет, стоит между Отцом и Сыном, одновременно связ

встречать», об этом отец Василий судил не понаслышке: в Отечественную войну он был десантником-парашютистом.

Ко времени нашей встречи я знал только «Лютниста» из эрмитажного собрания. И поленился искать репродукцию картины, которую мой собеседник случайно встретил на страницах журнала «Огонек». Но почти через тридцать лет пришло и для меня время открыть Караваджо.

Настоящее имя этого, без сомнения, самого влиятельного европейского художника семнадцатого столетия — Микеланджело Меризи. Караваджо — название родного города его матери. Относительно места его собственного рождения до сих пор идут споры; большинство склоняется к тому, что родился он в Милане в 1571 году. Целый ряд обстоятельств будто с самого начала предопределил для одаренного мальчика неблагоприятную судьбу. С пяти лет он рос без отца, с одиннадцати — учился живописи в отрыве от матери, вращаясь в кругу богемы, в двадцать был уже круглым сиротой. Рано проявившийся мощный и оригинальный талант оказался тяжким бременем. Пылкость характера, сильнейшее эмоциональное напряжение, с которым он работал, искали выхода в буйном разгуле, азартных играх и драках. Интенсивно работая над картиной в течение недели, он мог затем целый месяц шататься по игорным домам и трактирам, с неизменной шпагой у пояса, и — горе тому, кто осмеливался затронуть его честь или, наоборот, ответить ему на колкое слово... Говорят, что именно в этих местах он примечал лица, с которых затем писал мучеников и апостолов, что прекрасная «Мадонна ди Лорето» и святая Екатерина, которыми сегодня восхищается весь мир, списаны им со знакомых куртизанок.

В возрасте двадцати лет перебравшись в Рим, Караваджо сразу обратил на себя внимание влиятельных и богатых кардиналов. Некоторые из этих князей Церкви пытались поселить его у себя и сделать собственным живописцем, но всякий раз это приносило им только огорчения и непредвиденные хлопоты. За годы, проведенные в Риме, Караваджо не однажды попадал под арест, бегал от суда, скрывался от мести. Кончилось совсем плохо. 29 мая 1606 года во время игры в паллакорду (то, что теперь называется теннисом) сцепился с партнером; обмен словесными оскорблениями перешел в бой на шпагах — двое против двоих. Соперник был убит. Товарищ Караваджо, офицер, с тяжелыми ранами доставлен в тюремную больницу. По совокупности улик выходило, что роковой удар нанесла рука живописца Микеланджело Меризи. Он и сам получил ранение в голову в этом несчастном бою. Два столетия спустя Пушкин напишет: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Но здесь случилось именно так: гениальный художник стал убийцей.

Спасаясь от смертного приговора, вынесенного папским судом, Караваджо бежит в Неаполь, во владения испанской короны, где у него есть знатные покровители. Прожив здесь около полугода, он выполняет несколько работ для местных церквей, из которых в городе до сего дня остались «Семь дел милосердия» и «Бичевание Христа». Еще одна работа, «Воскресение Христа», исполненная для церкви Санта Анна деи Ломбарди, погибла при землетрясении 1805 года. Отсюда художник плывет на Мальту, где его принимают в члены мальтийского ордена, после того как он пишет парадные портреты великого магистра и других влиятельных особ. Но... буквально через считанные дни, тяжело задев честь одного из могущественных мальтийских вельмож, Караваджо попадает в тюрьму. Гроссмейстер специальным указом лишает его звания рыцаря. Осенью он уже на Сицилии. Биографы и исследователи разногласят: то ли он совершил побег из тюремного замка, то ли тайно вывезен с острова, во избежание мести. Оскорбленный им кавалер кля-

нется достать беглеца из-под земли и шлет по следу наемных убийц. Тем не менее, художник живет открыто, осматривает многочисленные архитектурные древности острова и, главное, создает новые картины, поразительные по силе чувства. Среди них — «Рождество, со святым Лаврентием и святым Франциском» и «Поклонение пастухов» (обе написаны для храмов Палермо). При этом его поведение остается, как и прежде, скандальным и вызывающим. В Палермо он спрашивает школьного учителя, почему тот запрещает ученикам приходить к нему в мастерскую и позировать в качестве натурщиков. Тот честно отвечает, что опасается за целомудрие своих мальчиков. Взбешенный художник тут же накидывается на него с кулаками. А ведь опасения учителя были более чем оправданными... Передают, что однажды Караваджо, выходя из церкви после мессы, вопреки обычаю, не стал окунать пальцы в святую воду, как считалось, ради «прощения малых грехов». Когда ему сделали замечание, он ответил, что не имеет грехов ни малых, ни прощительных, а только смертные.

В конце лета 1609 года Караваджо снова появляется в Неаполе, в надежде добиться от папы амнистии с помощью неаполитанских кардиналов — поклонников его таланта. Вместо этого, здесь он снова попадает на какое-то время в тюрьму, а в октябре до несчастного дотягивается длинная рука мстителя: четверо неизвестных вооруженных мужчин калечат его до полусмерти перед гостиницей в переулке Черрильо. ...Удивительно, как мы находимся близко друг от друга, хоть и разделены четырьмя столетиями. Переулок Черрильо, который и теперь носит это имя, проходит буквально за углом от места моих ежедневных занятий. Он начинается от маленькой площади, одно из зданий которой и сегодня занимает гостиница. Видимо, здесь и лежало окровавленное и недвижимое тело художника, которого приняли за мертвого. Благодаря этой ошибке жизнь Караваджо продлилась еще девять месяцев, и он оставил миру около десятка последних замечательных полотен. Не успев залечить раны, он берет новые заказы и трудится, как каторжник, может быть, потому что физически слишком слаб для новых опасных выходов. Сохранившиеся от этого периода картины свидетельствуют о сильнейшем душевном напряжении. Среди них — «Давид с головой Голиафа», отосланная в Рим. В лице мертвого Голиафа с пробитым, залитым кровью лбом художник изображает самого себя...

В июле 1610 года, получив обнадеживающие вести из Ватикана, Караваджо наскоро соберет пожитки и выплывет из Неаполя... навстречу гибели. Высаженный полицией с корабля, без вещей, картин, красок, денег, в малярийной лихорадке, он будет тащиться из последних сил вдоль пустынного берега, пока не потеряет сознание. 18 июля близ крепости Порто Эрколе местные жители найдут на морском песке окоченевший труп. Через несколько дней папа Павел V, еще ничего не зная об участии художника, подпишет указ об отмене ему смертного приговора. Но тело нераскаянного грешника уже похоронено — вероятно, наскоро, без подобающих обрядов. Во всяком случае, запись об отпевании не сохранилась, могила неизвестна⁴².

Впрочем, среди современных исследователей жизни Караваджо почти утвердилось убеждение, что на том безлюдном берегу художник был убит. Узнав об оплошности своих подручных, мальтийский вельможа приказал, во что бы то ни стало, довести дело до конца. Клятва есть клятва. Мужская честь превыше всего. Наконец, охотники настигли добычу.

При всем различии ситуаций и персонажей, нельзя не вспомнить картины Караваджо, где палач отсекает голову Иоанну Крестителю, а Саломея принимает ее на блюдо. (Два полотна на этот евангельский сюжет написаны им на Мальте.) «Царское слово» исполнено. Палач держит голову в вытянутой руке, чтобы не запачкать ноги капающей кровью.

Девушка отворачивается. В ее красивом, но пустоватом лице смешаны естественное отвращение к смерти и желание отогнать чувство вины. «...В конце концов, причем тут я? Всё мать придумала. А царь? Разве его заставляли? Мог отказаться от своего слова, и ничего не случилось бы. Как упрямые мужчины. Как всё это скверно. Скорей бы забыть...» Обе картины настолько глубоко пережиты художником, что встает вопрос: не здесь ли ключ к темной мальтийской истории, о которой биографы говорят лишь смутно и поверхностно?

Драма отношений мужчины и женщины — одна из главных тем искусства барокко, для которой художники брали сюжеты как из повседневной жизни, так и из Священного Писания, из житий святых, из истории и мифологии. Лучшие из работ на эту тему бывают сродни глубоким психологическим или метафизическим исследованиям. Практически всегда это трагическая коллизия между божественным идеалом красоты, чувственной страстью и жестокостью жизни. В последний период своего творчества Караваджо создал ряд женских образов, небывалых по выразительности и обаянию. Я имею в виду, прежде всего, две рождественские сцены, написанные им на Сицилии. Намеренно «заземляя» образ Матери вплоть до какого-то биологизма, через это крайнее снижение художник берет удивительно высокую и чистую поэтическую ноту. Ее неслышный звук пронизывает зрителя до самых внутренностей. Достойным откликом ему могут быть не медитации в духе Игнатия Лойолы, но та чистая евангельская мистика, которая ясли для скота преображает в Скинию Славы Господней, исполняет дом Симона Прокаженного благоуханием Духа, являет блудницу невестой таинственного брака. Микеланджело Мери́зи — грешник из грешников, лишивший себя всего, кроме единственной, последней надежды, — не играет ни в какие благочестивые игры. На его картинах Богородица — более земная, чем калабрийская крестьянка, чем торговка с неаполитанского базара, — есть образ последнего смирения и обнажения человеческой души. И одновременно, неотрывно от первого аспекта, это пронзительно-нежный образ женственности.

Этих же пределов достигает художник и своим последнем творении — «Мученичестве святой Урсулы», где изображается уже не Мать, вводящая своего Младенца в земную юдоль, а дева, смотрящая в мглистое лицо смерти. Эта картина, законченная за два месяца до смерти, вернулась в Неаполь более чем три с половиной века спустя. Местное отделение банка «Интеза Сан Паоло», выкупив у прежних владельцев, ныне выставляет ее в роскошном помещении своей центральной конторы на Виа Толедо. «L' ultimo Caravaggio!» — зазывает туристов яркий рекламный плакат. Вход всего за три евро! Гмм, всего-то...

Два месяца, проходя каждый день мимо шикарного здания в стиле «модерн», я жалел потратиться на билет и ворчал про себя: «Три евро — посмотреть одну картину! Совсем с ума посходили. Один из богатейших банков в стране, могли бы и даром пускать». Однажды в субботний день непреодолимо потянуло сюда. Простоял перед картиной больше часа. В воскресенье пришел снова. И провел здесь часа четыре, не в силах оторвать глаз.

Картина бедна эффектами. Она исполнена едва ли не грубо, если сравнить ее с оптическим иллюзионизмом юношеских работ. В ней соблюдается старинная условность: по традиции, идущей со времен готики, тело человека, получившего смертельный удар, изображается в серебристом, как бы лунном, свете. Этот прием художник применяет, чтобы выделить лицо Урсулы из среды всех других лиц.

В грудь девушки секунду назад вонзилась стрела. Брызнула тонкая струйка крови. Два воина держат ее за руки. Трудно понять, то ли она, уже почти падая, роняет голову, то ли еще не успела почувствовать боль. Возможно, мастер намеренно сводит вместе разные

моменты действия. Глаза Урсулы затенены, мы не можем сказать, видят ли они что-то, или уже подернуты смертной пеленой. Лицо, спокойное и покорное, лишь с удивлением склоняется к пробитой груди, которая могла бы вскормить младенца, к животу, который никогда уже не выносит дитя. Беззвучный вопрос: «Вот и всё? Как странно... Да, это всё». Морщинистое лицо убийцы (по средневековой легенде, им был Аттила, предводитель гуннов) не выражает злобы. Он делает свое дело, подчиняясь механическому закону, с нудной, рутинной досадой. Юноша-воин, держащий Урсулу справа, смотрит потрясенно — и беспомощно. От него «ничего не зависит». Единственное активно действующее лицо на картине — безвестная старуха, обращенная грозным взглядом к Аттиле: она тщетно пытается отвести руку палача... Эта старуха-призрак, потусторонняя свидетельница, появляется на поздних полотнах Караваджо всякий раз, когда вершится преступление — пытка или убийство праведника. В ней почему-то видят аллегория смерти, но вероятнее, что она олицетворяет суд совести. Только чьей совести? Аттилы и его приближенных? А может быть — каждого из нас, пассивных и зачастую безразличных зрителей повседневного чужого страдания...

Лицо Урсулы не отпускает, даже не будучи обращено к нам. Она смотрит в свое девичье тело, как вглубь таинственного сосуда. В лице отражено чистое и примиренное принятие судьбы, и в то же время — постижение её скрытого смысла. Эта картина способна сделать человека взрослее на годы, открыть ему нечто неведомое в себе самом.

...Входит пара — мужчина с молодой девушкой. Правой рукой он держит ее правую руку, а левой обнимает за талию. Долго-долго стоят молча, не сводя глаз с лица Урсулы. Мне кажется, сейчас они общаются между собой содержательнее, чем в беседах, ближе, чем в ласках любви. Бывают минуты, когда любящие открывают друг друга заново, на какой-то неожиданной, тайной глубине. Минуты чуда, подобного преображению.

¹ *Notturmo* (итал.) — ночной. Этим словом называется ночное молитвенное бдение, а также музыкальное произведение — ноктюрн.

² Начало стихотворения Дж. Леопарди «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии»:

Что делаешь на небе ты, Луна?
Безмолвная, ответь.
Восходишь вечером, бредешь одна,
Пустыни созерцая, — и заходишь.
Ужель ты не пресытилась опять
Извечною тропой
Идти и вновь долины узнавать
Все те же под собой?..

(Пер. Анны Ахматовой). Леопарди умер и похоронен в Неаполе, близ т. н. «гробницы Вергилия».

³ *Да здравствуют все девушки,/ Легкие, прекрасные,/ Да здравствуют и женщины,/ Нежные, милые,/ Добрые, трудолюбивые* (лат.).

⁴ «Петербургские ночи» (лат.). Этот трактат Карсавину удалось напечатать в 1922 г., незадолго до ареста и высылки.

⁵ *Будем же радоваться,/ пока молоды!/ После цветущей юности,/ после удручающей старости/ нас примет земля* (лат.).

⁶ А. Ч. Козаржевский (1916–1995) — филолог-классик, профессор, заведующий кафедрой древних языков исторического факультета Московского университета.

⁷ Да здравствует и государство,/ и тот, кто им правит!/ Да здравствует наш город,/ и щедрость меценатов,/ которая нас здесь содержит! (лат.)

⁸ Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ) — гуманитарный вуз, созданный на базе факультета истории и философии Московского университета в 1931 и существовавший по 1941 год, когда МГУ был вновь реорганизован, и гуманитарные факультеты вернулись в его состав.

⁹ Поезд местного сообщения.

¹⁰ Тёрмини — центральный вокзал Рима.

¹¹ Мф 25, 31–46.

¹² Мк 16, 16. Вся заключительная часть Евангелия от Марка, начиная с 9-ого стиха 16-ой главы, отсутствует во многих древнейших рукописях на греческом, а также и в части древних изводов латинского, сирийского, древнеармянского, древнегрузинского и эфиопского текста. О ней не знали столь осведомленные раннехристианские авторы, как Климент Александрийский, Ориген и Аммоний. Блаженный Иероним отмечал, что ни один современный ему греческий список Евангелия от Марка ее не имел. Вместо той концовки, которая стоит в утвердившемся евангельском тексте, в ряде древних рукописей записаны другие варианты; все они, по общему мнению исследователей текста Нового Завета, не носят признаков стиля евангелиста Марка, а добавлены кем-то другим, хотя и в весьма раннее время. См. об этом: Брюс М. Метцгер. Текстология Нового Завета. М., 1996. — Сс. 222–225.

¹³ Очень волнующее (итал.).

¹⁴ Невеста (итал.).

¹⁵ Лк 7, 36–47.

¹⁶ Еф 4, 13. Синодальный перевод: «в меру полного возраста Христова» отходит от греческого оригинала и буквально, и по смыслу.

¹⁷ По условиям Парижского мирного договора 1856 г. Черное море было закрыто для российских военных судов.

¹⁸ Майковы — старинный боярский род. К нему принадлежал знаменитый подвижник и аскетический писатель прп. Нил Сорский (ум. в 1507 г.).

¹⁹ А. Н. Майков. Избранные произведения (серия «Библиотека поэта»). Ленинград, 1977. — С. 809.

²⁰ Майков сочинил их не в Италии, а уже в России, в 1861–62 годах, непосредственно перед тем, как отдать цикл для напечатания в редакцию «Отечественных записок».

²¹ «Майков возвратился из-за границы и очень недоволен своей поездкой, да и им, кажется, недовольны в Морском министерстве», — писал Писемский Тургеневу в июле 1859 года.

²² «Дон Пеппино».

²³ «Еще из народной песни». В рукописи Майкова эти стихи сопровождаются пояснением: «Пел рыбаки Лоренцино».

²⁴ Нина, Нинета в итальянском варианте есть уменьшительное от имени Анна: Анюточка.

²⁵ «Мне Неаполь противел...»

²⁶ Неаполь является доселе не остывшим очагом итальянского анархизма. Стены домов в центре города сплошь, в несколько слоев, оклеены прокламациями под шапками: «Против всякого авторитета! Дашь анархию!», «Ни Бога, ни государства!», «На штурм небес!» и т. п. Как небесам, так и государству, понятное дело, не жарко и не холодно, а вот типографам анархисты задают немало работы.

²⁷ В наши дни к оркестру городской жизни прибавился африканский там-там. Чернокожие иммигранты завезли в Неаполь искусство игры на нескольких разнокалиберных барабанах сразу. Их концерты на улицах собирают толпы восхищенных слушателей. Девчонки так проникаются ритмом, что начинают приплясывать, пока кто-нибудь из парней не поддаст по заднему месту (может быть, из чувства ревности). Однако парни и сами лишь с трудом могут устоять на месте. Неаполитанская молодежь быстро осваивает новый музыкальный жанр и, кажется, скоро догонит африканцев по уровню владения инструментом. Ремесленники, наряду с традиционными тамбуринами, теперь всю выделывают и продают там-тамы. Можно представить, во что выливается барабанный бум в центре города, где около трети населения составляют студенты. Мне выпало особое счастье: я слушаю эти импровизации не менее двенадцати часов ежедневно...

²⁸ Традиционная неаполитанская монета, в Средневековье (с XIII в.) чеканилась из золота, а позднее из серебра.

²⁹ Lazzarone — бездомный нищий. Название идет от имени Лазаря из евангельской притчи (Лк 16, 19–31).

³⁰ Хартия — т. е. конституция (по аналогии с «Великой Хартией Вольностей» — первой английской конституцией, принятой в 1215 году).

³¹ Почему бы нет? (итал.)

³² В год распада СССР Машин отец-коммунист публично засвидетельствовал верность одержимым избраным идеалам, дав долгожданной дочке русское имя. Позднее, по причине продолжавшейся на острове войны, семье пришлось искать лучшей доли в Италии. Здесь папа, как часто бывает с людьми вдали от родины, обратился к заветам предков и ныне усердно совершает положенные обряды в буддийском храме на окраине Неаполя. А католичка Маша была весьма рада узнать, что в полной форме она — Мария и, стало быть, от самого рождения носит имя Пресвятой Девы.

³³ В обычном корейском употреблении — Сук. Нашу Сук зовут на английский манер: в уменьшительной форме — Суки, подобно именам Джонни, Сьюзи, Бекки и т. п.

³⁴ Напротив, браки итальянцев со русскими женщинами довольно часто бывают удачны.

³⁵ Из итальянского искусства припоминаю одну картину (точнее, диптих), где насильственная смерть изображена по-средневековому бесстрастно и по-теперешнему документально. Это как репортаж с места события. Жесткая проза, никакой патетики. Потрясает именно «по-настоящему». Угадайте, кто. Лучезарный фра Беато Анджелико, «Мученичество святых Козьмы и Дамиана». Эта маленькая двухчастная композиция находится в Лувре.

³⁶ Знаток неаполитанской старины Бруно Пизано рассказал мне, что подобные тяжбы с монастырем по поводу обещанных и недоплаченных денег имели едва ли не все неаполитанские художники семнадцатого века, выполнявшие заказы картезианцев.

³⁷ Картина постоянно хранится в Национальной галерее Марке (г. Урбино).

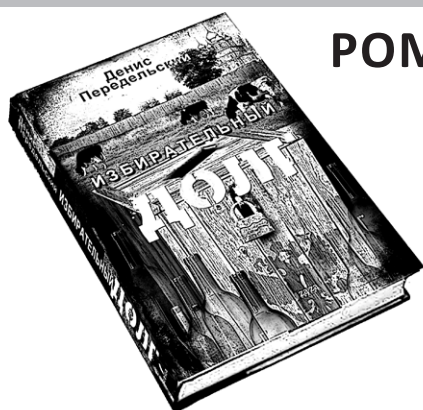
³⁸ Предание говорит, что Ориген в юном возрасте, борясь со страстями, оскотил себя.

³⁹ «Trinitas terrestris» — в западном церковном искусстве так иногда называли композицию, известную иначе как «Святое семейство», изображающую младенца Христа с Марией и Иосифом.

⁴⁰ Умерший в 1101 году (Калабрия, монастырь св. Стефана), Бруно, основатель ордена картезианцев, был причислен к лику святых папой Григорием XV в 1623 г. Картина Риберы написана вскоре после канонизации, в 1626-1630 гг.

⁴¹ Блаженный Августин. О Троице, 5, 12; 13, 10.

⁴² В конце июня 2010 года, когда работа над этой книгой была уже почти завершена, появилось сообщение, что итальянские ученые, проведя скрупулезное изучение останков из братской могилы начала XVII на кладбище в Порто Эрколе, с большой степенью вероятности установили, что один из найденных там мужских скелетов принадлежит Микеланджело Меризи. В идентификации использовались, в частности, генетические материалы, характерные для мужчин-носителей фамилии Меризи за несколько веков. Вероятно, вскоре можно будет ожидать и заключения о том, что на самом деле явилось причиной смерти художника.



РОМАН «Избирательный долг»

Дениса ПЕРЕДЕЛЬСКОГО

Ничем не примечательный процесс

выборов **губернатора**

в одном из регионов России

неожиданно оказывается нарушен

РЯДОВЫМ гражданином.

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО
VERLAG

Дмитрий ЛАРИОНОВ



Дмитрий Ларионов родился 16 апреля 1991 г., в Нижнем Новгороде. Студент филологического факультета ННГУ им. Лобачевского. Публикации: в газете «Литературная Россия» (№1/2013), интернет-журнал «Пролог», альманах «Земляки» (Нижний Новгород), «Студенческая газета ННГУ», в газетах родного города Кулебаки (Нижегородская обл).

Есть депрессивность и мрачность в опусах Дмитрия Ларионова. Его поэтика необаятельна, она выразительна. Так, вероятно, манифестирует себя глубокая раздраженность молодого человека жизнью. Заявляя «я состоялся на земле», всем настроенческим колоритом, всей нервной неустроенностью своих рифмо-ритмов поэт объявляет прямо противоположное: мир — ты не знаешь и не понимаешь меня!.. и глаза твои «пустобородые» (сильный образ!) — лишь ледяные карамели на золотом лице! Обреченное: «я буду»... «я пройду»... и вот уже и «тело возвращу земле»... и даже боле — уже «ныне я роса» (а роса ведь быстро умирает!) Как-то не мила поэту и любовь... в ней скудость есть и брезгливость коммунальной нечистоты, что-то низкое, тёмное... невзаимное. Детство вспоминается как время, когда «Многое было ярче...» И как результат — простое осознание, что «тебе — в другой вагон». Бедный мальчик, отчаянно констатирующий, что повилка «задушила/обняла» беззащитный одуванчик и... — что много хуже — на цветок и на сорняк, его задушивший, — «одна пчела дана Всевышним»... — одна и та же Вышняя Воля. И правда страшно — не поспоришь.

Б. Левит-Броун

* * *

*Я состоялся на земле.
Сюда — пришел в апреле,
когда дожди гостили: акварелью
плакала весна — весною — птицы повзрослели.*

*Мне оставалось только уцелеть,
принять Христово таинство купели...*

*Пока цветут пустобородые глаза
на золотом лице —
две ледяные карамели...
Я продолжаю верить голосам,
я буду петь. Пройду тенистые аллеи —
и тело возвращу земле, а сам
сойду на плоскости — в миры и параллели
и веслами расправлю паруса,
горстями ветер зачерпну, не выпитый доселе...*

*И ныне — я — роса.
Я в голосах
людских. Я — облако, идущее на Север.*

* * *

Ты была беспричинна. Красива под светом лампы
На кухне, у общей знакомой.
В тот вечер, наверняка, я был для тебя самым малым
/бесславным/. Этот малый — давно б получил на плечи...
Ты была — половина. Чуть странна. Не стеснялась песен.
На двоих — широка страна; Февраль — тополинен,
Ноябрь — тесен.
Вспоминали детство. Курили. Слухи чинили к сплетням
/у антресоли зевнула дверца — там отродясь не бывало
моли/.
Когда постелили постель, откатали столик,
Я знал, что усну — последним.

Детство

Детство. Много было ярче.
Положим — немые сны. Такие видывал мальчик,
в отличие от остальных, его — имели окрас и запах.
Неведомый ныне простор.
И плоскость не знала парабол,
тепло — киловатт. Притом — в детстве многое было ярче
/вижу со стороны — на цыпочках маленький мальчик.
Скрип половиц избяных.../.

Осознание

Дикая ягода горчит
на языке. Нет больше слов,
есть мысли. Молчи.
Над городом — светло.
Что привело
тебя?..

Скребя в кармане мелочью
/эквивалент как равноценность/,
под ругань пьяной сволочи,
постой один.

...а знаешь, Дим!
Её плевки на серость
асфальтовую, брусчатку и бетон
/пардон, у фонаря разлитая моча — не в счёт/ —
повадки дикарей; должно быть, чёрт
летающим мыслям шепчется вдогон...
Тебе — в другой вагон.

И не иначе — увидал, когда
среди полей ты вышел:
повилика одуванчик
задушила/обняла?

Одна пчела была
на них дана Всевышним.

Одна пчела.



Из Москвы. Из семьи военнослужащих. Окончила филологический факультет МГУ. После окончания Университета поступила на работу в В/О «Международная книга», работала в Швейцарии. Позже — прошла отборочный конкурс и пятнадцать лет занимала руководящие посты в корпоративном бизнесе. Последние годы вместе с мужем, сотрудником ООН, живет в Нью-Йорке.

Публикуется в периодических и электронных изданиях России, Германии и США, в том числе «Зарубежные задворки», «Топос», «Невский альманах», «Эрфольг» и «Московский комсомолец».

Текст «Никогда. Рассказ второклассника» в 2013 году был включен в сборник литературы для детей, рекомендованной для чтения в школе.

Блестяще. Живо. Искрометно. Просто. Человечно. С печалью. С юмором. С невероятной житейской точностью, точностью механизма в старинных часах. Тут бьется время и есть мы с вами. Для многих эта вещь станет зеркалом, и запросто можно смотреться в него, и прихорашиваться, и задумываться, и плакать, и смеяться.

Елена Крюкова

«MAITRESSE EN TITRE», ИЛИ ЛЮБИМАЯ ФАВОРИТКА КОРОЛЯ

I

Напоследок зеркало нагло хмыкнуло прямо в лицо. Ну, разве что не плюнуло. Смотреть на себя было тяжело, думать про свою жизнь — больно.

Сухова хотелось убить. «Но не сразу. А так, чтобы сначала помучился».

Увы. На сегодняшний день местоположение этого бойца было неизвестно, состав и численность его гарема не установлены. А, впрочем, может быть, это и к лучшему.

Марго туда все равно никогда не попасть и старшей женой тоже не стать. Не ее это случай.

«Maitresse en titre» — она могла бы быть одной из них. Если бы Сухов был, к примеру, Король-Солнце Людовик Четырнадцатый. Или еще какой-нибудь Луи.

Но Сухов не француз и не Луи. А как раз совсем наоборот: сибиряк и акционер ее компании. И от него во многом зависит не только выражение лица, аппетит и ежемесячное использование дамских гигиенических принадлежностей, но и само положение Марго в качестве генерального директора хэдхантерского, то есть по подбору персонала, агентства.

Бабушка Марго только с остервенением плевалась, когда заходила речь о месте работы внучки, и иначе как «Отдел кадров» это самое агентство не называла. Но Марго было все равно. Бабушка проработала всю жизнь кадровичкой на железной дороге, была почетным железнодорожником, или, как звала ее Марго, «ЖД».

А Марго университет окончила, диплом социолога имеет. И генеральным ее взяли после того, как десять лет «эйч-аром» отпахала.

Ну как тут бабушке объяснить, что “HR manager” — это тебе не кадровичка в депо, это специалист, на котором все держится, поскольку проблема кадров до сих пор, еще с бабушкиных времен, по стране не решена, а в корпоративном бизнесе — тем более.

И за Сухова ей не стыдно. Сначала она генеральным стала, а потом уже он в состав акционеров вошел.

В переполненное мусорное ведро полетела узкая картонная полоска. Ничтожная бумажка, которая обладает способностью наносить сокрушительные удары по планам на будущее и обустройство служебной карьеры. Прошлая жизнь показалась Марго сказочно прекрасной. А все ее прошлые проблемы — подарочным набором ко Дню святого Валентина.

Времени оставалось совсем мало. Обычное будничное утро, не успев расцвести, на глазах увядало, превращаясь в невкусную, скороспелую ягоду рабочего дня. Предстояло пережить понедельник, день если не черный, то уж наверняка темно-серый.

На волю к победе и стрессоустойчивость сегодня надежды не было никакой. Оставалась красота.

Марго считала свое имя сакральным, и королева Марго была ей достойной тезкой.

И вообще, еще с детства в ней жило ощущение, что Господь Бог создал ее на заказ. Кто был заказчик, она поняла после знакомства с Суховым.

Они курили одинаковые сигареты, любили чай, а не кофе и могли пойти на должностное преступление за кусок торта «Наполеон» советского образца. Оба были собачники, оба любили такс, и оба предпочитали сук. Ну как после этого не понять, что они просто созданы друг для друга?

Казалось, ее тело было заточено под его руки, а его руки созданы для того, чтобы хозяйски разбираться со всем, что открывает женщина любимому мужчине.

Она стояла перед шкафом, который по размеру вполне соответствовал своему названию «купе», в мрачном раздумье: как всегда, надеть было нечего.

Проблема под названием: «есть во что одеться, но нет во что раздеться» осталась далеко в прошлом. И сейчас тоже она была в белье, которое больше обнажало, чем закрывало. Ходить ужасно неудобно. Все режет, тянет и впивается сами знаете куда. Но «готов-

ность номер один» давно вошла в привычку. В сумке у Марго всегда лежал боекомплект, состоящий из упаковки презервативов, чистых трусов и зубной щетки.

А спала она вообще-то голышом и любила по утрам надевать его рубашку. Сухов специально для этих целей подарил ей одну, уже заношенную.

Решив, наконец, неподдающуюся, как теорема Ферма, рациональному решению задачу с выбором «верх-низ», плюс обувь, плюс сумка, плюс украшения, плюс духи, Марго приступила ко второй.

Надо было сделать «лицо». Сделать так, чтобы всем было видно, что лично у нее все в порядке. И главное — самой поверить в это. Железное правило, которое столько раз выручало: чем хуже дела, тем лучше надо выглядеть.

Гамма светлая, персиковая, веки немного выбелить и чуть-чуть лилового к вискам. Обязательно положить тон. Сегодня без него никак. Надо замазать темные круги под глазами и подрисовать уголки рта — чуть вздернуть их, на самом деле уныло опущенных.

Утром Марго проведет совещание и всем врежет: каждому в отдельности, потом всем вместе, а потом опять каждому в персональном порядке. Вломит от души. Работать должны лучше: и на лопату брать больше, и кидать дальше. А кроме всего прочего, ей нужно просто проораться и снять напряжение.

После совещания она уедет с концами. Отчитываться перед трудовым коллективом она не собирается, но для проформы надо будет отбрехаться. Скажет, что уехала на переговоры к японцам. Новая компания на отечественном рынке — естественно, высокие технологии. Требуются большие кадровые вливания. Марго взяла этот проект под личный контроль. «Экспатов» так охотно, как раньше, сюда уже не возят: слишком накладно получается. И сейчас у ее агентства много работы, и акционерам скоро придут хорошие деньги. Хотя какое ей дело до акционеров? Она все равно на ставке.

II

В четырех зеркальных створках от пола до потолка отражалась неплохая фигура в жемчужного цвета белье. Все зеркала Марго делила на дружественные и нет. Например, из четырех створок ее «купе» самой дружелюбной была третья. Вот туда Марго обычно и смотрела на себя. А другие отражения игнорировала.

Она знала, что в служебном лифте, который по утрам поднимал ее на семнадцатый этаж офиса, в зеркало, если не хочешь испортить себе настроение, смотреть ни в коем случае нельзя. Оно всегда с нескрываемым удовольствием подсказывало Марго, что на шее у нее морщины идут поперечными «браслетами», а между бровей — вертикальной чертой. Носогубные складки тоже не радовали — во всяком случае, на этом настаивало зловердное стекло.

Огромное, от стены до стены, зеркало в ванной так и вовсе не оправдало ожиданий. Оно знало слишком много и потому, окончательно обнаглев, вело себя бесцеремонно, демонстрируя Марго, что «хризантемы в саду» уже немного того...

Но зато в собственном хорошеньком «Ниссанчике» зеркало заднего вида, как правило, ее не подводило. И когда Марго перед светофорами, вытянув шею, докрашивала ресницы, на которые никогда не хватало времени дома, она радовалась, что все еще не так плохо. Она знала, что пока все еще можно поправить, просто отоспавшись. Но также знала, что очень скоро сон будет уже не в силах освежить и омолодить лицо. Ничего, отступить есть куда — в кабинет к пластическому хирургу.

Третья створка, стараясь выслужиться, подхалимски подвирала не только насчет лица, но и по поводу всего остального.

Живота еще не было. Но по центру была противная мягкая нашлепка. Всю жизнь Марго борется с ней. Каждое утро проверяет ее в надежде, что она хоть чуть-чуть уменьшилась. И только это зеркало могло сказать ей правду — удобную и приятную.

Больше всего на свете Марго боялась поправиться. Мать была толстой, бабушка была толстой, даже такса Дуся отрастила себе такие бока, что ела из своей миски лежа.

В ее случае это было совершенно исключено.

Она, по выражению Почетного железнодорожника, носится по городу, как кошка, которой намазали скипидаром самые чувствительные места, она деловая и у нее железная воля.

И потом она — Марго. А это тебе не Рита и не Ритуля. Категорически запретила себя так называть кому бы то ни было.

И она до сих пор любит Сухова. Его порядковый номер в списке Марго уточнять не будем. Это только арифметическое обозначение последовательности встреч. Сухов — один, другие для нее не существуют. А она для него — Сороковая.

Никому не расскажет Марго, как она ненавидела свою фамилию. Может быть, именно из-за нее так много успела наворотить. Может быть, поэтому она и стала Марго.

Если ты носишь фамилию Сороковая, то ничего не остается, как стать первой. И обзавестись сногшибательным, роскошным именем.

Но для Сухова она — Сороковая. И в прямом, и в переносном смысле слова. Хотя, что до точных цифр, то тут явно не хватало еще пары нулей.

Она очень хотела за него замуж. Сухов сам эту тему не поднимал, но и предупреждений типа «ни на что рассчитывать не надо» за два года их связи не делал. Скорее всего, подозревала Марго, он об этом вообще не задумывался.

Пора было подводить черту. Но Марго все откладывала этот последний разговор, когда она поставит перед ним вопрос: «или-или», так как что делать со вторым «или», она не знала.

Как всегда, помог случай. Сухов объявил, что на пять дней снимает ее с работы и что она едет с ним в служебную командировку. Командировка будет проходить в забытой богом деревушке французской провинции Прованс. Возражения не принимаются.

У Марго горел синим пламенем проект года — японцы, но Сухов запретил ей даже вспоминать про дела: сам все устроит, сам обо всем договорится. Акционер он, ядрена вошь, или нет? А она чтобы думала не о японцах, а о нем, о Сухове. Который, между прочим, отдавал себя на целых пять дней в ее полное распоряжение. В субботу он должен был вернуться в семью.

III

Дом одной стороной стоял над водяной мельницей, и шум воды наполнял игрушечные комнаты с низкими потолками.

На деревянных стенах висели засушенные веники лаванды, и ее ароматом был до тошноты пропитан и воздух, и деревянная мебель, и постельное белье на высокой металлической кровати с пожелтевшим от времени вязаным покрывалом и множеством маленьких подушек.

В этом удивительном доме не было ни одной новой вещи. Но это была не бедность и не старость. Это была изысканная в своей простоте старина.

Три ночи аромат цветов будил в Марго обрывочные воспоминания о прошлой, неведомой ей, жизни. Она рассказала о них Сухову.

— Ого, значит, ты в прошлой жизни жила во Франции!

— А кем я тогда была?

— Ну не знаю, крестьянкой, наверное. Вон, лаванду, может, собирала или виноград топтала, или козочек каких разводила.

— Слушай, какие козочки? Я же — Марго.

Она требовала королевских почестей, но Сухов оставался глух и к ее аристократическому прошлому, и вполне демократическому настоящему.

Жили почти что натуральным хозяйством. Что не с грядки и не из сада, то из деревенской лавки.

Марго с благоговением варила на завтрак яйца из-под курицы, удивляясь тому, что они, оказывается, пахнут.

Сухов ел её сырники из деревенского творога с нахлобученными шапками густой сметаны, и потом, прикрывая от наслаждения глаза, подбирал хлебом остатки сметаны с тарелки.

«Белки с углеводами не сочетаются», — глядя на Сухова, машинально отмечала про себя она, думая каждый раз о том, что с легкостью бы отдала незаконно присвоенный королевский титул и честно заработанный «генеральский» за возможность кормить Сухова каждый день.

А готовить Марго никто не учил. У матери дальше картошки в «мундире» дело так и не пошло, бабка всю жизнь питалась в деповской столовке и возню на кухне презирала.

Марго не знала рецептов, она колдовала по интуиции и никогда не могла толком объяснить, чего, сколько, когда и как нужно добавлять, чтобы у пирожков тесто было тоненькое и хрустящее, а начинки много, чтобы грибной суп светился веселыми звездочками оранжевой морковки, зеленого укропа и тонкими полосками домашней лапши.

Его любимые сибирские пельмени она лепила один к одному, и, казалось, они сами выпрыгивали на блюдо из кипящей воды целыми и ароматными.

Ну, а уж запечь до золотистого цвета утку с яблоками и черносливом — это вообще было как дважды два...

Бабушкино депо нет-нет да и напоминало о себе добрыми, старыми идиомами, которые в нужный момент возникали, казалось, из небытия.

Хотелось незаметных женских подвигов. На третий день Марго втайне перестирала все его носки, трусы и футболки, хотя никакой необходимости в этом не было. Но какое было наслаждение вдыхать вместе с лавандой запах его тела и пота и потом рано утром, ста-

раясь не шуметь, гладить его вещи чугунным, как когда-то у её прабабушки, утюгом, который она грела на огне.

На момент пробуждения Сухова все было разложено на широком диване. Носки свернуты попарно, трусы сложены по осевой, футболки с модными знаками отличия — горловиной вверх, как на витрине магазина. Он молча взглянул на вещи и вышел курить в сад.

Завтракала Марго в одиночестве, глотая слезы вместе с чаем и заедая очередную несправедливость его любимыми оладьями с прозрачным клубничным вареньем собственного приготовления, специально привезенным ею из Москвы.

Правила игры она приняла с самого начала. Он женат. За два с половиной года Марго узнала о ней почти все. Она честно прошла этот путь, если в такой ситуации можно вообще быть честной по отношению к женщине, которую ты обманываешь вместе с ее мужем.

Сначала душила ненависть: она, а не Марго, владела этим мужчиной. Она понимала без слов, с какой ноги он встал с утра, она знала, о чем с ним лучше никогда не заговаривать, она имела право его лечить — все ведь знают, что «тридцать семь и три» для мужчины смертельный приговор. Она следила за тем, чтобы он не нажирался на ночь и пилила его за лишние килограммы и курение. Она делила с ним жизнь, и ему не надо было при ней вздерживать себя, казаться моложе, легче и сильнее.

Найти его жену в социальных сетях не представляло никакого труда. Марго, оставаясь одна, часами рассматривала ее фотографии, пытаясь отыскать в глазах или лице тайный знак избранности, недоступного ей знания. Приятная, но ничего особенного. Наверное, могли бы даже дружить, «если бы не...». Снимки были все с детьми или с их таксой Кристой, о которой Марго так много слышала от Сухова. Его самого там не было.

Марго узнала все не только о самой жене, она знала каждую ее подругу, и при встрече с любой из них на улице не ошиблась бы. Она знала, кто где работает, у кого какая семья, где отдыхают эти женщины, которые имеют счастье дружить с женой самого Сухова. Все, что можно было, Марго вытащила из интернета и собрала в тугой узел памяти.

Со временем ненависть как-то пообмякла, и присутствие где-то в пространстве его жены стало, как давно сломанный зуб, привычной, хотя и неудобной, частью отношений с Суховым. Марго, сидя перед экраном монитора, мысленно вела с ней долгие разговоры, пытаясь доказать, что ее мужу гораздо больше подходит она, Марго. Иногда жаловалась на Сухова, иногда задавала жене вопросы. Ей так хотелось узнать, какой же он дома, с ней, с детьми. Жена улыбалась с экрана, глядя на Марго чуть прищуренными в улыбке светлыми глазами. И ничего не отвечала.

Сухов о ней никогда не рассказывал и строго соблюдал конспирацию. Домой он всегда торопился попасть до десяти.

Закончился их четвертый день. Сухов уже заснул, раскинувшись по диагонали кровати и положив тяжелую руку ей на живот. Марго лежала на самом краю, на металлическом бортике, и смотрела на сухую лаванду у окна, которая от лунного света приняла очертания скорбного человеческого профиля. За стеной был слышен шум воды на мельнице, и заходились в любовном угаре кузнечики. Все. Ни машин, ни голосов, ни телевизора. И рядом лежал Сухов. Жесткие волосы слились с белой наволочкой.

Сухов был седой и, как дурак, переживал по этому поводу. Хотел как-то покраситься, потом резко передумал. Наверное, жена отговорила. И хорошо. Представить Сухова краше-ным было еще хуже, чем представить его лысым. У лысых, в конце концов, тестостерон зашкаливает, их бабы любят. Марго по себе знает.

Было грустно. Не берет ее Сухов в свою жизнь, и все тут. И в постели стало уже по-другому. Теперь Марго чаще думает о том, чтобы понравиться ему. И чем больше она старается, тем реже получается так, как раньше.

Лежать на металлическом ребре было совершенно невозможно. Но Марго терпела и думала о том, что и во всем остальном расстановка сил у них примерно такая же. Она на самом краю его жизни, зато он прочно — от края до края — занял все ее жизненное пространство, да так, что и рядом не пристроишься, и в сторону его не отодвинешь.

На столе в молчаливой истерике дробно забился о выскобленные доски стола телефон. — Наверняка, ЖД трезвонит. Зараза.

Марго бесшумно, боясь разбудить Сухова, метнулась к столу и быстро нажала на кнопку. Трубка, еще вибрируя около уха, спросила домашним голосом:

— Костик, это ты?

И Марго, еще не успев ничего понять, честно призналась:

— Нет.

Тупо молчала Марго, в недоумении молчала и трубка.

Ну вот, она же хотела, чтобы у них все было одинаковое. Потратила кучу денег на такой же, как у него, айфон. Посмотрела на стол — там мирно поблескивал черной спинкой ее собственный телефон. Посмотрела, наконец, на высветившийся на дисплее номер. Это была жена.

IV

Крыльцо было низким, и коленки у Марго были задраны к носу. Шел второй час ночи. Она сидела на ступеньках и думала о себе. В этом возрасте у ее матери была уже взрослая дочь и двое мальчишек-близнецов. Они жили в пятиэтажке, ходили через проходную бабушкину комнату. На завтрак мать жарила на огромной сковороде яичницу с колбасой. На подоконнике в кухне всегда стояла вонючая тарелка с остатками лука и селедки, которую так любил отец.

Мать всю жизнь проходила дома в байковых, цветастых халатах. Бабушка до самой пенсии была активной общественницей и председателем товарищеского суда в своем депо. Что было еще хуже, чем байковые халаты.

Марго принципиально варила себе на завтрак овсянку и после школы переодевалась в старые джинсы со свитером и белые носки. От общественной работы она увиливала всеми доступными средствами уже с третьего класса и тогда же записалась в районную библиотеку, поскольку книг в доме почти не было. Читала про «Блеск и нищету куртизанок», про свою тезку королеву Марго и все подряд у Мопассана, Куприна и Бунина, которого тогда уже начали издавать. Начало было многообещающим.

Мать угрюмо молчала и упорно замачивала ее белые носки вместе с мужскими черными. Бабка предлагала отдать Ритку после восьмилетки в депо, где коллектив Казанской железной дороги воспитал бы из их непутевой девки настоящего рабочего человека. Отец смотрел на названия книг, хлопал глазами и в недоумении крутил кудлатой, как у дворняги, головой.

Первый компьютер она купила на деньги, заработанные на почте. Газеты возила по своему участку на бабушкиной тележке для продуктов. После этого стало сразу легче. Заменяли неведомые ей новые имена и названия. «Богоматерь цветов» и «Служанки» Жене, «Иллюзии» и «Чайка...» Баха, Андрэ Моруа и Борис Виан... Это был винегрет из названий, авторов и часто непонятных воззрений на жизнь и человека. С этим всем еще предстояло разобраться, для того, чтобы стать... ну, просто, — для того, чтобы стать.

Откуда это было в ней, она и сама не знала. Может быть, имя было тому причиной.

Она не хотела ходить в байковом халате и цапаться с мужем, как мать. И не хотела быть почетным железнодорожником, как бабушка. И люто ненавидела селедку. Марго с третьего раза поступила в университет на вечерку и по окончании его ушла в корпоративный бизнес. По конкурсу поступила на инофирму. Через десять лет взяла ипотеку и купила себе квартиру. Научилась водить машину и сносно говорить по-французски. Стала генеральным директором.

И встретила Сухова.

Все еще сидя на крыльце, она вспомнила, что накануне вечером он долго возился с телефонными настройками. Потом, довольный, попросил перезвонить ему. В ухо ей ударили гнусавые звуки знаменитого саунд трека.

«Бонд. Джеймс Бонд». Сухов даже представлялся так же: «Сухов. Константин Сухов». Вот так. Потому и телефон, который всегда клал себе под подушку, забыл за столе — от радости, наверное.

Он проснулся поздно и тут же запросил есть. Пока он умывался и все прочее, Марго накрывала на стол. Решила, если он сам не заметит, ни о чем не рассказывать. Сухов с аппетитом поел, попросил еще чаю.

Впереди был последний, пятый, день. Перед отлетом собирались погулять по Марселю, зайти в магазины. Марго не о чем не спрашивала, послушно следовала за ним. Настроение у него было отличное.

В торговом центре разбежались по разным магазинам. Договорились встретиться у фонтана. Марго пришла раньше. Когда ждать надоело, она отправилась на поиски, хотя понимала, что лучше этого не делать. Наверняка, втихаря от нее покупает сейчас какие-нибудь цацки для жены. А может, и не только для жены.

Дважды за эти дни, спросонья, он называл ее Сашенькой. Сухов не «гамак», это точно. Значит, Сашенька не мальчик, а, скорее всего, девочка. И не исключено, что уже достаточно взрослая. А дочку его зовут Настя. Так что, обмануть себя, хотя и хочется, трудно.

Он стоял в интерьерном бутике и выбирал настольную лампу. Внимательно осмотрел массивное основание, попросил найти другой абажур. Еще раз проверил, как всё смотрится на расстоянии. Опять попросил поменять абажур.

Марго смотрела через стекло витрины на него, на лампу и думала о том, что лично ей с ним уже точно ничего не светит.

Уж лучше б он выбирал для жены украшения. Ничего особенного это бы не означало. Так поступают почти все мужики — просто для отмаза.

Но он выбирал лампу для своего дома. Если он любит свой дом, это автоматически означает, что он любит жену. И она, Марго, тому не помеха. И Сашенька, вероятно, тоже. И жена, получается, тоже никому не помеха. Так они и дальше могут жить, не мешая друг другу и вместе любя седого и длиннорукого Сухова.

У

Вот как много можно вспомнить за те минуты, пока рассматриваешь себя в зеркало. «Персик» уже расцвел на щеках, сиреневые тени соседствуют с зеленоватыми глазами, аромат за ушами и на запястьях вкрадчиво требует по отношению к даме не только уважения. Она относительно молода, почти красива и пока успешна. Она генеральный директор, у нее высокая зарплата, куча бонусов и своя квартира. И еще — модная тачка. У нее, наконец, королевское имя. И она всем еще покажет.

Открыла малиновый йогурт, прислушалась в своим ощущениям, быстро вернула стаканчик в холодильник. С отвращением выпила зеленого чаю. Пристроила большую чашку с Эйфелевой башней на кучу посуды в раковине.

Офис встретил ее настороженной тишиной. В кабинете лежали бумаги на подпись. Пожилая секретарша, бесшумно ступая разбитыми ступнями в матерчатых туфлях, больше похожих на домашние тапочки, принесла отредактированный отчет для совета директоров.

Нет, не сегодня. Тем более что Валентине она полностью доверяет. Та сама уже сверила все цифры и вычитала ошибки.

Просмотрела ежедневник, придвинула стопку анкет. Отодвинула. Закурила и посмотрела на секретаршу. Машинально отметила, что коленки у нее огромные, как у футболиста. Валентина ответила ей внимательным, грустным взглядом.

«Все чувствует, старая гиря», — Марго не уставала удивляться ее проницательности.

Заправляя скобки в степлер, Валентина тихим голосом сказала, что все сотрудники на месте, к совещанию готовы. Обстановка спокойная, все идет в штатном режиме. Японцы из рук кормятся и очень ждут новых предложений. И только что стало известно, что Марго вызывают «наверх».

Марго благодарно кивнула. Как она была права, когда поменяла вертлявую, блядовитую Любочку на медлительную и тяжелую Валентину. Секретарша должны быть именно такой — незаметной, тихой, умной. И чтобы, как мать родная, все бы видела, все понимала без слов. И чтобы, глядя на нее, каждый раз можно было бы радоваться, что у самой на ногах еще шпильки, а не тапочки.

В дверь просунул узкую, как у всех европейцев, голову Жан-Жак. Марго давно заметила, что в России иностранцев, помимо их деликатной предупредительности, с которой эти, часто неглупые, люди позволяют себя обманывать, от наших соотечественников отличает еще форма головы.

Она долго не понимала почему, и только недавно Валентина ей это объяснила.

Тамошних детей кладут не на спинку, как наших, а на животик, и потом перекаладывают с одного бока на другой. Если делают это нечасто, то головки у них получаются сплюснутые с боков.

Жан-Жака точно забывали перекаладывать с бока на бок. У него было узкое лицо, узкий лоб и выдающийся вперед тонкий, блестящий нос. Темные глазки еще сонно, но уже решительно смотрели на Марго.

Это маленький человечек был для Марго большой проблемой. Должность ему придумали французы — просто для того, чтобы в компании было свое, французское, недремлющее око. Но в рабочее время «око», как правило, именно дремало, окончательно просыпаясь только ближе к вечеру, когда обозначалась возможность провести вечер в очередном злачном месте российской столицы.

Самым серьезным недостатком Жан-Жака было периодически накатывающее желание помочь, которое посещало его, как правило, на утро после выходных. То есть именно в понедельник.

— Виват, моя королева!

Жан-Жак изучал русский на факультативе у себя во Франции, потом почему-то работал операционистом в банке, а полгода назад французы привезли его в Россию к Марго в качестве ее заместителя. Главными аргументами «за» при принятии этого смелого решения были общительный характер и отважное пренебрежение Жан-Жака к любым собственным ошибкам.

— Здравствуй, Жека. Что сегодня?

— Марго, сделай это для меня. Есть один parfait кандидатур для наших маленьких камикадзе.

— Прекрати. Мы их любить должны, а ты обзываешься.

— Нет, я серьезно. Логистик у них практически уже есть. Очень милый человек. Блондин, настоящий Есенин.

— Но нам нужен не блондин, а именно логистик. И желательно, чтобы он не тырил японскую технику с их терминалов. Понятно говорю? Или перевести на французский?

Очки задвигались на блестящих щечках, глазки сощурились, все остальное тоже сморщилось в улыбке.

— Не надо переводить. Ты же все равно не сможешь. Так вкусней.

— Так где ты его нашел?

Жан-Жак скорбно сдвинул брови домиком, а губы сложил подковой.

— Опять «Винтаж»?

Жалобной скороговоркой:

— Марго, это же лучший бар в Москве. Прекрасная карта, сервис, вокруг исключительно благородные люди. Марго! Слово шевалье!

— И кто он, твой «кандидатур»?

— Очень милый человек. Блондин. Настоящий Есенин.

— Ты знаешь, просто так, интереса ради: а кем трудится твой Есенин?

— Большой спорт, футболист. Но прекрасной души человек. И, главное, знает эту работу.

— А почему вдруг футболист? Почему не фигурист или лыжник? И вообще, какая тут связь?

— Связь есть.

— Какая?

— Забыл. Но какая-то связь была.

— Может, вспомнишь?

— Марго, ты не сердись, пожалуйста. И не расстраивайся.

— Королевы не сердятся. И никогда не расстраиваются. Когда им грустно, они просто кого-нибудь казнят.

— Понял. Но у нас есть еще минут пять? Взгляни на него, он тут в коридоре совершенно случайно оказался. И он тебе сам все объяснит. Я ему слово дал...

— Слово шевалье?

Жан Жак высунулся в открытую дверь и стал мерно раскачиваться назад и вперед, как при перетягивании каната. Потом, громко охнув то ли от неожиданности, то ли от радости одержанной победы, оказался снова в комнате, но уже не один.

«Кандидатюр» с отвращением завел глаза под потолок и воспитанно икнул в кулак. Жан-Жак ободряюще приобнял его за плечи.

Тратить время на вводную часть Марго не хотела. Главное — соблюсти политес, чтобы Жан Жак не наябедничал французам, и всё.

— Образование какое?

— Образование у меня самое лучшее. Практическое образование.

— Понятно. Опыт работы имеется?

— Конечно. У меня мышшь не проскочит. Муха не пролетит.

— Скорее, уж мяч...

— Какой мяч? Я ж на воротАх стоял. ВоротА охранял, короче.

— От чего?

— Дык, от покражи. Если б не я, вообще все б расхерачили. Ой. Повыносили.

— Откуда?

— С базы, понятно.

— Что ж ты про «большой спорт» нашему сотруднику заливал? Раз он иностранец, так вроде как дурак, что ли?

Марго почувствовала почти физическое удовольствие от этого гипотетического допущения.

— Почему дурак? И не морочил. И сразу сказал. Что вратарем.

— Господи, а в «Винтаже» ты как оказался? Тебе б, милый, в пивной интересней было бы.

— Прямо сразу уж и в пивной! Я, может, в винах теперь разбираюсь не хуже нашего забазой. Я ж на алкашке воротА охранял. А у нас забазой знаешь какой? То ни уя — ни уя, а то, вдруг, рраз! И б твою мать. Ой.

А в бар пошел досуг провести. Там девчата красивые водятся, а я тоже хочу романтикой заниматься. И там ваш Женька. Мы с ним сначала на «брудершаф», а потом он как привяжется: «Хочешь да хочешь, говорит, у камикадзе на складе работать?». Он меня сам ночевать к себе позвал, и за жопу сам еще меня хватал. А я что. Я, если что, могу и по кумполу отоварить. Не, ну я к вам не напрашиваюсь, мне, может, шурин на хладокомбинате в охране место обещал. В общем, я того. Я пойду?

— Иди.

Марго закрыла глаза и сжала голову руками.

В кабинет уже заходили люди. Пора было начинать совещание.

И она действительно отвела душу и всем врезала. Говорила она о том, как все плохо, как все разболтались, как всем наплевать на компанию, которая во всем идет им навстречу и отчасти заменяет родную мать.

— Это в вашем лице, надо полагать?

Вопрос посмел задать самый вредный из всех. Левону было на что жить и куда уйти: папа имел доступ к какой-то нефтяной пипетке, откуда регулярно капало. Самой вытурить этого типа ей не позволяло самолюбие. Именно поэтому ему прощалось то, что Марго обязательно припомнила бы другому.

Она знала, что самое безотказное и бьющее в цель средство — просто ничего не заметить. Искра, брошенная на благодатную почву застарелого взаимного раздражения между ней и «всеми остальными», не возгорелась в пламя, а тихо истлела, отлетев от тугоплавкого щита ее безразличия.

Удовольствие портило присутствие Валентины.

Почему-то после каждого совещания перед ней было неудобно. И сейчас, когда она уже вернулась в кабинет, опять душила злость, и было стыдно.

Марго знала, что ее не любят. И знала, что за глаза зовут ее «Гильотина».

Но и сама она тоже не помнила ни одного своего начальника, о котором бы думала без отвращения.

«Да наплевать. А чего меня любить, я им, в самом деле, мамаша, что ли?»

Подумав минуту, крикнула из-за своей двери в предбанник:

— Валентина Федоровна, можете мне объяснить, а чего они меня так не любят?

— Кто вам сказал?

— А для этого нужно, чтобы кто-то сказал? Еще скажите, что обожают они меня. А я им, между прочим, зарплату в прошлом году подняла, каждый раз перед акционерами выгораживаю... В офис новый переехали, питание горячее организовала. Чего им еще не хватает? Кто еще о них так заботиться будет? Где они еще такую дуру найдут?

Валентина заерзала на стуле. Потом тяжело поднялась и пошла в туалет мыть чашку.

Когда она вернулась и заглянула в кабинет, Марго молча водила бархоткой по носу. Но теперь уже Валентине хотелось сказать.

— Знаете, Маргарита Степановна, вы им, конечно, не мать родная, но и не мачеха. Посмотрите, вы же их — надо и не надо — только ругаете. И за дело, и впрок, по принципу: «Если б было за что, вообще б убил».

— Почему, я хвалю. Вон, Нестерову недавно к себе вызывала, благодарила за «Найки». Хорошего им кандидата на коммерческого директора нашла.

— Именно, что к себе вызывали. А вы бы к ним в этот чертов «опен спэйс», где они за стеклянными перегородками, как мыши лабораторные, сидят, зашли и при всех сказали бы ей все. Я, знаете, своих детей до сих пор хвалить стараюсь. Ну это, когда они есть, понимаешь.

— А при чем тут дети? Вы мне тут азы менеджмента преподаете, я же это все давным-давно по учебникам проходила.

— Тогда другое дело. Вам чай заварить?

Марго злилась на себя, на Валентину, на этот не нужный ей разговор.

Теперь быстро в головной офис, в Хамовники. Чего им приспичило, непонятно. Там будет все руководство, а значит, и Сухов.

Уже закрывая за собой дверь, бросила: «В Хамовники. С концами». Валентина молча кивнула.

«Как хорошо, что она мало говорит...»

УІ

Через час она вышла от руководства, как космонавт выходит с борта корабля в открытый космос. Впереди была мгла, которая называлась будущая жизнь. Прошлая жизнь только что закончилась.

Новую жизнь можно было начать по-разному. Варианта было два. Первый — радикальный: пойти напиться и забыть обо всем.

Второй — терапевтический. Отвести душу там, где тебя по-любому будут слушать, — и всего за три тысячи в час.

Но прежде чем напиться или отдаться в руки психоаналитику, нужно было заехать еще в одно место.

...Было, как обычно, немного холодно и стыдно. Марго уже тридцать семь, а она так и не научилась относиться к медосмотрам по-взрослому.

Он толстый, бородатый и всегда жизнерадостный дядька. Все делает с удовольствием, включая и то, что входит в непосредственные обязанности гинеколога. Марго дорожит этим знакомством.

— Правильно вы забеспокоились. Только поздно: шесть недель уже. О чем раньше думали?

— Да ничего не должно было быть, я же следила.

— Ну, теперь что уж говорить, теперь — полный вперед. Запасайтесь памперсами.

— Это исключено. Ни в коем случае.

— Маргарита Степановна, помнится, в прошлый раз вроде тоже было «ни в коем случае». Про ваш резус вы уже всё знаете, или еще рассказать?

— Что вы меня резусом пугаете? Я по-любому не могу рожать.

Марго за ширмой, вытянув шею, пыталась протянуть голову через узкую горловину блузки, не измазав в косметике ворот. Пуговицы впопыхах она так и не расстегнула. Она задышалась от волнения и того, что ей навязывают невозможное решение.

— Я вас тогда уже предупреждал. Сейчас — это ваш последний шанс, и то под большим вопросом. Вы уже даже не старородящая, вы, с учетом состояния ваших почек, извините, реликтовый экземпляр.

— Какой реликтовый! В Европе после сорока по первому разу рожают и ничего.

— Мы не в Европе, и у вас отрицательный резус. И еще куча разных гадостей. Конечно, сейчас поздно говорить, но вашей мамаше не мешало бы побольше внимания обращать на здоровье своего собственного ребенка. Дочь у нее росла, а это очень деликатное дело. В общем, если выносите, я очень удивлюсь. Очень может быть, дело просто выкидышем кончится. Мужу говорили?

— Мужа нет. И не предвидится.

— Ну ничего, вы уже большая девочка, справитесь. Хотя, конечно, автору-исполнителю можно было бы и сообщить, порадовать, так сказать.

— Да вряд ли он обрадуется. У автора своих уже двое.

— Ну и что? Одно другому не мешает. У меня тоже, вон, свой балбес здоровый, а сейчас маленькая Дашка появилась, и знаете, сколько радости? Пятый год уже, читает на двух языках, балетом занимается. Земляничка моя.

— Ну так у вас жена, наверное, с ребенком возится.

— А при чем тут жена? Дашка у меня маленькой тележечкой к моему семейному вагону, так сказать, едет.

— А жена про вашу «тележечку» знает?

— Зачем? Я ее берегу. Мы с ней двадцать шесть лет душа в душу прожили. У нас парень взрослый уже, сам девок домой таскает. Нам с женой поздновато второго поднимать. А тут молодая женщина, дочку растит, меня радует. Хорош-шо!

— Кому?

— Всем хорошо, уверяю вас! Жену люблю, и Милочка — так бы одна куковала, а тут я всегда помогу, Дашку нашу люблю, ее обожаю.

— Так вы же жену, сказали, любите.

— Ну и что? Сказал.

— Ну вы уж как-то определитесь, я уже запуталась.

— Да поймите, глупая вы женщина, здесь одно, а там — другое. Я и старуху свою люблю, и девчонок.

— И как? Не напрягает?

— Прекрасно тебя чувствую! Так, ну возвращаясь к вам, Маргарита Степановна. У вас есть последний шанс. И он тоже под вопросом. Можете потом всю жизнь вспоминать наш разговор и мою Дашку. У вас в запасе неделя. Господи, да что ж вы убиваетесь так?

Маргулис с удовольствием поскреб в бороде, оттолкнувшись от пола, крутанул в кресле на колесиках и выписал Марго направление на анализы.

УІІ

Психоаналитик, в миру София, с нетерпением ждала, когда пациентка заговорит. Через полтора часа София должна была уехать из дома.

По утрам она читала лекции в институте, по вечерам вела платный семинар по гармонии отношений в браке. К ней записывались, тратили деньги, время и не ленились приходить в группу после работы. Людям очень хотелось знать не только о гармонии, но и о том, как вообще сохранить то, что нужно потом гармонизировать.

А недавно Софии приснился сон. Он отпечатался в памяти, как кулич на мокром песке, четко и выпукло — так, что, казалось, его можно было потрогать пальцем.

Она плывет по реке — широкой и быстрой. Прозрачные брызги разноцветным дождем возвращаются в воду и снова поднимаются в воздух. Низкие берега выстланы кудряшками мягкой зелени.

Плыть легко, ничто не держит ее, не тянет вниз, и она с легкостью, как дельфин в море, поднимает свое тело над водой и опять бросается в волны.

За ней плывет муж. Он не успевает и все время просит плыть медленнее. «Не так быстро ... не так высоко...», — слышит она за спиной.

Но вот картина меняется. Вокруг стоячая вода, пятна мазута, гнилые коряги, паутина липнет на лицо. И неба не видно от болотных мошек. И так много стрекоз, которые, дрожащей слюдой зависнув над водой, пристально рассматривают ее в ожидании единственно нужного слова. Почему-то оно должно быть обязательно сказано.

София мучительно ищет это слово и не может найти.

Плыть почти невозможно, сейчас она утонет. Смерть подбирается все ближе, тина медленно утягивает ее ко дну. Так продолжается мучительно долго, пока ей не приходит в голову, что выход есть: надо прорываться вперед. Отталкивая коряги, она беспорядочно бьет руками по воде, и скоро ее опять подхватывают чистые волны. И опять солнце, и опять разноцветные брызги воды. Но теперь она плывет одна. И понимает, что ей хорошо. И слово, наконец-то, найдено. Мутное слово: «Энтропия».

София бережет в себе это, уже подзабытое, ощущение радости. Недаром она так верит в силу подсознательного. Недаром и докторскую на эту тему писала. Но диссертация одно, а живая жизнь, да к тому же собственная, совсем другое.

Муж врет давно. А она молча, с профессиональным интересом, наблюдает. И ночью испытывает к нему почти благодарность за то, что он, аккуратно поцеловав ее в плечо, поворачивается спиной и быстро засыпает.

А он лучится признательностью, поскольку его ни о чем не расспрашивают. И потому отношения у них прекрасные. Оба давно балансируют на грани, и никто не решается сделать первый шаг.

Интересно: когда у человека не ладится с карьерой, то он чаще всего говорит, что для него главное — это семейные ценности и дети. А если ничего не получается в семье, то в этом случае оказывается, что главное в его жизни — это работа, самореализация, служение Делу, науке, искусству или родному проектному институту.

Муж побывал по обе стороны баррикад. Сначала там, где «семейные ценности», потому что ни черта не выходило с кандидатской, потом, когда вечерами стал где-то пропадать, попробовал говорить о «служении». Сейчас муж вообще молчит.

София знает, что в ее положении лучший выход — не «служить Делу», а просто уйти с головой в работу. Наука — ее любовь и слабость. А деньги она всегда консультациями заработает.

Вот перед ней сидит еще одна клиентка. Был когда-то такой фильм «Девушка без адреса». А эта вот — «девушка без возраста». По годам не намного ее моложе, но сильно задержалась в девичестве. Уперлась, как кошка, которая оцепенела в своем упрямстве. И ее не сдвинуть, можно только взять на руки и унести.

Но брать на руки и нести туда, где ей положено быть сообразно возрасту, некому. Знакомая аспирантка предупредила, что «из корпоративных, но не «планктон», а «руководство». Сейчас это «руководство» с надеждой смотрит на нее. Думает, что у Софии есть для нее готовый рецепт счастья.

Причины, по которым приходят к ней подобного рода дамы, две: или затравили на работе, или бросил любовник. Хотя такую не особенно затравишь. Значит, любовник.

Интересно, а у ее собственного мужа какая любовница? С такой, как эта, ему тяжело бы было. Эта бы его быстро тапочки в зубах носить приучила. А может, и нет. София знает: для того, чтобы в ускоренном темпе пройти путь от стервы до узумбарской фиалки, женщине иногда достаточно просто по уши втрескаться.

Как все плохо в ее собственной семье, София поняла совершенно случайно. А муж так ничего и не заметил.

В машине, в боковом кармане двери, обнаружилась початая бутылка с водой. То, что сам муж сладкую «Колу» пить ни за что не станет, София знала наверняка. Кто пил из нее? Наверное, тот, кто ехал с ним в машине на ее месте. Сиденье было отодвинуто, спинка откинута назад.

Выяснять ничего не стала, и так все понятно. Накопленная злость дала о себе знать в том остервенении, с которым она выдернула из узкой щели кармана бутылку и размахнулась, чтобы вышвырнуть ее за окно.

Муж ловко перехватил «Колу» и, продолжая о чем-то говорить, машинально допил остатки воды, которую он на дух не переносил. Брезгливый и всегда осторожный, он даже не поморщился. Он допил за Ней. И, наверное, если что, доел бы за Ней.

Знания помогали зарабатывать деньги, но совсем не помогали жить в условиях тотальной измены. Хотелось всего того же, что и все обманутым женам: сказать ему, что она все видит и что даже пытаться ее обманывать не стоит. Хотелось застукать и убить на месте обоих. Хотелось плюнуть в их физиономии и долго бить их ногами по чему придется. Хотелось разреваться в голос и, как в детстве, «все рассказать маме».

Но София владеет темой и знает, что правило номер один: никогда не пытаться узнать, кто та женщина, с кем спит твой муж, и ни в коем случае не пытаться увидеть ее. «Она» должна оставаться абстрактным фантомом, иначе никогда уже не стереть из памяти ни сломанного ногтя на руке, что еще недавно трогала твоего мужа, ни родинки на шее, которую целует он, ни голоса, который смеет шепотом произносить его имя.

Правило номер два: никому ни о чем не рассказывать. Потому что нет такой подруги, которая бы, сама об этом не подозревая, не порадовалась бы тому, что услышит.

И потому что нет такой матери, которая не сказала бы: «Ну вот, я так и знала!».

А что тогда делать? Опять же, идти к ней, к психологу. А куда идти ей самой?

София вечерами молчит. Муж тоже особенно много не разговаривает. Отношения ровные. Полный штиль. Хорошо, что ей приснился этот сон. Теперь она знает, что нужно делать.

Девушка, наконец, начала говорить. Она рассказывала, как за эти два года полностью потеряла контроль над своей жизнью, что по выходным боится пропустить звонок и носит телефон в душ и туалет. Как на работе все ее ненавидят и обо всем догадываются, а секретарша тихо презирует ее. Как она заискивает в постели и как ее обманывают.

— Не в курсе были, что он в браке?

— Всё я в курсе. Два года уже.

— И это вас обманывают? Скорее, вы обманываете. Проблема-то в чем?

— Проблема в том, что он все время врет. Врет и, мне кажется, боится.

— Боятся они все, если есть что терять. А врите вы все вместе. В том числе и его жена, если делает вид, что не понимает.

— Может, она действительно не понимает.

— Скорее, не хочет понимать. Самая тупая женщина улавливает это очень быстро. Исходите из того, что мужчины так устроены. Считается, что они должны пройти через все. У кого-то этот увлекательный процесс затягивается до пенсии. Или позже. Цена вопроса — то есть муки, через которые проходят и жены, и любовницы, их, как правило, не волнует.

Но есть его ответственность, и есть ваша ответственность. И есть ответственность его жены. Каждый делает свой выбор сам. И жаловаться, в общем-то, не на что. Ну, так дальше что? Рассказывайте.

УІІІ

...В кафе, куда они зашли после покупок, столики были по-французски крошечные, лампы поставить было негде. Он положил огромный пакет, как ребенка, на колени. Что там в пакете, Марго не спрашивала. Она и так знала. А он ничего не объяснял, потому что ей это знать было не положено.

Быстро перемешивая в кофейной чашке фигурный вензель из сливок, Марго, немного подождав, сильно стиснула зубы, как капсулу с цианистым калием раздавила, потом прислушалась к своим ощущениям, удивилась, что не упала замертво и, обреченно вздохнув, рассказала ему о том, что было ночью. Как, бывало, в детстве во всем признавалась матери еще до того, как обнаружится разбитая ваза или порванные колготки.

А вот ЖД в таких случаях говорила, что Ритка дура, потому что не понимает простого: «Не буди лихо, пока оно тихо».

Сухов еще улыбался, потом взял телефон и просмотрел внимательно входящие звонки. Свободной рукой он крепко держал лампу, и Марго казалось, что сейчас он этой вот самой лампой на пузатой керамической ноге даст ей по физиономии.

Кофе еще не был выпит, ложечка еще что-то перемешивала в чашке, а в их отношениях, наконец-то, наступила определенность.

Все остальное время она видела только его спину и прижатую к уху руку. В аэропорту он с ней почти не разговаривал. В одно касание она превратилась в «персону нон грату», как говорила ее политически подкованная бабушка. Все внимание Сухова было сосредоточено на том, что он пытался сказать в трубку и что писал, с силой ударяя жесткими пальцами по послушным буквам на дисплее телефона.

Состояние, когда ты есть, но тебя уже нет, напоминало ей клиническую смерть — как будто она смотрела на свое бездыханное тело со стороны и понимала: никто вокруг не догадывается, что она рядом и что она еще жива.

Забуть. Забуть выражение его лица. Эта детская растерянность, которая больше напоминала детскую неожиданность. Забуть напряженную спину, которая ожидала удара. А, может быть, просто пинка.

Почему она решила, что он особенный, штучный, козырный? Она мечтала найти мужика сильнее себя, только при чем тут Сухов?

Подруга Аська замужем почти двадцать лет. И будет еще сто. А могла бы, как разумный представитель фауны, после спаривания сразу же сожрать своего мужа за бесполезностью. Аськин муж, похоже, до сих пор не уверен в благополучном исходе дела.

Марго такого счастья не нужно. Ей нужна твердая рука. Она даже согласна на политически оправданные репрессии. Как рассказывала о своей молодости бабушка, которая говорила, что всю жизнь носит под сердцем красное знамя.

На заданный однажды, по неосторожности, вопрос своего зятя и отца Марго, о том, каким образом красный стяг оказался там, зять сразу же получил свернутой газетой по лицу. И долго потом смеялся.

У Сухова вместо подбородка — звероподобная кость и омерзительно-кокетливая ямка посередине. Седина только прибавляет ему пикантности, а очки — изысканности.

Он мало говорит и мало курит. Но делает это так значительно, что понимаешь, что са-

мые важные решения рождаются в этой светлой от седины голове именно в такие редкие минуты.

Нет такого подвига, которого не совершил бы Сухов.

Близ Сочи он поднимался в горы и пел там про вершину, «которую ты так и не покорил». Каждую зиму он брал отпуск на десять дней, чтобы с утра до вечера прочерчивать рваные синусоиды на почти отвесных склонах европейских горнолыжных курортов.

Сухов — охотник. В загородном доме у него по стенкам висят звериные головы со встревоженно поднятыми ушками и грустными стеклянными глазами.

Марго, увидев как-то в интернете эту выложенную женой фотографию, почувствовала, что на той стене охотничьих трофеев есть гвоздик и для нее. И что глазки с ушками у нее уже такие же.

Он любил вытертые джинсы, пиджаки с клубными пуговицами и остроносые ковбойские сапоги. На поясе у него вечно болталась длинная цепочка с ключами от машины, мотоцикла, катера, гаражей, квартиры, дачи и, не исключено, детской коляски с полным приводом. И недавно он начал заниматься на курсах по вождению вертолетов.

Ну и как к нему после этого могли относиться коллеги? Все зависело от коллег.

...Позапрошлой зимой: тяжело задвигала стулом и не своим голосом заговорила в своем предбаннике Валентина. Потом дверь открылась и, минуя секретаря, в кабинет к Марго ввалился мужик.

Казалось, что не он опирался на пол, а пол сдался на милость победителю и покорно прилип к подошвам. Ноги были, как у откормленного краба, с хорошо заметной кривизной по внутренней линии бедра. Руки были непропорционально длинными, лицо и шея — почти коричневые. Но, глядя на Сухова, казалось, что только так и может выглядеть мужчина, способный ввергнуть в ступор давно уже плюнувшую на все Валентину.

У Марго тогда сразу же испортилось настроение. Оказывается, все, что было в ее жизни до этой минуты, называлась «белая полоса». А черная начинается сейчас, с этого момента, когда к ней вошел этот косолапый мужик с мордой китобоя.

Говорили мало и только по делу. Марго была мрачнее тучи. Он тоже особенно не веселился. Они больше переглядывались, присматривались друг к другу. Марго понимала, что все уже произошло, и что будет дальше, зависит только от него. Она не сможет сопротивляться, не сможет даже сделать вид, что еще «думает». Впереди тихо плескалось море слез, а на его волнах бесшумно покачивалась рыхлая медуза полной, тотальной зависимости. Как во времена авторитарного режима бабушкиной юности.

Через месяц она почти поверила себе, что все к лучшему. Не звонит, и слава богу, может, тревога была ложной. Все испортила Валентина, когда рассказала о том, что «тот самый Сухов», оказывается, в Альпах сломал ногу и потому лежит сейчас в гипсе.

Он, наконец, позвонил, и они встретились в ирландском пабе, где было много шума и который совсем не располагал к романтическому свиданию.

Он приехал со своей «костяной ногой», сплошь покрытой подписями, картинками и неприличными словами. Шум перекрывал голоса, и говорить не хотелось. Она смотрела на его как будто буром прокрученную ямку на подбородке и думала, как, откуда сре-

ди особей, которые исключительно по формальным признакам могли еще относиться к мужскому братству, мог оказаться такой экземпляр. И что теперь делать. Ей заранее было жалко себя и хотелось плакать.

На прощание в машине он поцеловал ее в щеку и сказал, что пока еще не время, но скоро он выйдет на связь. Хочет ли этого Марго, он не спрашивал.

И опять он долго не звонил, и каждое утро Марго удивлялась, что она еще жива, что, как обычно по утрам, стоит перед своей третьей створкой в твердой уверенности, что ей нечего надеть. Она ездила на переговоры, заключала договора и протоколы о намерениях, проводила совещания, успела за это время закончить старые отношения и, не раздумывая, сделать мини-аборт.

IX

Но вот время пришло, а вернее, как догадывалась Марго, просто до нее дошла очередь. Началась новая жизнь. Он всегда знал, что нужно не только ему самому, но и ей. В ресторане меню оставалось в его руках. Он заказывал и для себя, и для нее. Марго обмирала от счастья и чувствовала себя маленькой принцессой.

Куда им ехать и что делать, решал тоже он. Марго, сидя рядом в его машине, ни о чем не спрашивала. Ей было все равно. Главное, что она с ним и что у них еще целых три часа.

Дома она не стирала полотенце, которым он вытирал руки и — тем более — другие части тела. Уже одна, она клала полотенце рядом с лицом на подушку и ночью дышала Суховым. И надышаться не могла.

Вольтаж был слишком высоким. Марго понимала, что долго так она не протянет. Только утром, в своем офисе, она становилась прежней. Идя по коридору, она слышала легкий шелест голосов и знала, что все эти люди, которые работают под ее началом, предупреждают друг друга о том, что пришла «Гильотина».

И она действительно не церемонилась, часто резала по-живому. Опытный кадровик, почетный железнодорожник и по совместительству бабушка Марго любила говорить, что не только принимать на работу, но и вовремя увольнять людей — большое искусство и особая привилегия.

Сухов уезжал то кататься на лыжах, то на сафари. Привозил ей немецкие тарелочки на стену, ракушки, кораллы, туземные поделки. Сувениры множились и повторялись.

Поначалу обедали в городе, но он любил домашнюю еду, и потому они стали проводить время у Марго дома. Было это нечасто, поскольку он всегда был занят и нужен всем. Марго подозревала, что отчасти это было еще и потому, что у него имелась жена и двое детей.

Толстая Дуся не понравилась ему с самого начала. И Марго срочно отправила ее к ЖД, а сама решила похудеть еще на три килограмма.

К его приходу Марго начинала готовиться за два дня. Первый день убирала квартиру, второй день закупалась. Утром в день встречи вставала в пять и готовила. Салаты были

порезаны, но не заправлены, чтобы не отошли водой, закуски разложены по тарелкам, все было взято под пленку. Свежая семга, которую любил Сухов, лежала во льду, укрытая ломтиками лимона, готовясь в нужный момент залечь на гриль.

Приходя к ней, он, как и всегда, мало говорил, изредка курил и вздрагивал от любых звуков. Как-то в дверь позвонили. На пороге стояла зареванная молодая женщина, которая разыскивала по подъезду сбежавшего котенка.

Марго, вернувшись в комнату, обнаружила Сухова в своей большой, совмещенной с туалетом, ванной. Из-за закрытой двери он попросил еще пять минут для полной готовности. Потом долго шумел водой, и Марго поняла, что с ним случилась большая неприятность. Но Сухову это так не шло, что она решила: этого не было вовсе. Просто он слишком впечатлительный.

Он иногда рассказывал ей про дайвинг, серфинг, рафтинг и яхтинг. И о чем-то там еще. Он все знал, и, что еще не освоил, стояло у него в плане.

О жене — никогда и ничего. О детях с восторгом, что они есть и что они — его копия. У мальчишки уже такая же ямка на подбородке, и он мечтает стать автогонщиком. Дочка тоже похожа на него.

Дни бисером нанизывались на нитки недель и месяцев. Праздник жизни вот-вот должен был наступить, но все никак не наступал. Марго ходила на рынок за зеленью, в «Азбуку вкуса» — за семгой и в «Коллекцию вин» за «Кьянти».

Сухов всего не съедал, и она еще неделю доедала свои салаты и закуски. Только с рыбой он обычно справлялся самостоятельно.

Марго каждый раз злилась на себя, но понимала, что выбросить хорошие продукты она не в состоянии. Вспоминала вечные остатки селедки с луком на подоконнике кухни в родительской квартире и злилась еще больше.

Х

Марго перевела дух, посмотрела на Софию, на комнату, где они с ней устроились. Породистая, тяжелая мебель, высокие потолки. Портрет старца в черной профессорской шапочке таблеткой — или ученый какой, или предок. А может, и то, и другое вместе. И неожиданно в углу — большая статуэтка католической Девы Марии, а рядом с ней — много живых цветов... «Неужели психоаналитики тоже в Бога верят?»

— Дальше? Да. Дальше вот что...

...Головной офис. Хамовники. Сухов приветливо ей кивнул и сел за стол по диагонали от нее. После их возвращения из Франции на связь он не выходил.

Через десять минут Марго узнала, что ей предлагают перевестись на ту же позицию в региональный офис в Екатеринбурге. Вместо нее генеральным в Москве назначают Жан-Жака.

Почему это вдруг она решила, что Сухов будет ее защищать? И что он им всем скажет? Что это он уговорил ее плюнуть на работу и в ответственный момент укатить в Прованс?

Но ее не ругали, а наоборот, говорили, что именно ее опыт необходим для успешного открытия новой «регионалки».

Что-то случилось здесь, в головном офисе, за эти дни. Они все сами уже решили, обо всем договорились, даже не спрашивая ее. Зачем они ее сдергивают?

Для Марго это было предложение об увольнении, только сделанное в вежливой форме.

Сухов, стараясь сложить на столе узор из канцелярских скрепок, молча кивал головой и чуть щурил глаза. Как его жена на фотографиях в Сети.

Ну, вот, собственно, и все. Марго убирала теперь не нужные ей бумаги в портфель. У лифта увидела, что он уже стоял на лестнице и курил. Как всегда, с заметным интеллектуальным напряжением.

...София ждала, когда эта селедочная ненавистница закончит. Пора было собираться на семинар. Вот там у людей проблемы, а у этой — так, на кухне с подружкой поплакать. И на работу скоро устроится, и нового Сухова себе найдет. А не Сухова, так Неводина. Какая разница.

— София, вот вы меня послушали. Что мне делать?

— Мы не даем рекомендаций. Это ваша ответственность.

— Он не вернется?

— А вам это надо? Подумайте.

— Все равно я знаю, что я у него самая любимая.

— А, ну понятно: *maitresse en titre*. Ну, пусть это вас утешает. Вы ведь французский знаете?

— Мне надо понять, можно ли мне надеяться?

— Маргарита, вы тут про его жену упоминали. Вам как больше нравится: ваше положение или ее?

Марго молчала.

— Ну вот, выводы делайте сами. В любом случае, думайте, прежде всего, о себе. Но учтите, вам еще долго будет мешать нормально жить ваш компенсаторный механизм. В детстве унижали вас, потом, получив власть, стали унижать вы. В личной жизни опять унижают вас, и вы сами ищете именно такую модель. Теперь подумайте, что будет с вашим ребенком?

— Каким ребенком? У меня нет никакого ребенка.

София посмотрела на часы. Прием был окончен. Она видела, что эта доморощенная «метресса» что-то еще собирается ей сказать. Но с нее было на сегодня достаточно. И вообще, больше с ней София встречаться не будет. Хватит с нее и своих «метресс».

Уже на выходе Марго столкнулась с небольшим, опрятным человечком. Он открыл дверь своим ключом. Марго изобразила улыбку и поздоровалась. Человечек, не останавливаясь, молча прошел по коридору вглубь большой, времен сталинского ампира, квартиры.

«Везде свои погремушки, и у этой Софии тоже», — от этой мысли Марго стало немного легче. А о главном она ей так и не сказала.

XI

Ну вот и подошел к концу этот бесконечный понедельник. Теперь домой и под душ. Смыть все, что налипло за день, забыть про Левона, про «Гильотину», про Софию, которая так ничего ей и не сказала, за что только четыре с половиной тысячи взяла. Про Маргулиса с его дурацкими угрозами.

Ей вполне достаточно таксы Дуси — когда там детьми заниматься. На мать с бабкой надежды никакой. Мамашу близнецы ухайдакали — вымахали в здоровых, прыщавых обалдуев. Растут, судя по всему, достойные кадры для депо Казанской железной дороги.

Зато ЖД — как из рельсы отлита, ничего ей не делается. Но какая из нее бабушка, она вон все свой стяг под сердцем таскает, разродиться никак не может... Да и не хочет Марго отдавать им ребенка.

«Постой-постой, какой ребенок?» — она затрясла головой. Анализы и аборт. Точка.

На светофоре решила заехать в офис, забрать вещи. Время позднее, народ уже разошелся, когда еще возможность представится. А там в кабинете одной обуви пять пар в шкафу стоит, ну и разные женские штучки. Не Жан-Жаку же оставлять.

Валентина в роговых учительских очках что-то печатала за компьютером. Марго стало неудобно: сидит бабка одна, доделывает за нее отчет, а уже поздно, ее дома ждут.

«Жаль, я ей «угги» домашние так и не купила. Были бы сейчас не эти дурацкие тапочки, а культурные мокасины из овчины. Натуральный продукт. Но теперь уже поздно. Видно, так и будет теперь ходить в тапках. Ничего в жизни нельзя откладывать, это точно».

— Валентина Федоровна, давайте я вас довезу?

Валентина благодарно кивнула и быстро засобиралась.

В машине говорили обо всем, только не о работе. Что уж тут говорить, Марго уходит, Валентина остается с новым начальником. А Марго чувствует, что Валентина Жан-Жака не любит. И саму ее, правда, она тоже не очень-то жалует. Хотя виду не подает.

Дом был старый, двор тоже был старым, тихим, с большими деревьями, которые уходили вершинами под верхние этажи. Марго давно не бывала в таких местах. У нее рядом с подъездом стройка еще идет. А у родителей пятиэтажка на проезжей части стоит, там никакого двора отродясь не бывало.

Стали прощаться. Валентина, уже выходя из машины, вдруг обернулась:

— Маргарита Степановна, зайдёте ко мне? А то на вас лица нет.

Это было первый раз за долгое время, когда ее пожалели. И заметили, что ей плохо.

По квартире носились два ребенка — маленький и еще меньше. Они были еще в том возрасте, когда в них радовало все. Глядя на одинаково кудрявые, темные головки, Марго не сразу поняла, что это были брат и сестра.

— Какие симпатичные у вас внуки!

Раскрасневшиеся от беготни дети с ярко-кариими влажными глазками были действительно хорошенькими.

Валентина молча кивнула, потом прошла на кухню. Там у плиты возилась молодая женщина с такими же карими глазами и кудрявой головой. Через несколько минут женщина расцеловалась с Валентиной, помахала на прощание Марго и ушла.

— А дочка, наверное, на мужа похожа?

Валентина ставила чайник, доставала печенье, горкой лежащее в большой, старомодной сухарнице с двумя коваными ручками в виде бабочек, и не отвечала. Дети играли в «догонялки» и, влетая на кухню, каждый раз с разбегу утыкались ей в колени.

Вещи вокруг были не то что бы старыми, но не современными. «Как в Провансе», — вспомнила Марго. Электрический чайник «Бош» явно ощущал себя среди них аутсайдером и держался особняком.

Чашки тоже были из старого сервиза, с цветочками по стенкам и тоненькими ручками. Встретить такие можно было теперь нечасто — эти хрупкие создания давно уже уступили позиции тяжелым, прочным и вместительным кружкам, из которых можно было пить все — и чай, и кофе, и быстрорастворимый суп.

И — такая радость: на столе, на узорной салфетке, стоял пузатый заварной чайник. Вещь, почти невозможная во времена чайных пакетиков на нитках.

Кухня была большая, там уместился даже мягкий диванчик с разнокалиберными подушками. Марго сидела, с трудом сдерживалась, чтобы не забраться на него с ногами. Валентина, видно, знала это коварное свойство дивана и за второй чашкой, когда настроение было уже немного размочено, предложила Марго так и поступить.

Чай был настоящим, настоем, с листом домашней малины. Печенье напоминало о детстве. У приоткрытого окна прозрачная занавеска, не зная, что предпочесть, в задумчивости то прикидывалась к подоконнику, то тихо уходила от него к столу.

Дети скоро уgomонились и, прижавшись друг к другу, как бельчата в дупле, заснули между игрушками на застланном ковром диване в гостиной.

Марго вспомнила, что такой же ковер родители покупали, когда она была совсем маленькая. Сначала ждали очереди, потом не хватило денег, потом бабка денег одолжила и долго еще потом пилила отца за то, что он такой «желторотец» и даже на ковер зарабатывать не может.

Было тихо, и уходить совсем не хотелось, хотя было уже пора. Марго дала себе слово, что еще одна чашечка — ведь они такие маленькие, и она откланяется.

— Валентина Федоровна, какие у вас замечательные малыши! Вы — счастливая бабушка.

Валентина, немного порозовев от чая, от тепла, что шло от плиты, от летнего вечера, молча кивнула. Потом начала рассказывать о даче, о том, как раньше старалась побольше огурцов с помидорами посадить, а теперь для нее главное — цветы.

— Как я могла красоты этой не замечать, сама удивляюсь. А теперь смотрю на траву, на листья, на кота нашего и восхищаюсь всем живым. Конечно, там, где человек не погубил все, не испоганил. Ничего раньше не видела, балда была.

Маргарита не могла себя заставить встать и попрощаться. Как хорошо было в этой старой, давно обжитой квартире, наполненной старыми вещами.

— Да, мы как въехали сюда, так почти ничего здесь не меняли. Я, знаете ли, сильно при-

вязываюсь к вещам. Они же становятся больше чем вещи, они с тобой жизнь проживают, все видят, всему свидетелями бывают. Я вообще привязчивая. Вот и вас мне будет не хватать... Хотя не могу сказать, что с вами было всегда легко.

Так, это что-то новое. Значит, Валентина все уже знает. И из деликатности молчит.

Марго дала себе слово о работе не говорить. И поскольку разговор выкруливал на запретную тему, она заставила себя встать и начала прощаться. Уходить было тяжело: дома ее никто не ждет, такса Дуся у родителей, холодильник пустой. Зато раковина полная.

— Валентина Федоровна, спасибо вам, дорогая. Мне сегодня так нужно было посидеть, поговорить с хорошим человеком. Вы простите меня за все мои штучки, я, в общем-то, не сволочь. Просто я к хорошему не очень привыкла. Не умею я по-хорошему. Придется, наверное, учиться. Дома у нас было совсем по-другому. И почему-то мне все время по морде достаётся. Ну и я сама тоже хороша ...

Слезы уже перелились через край и вместо того, чтобы медленно стекать по щекам, быстро собрались под носом. Остановить их не было никакой возможности.

Валентина вдруг вытянула сумку из рук Марго и молча отвела ее из коридора назад на кухню. Через минуту они опять сидели за столом, покрытым скатертью, на которой еще валялись крошки от печенья.

Валентина собрала крошки ладонью и стряхнула их в кормушку для птиц за окном.

— Поговорим? — Здесь, на своей территории, она чувствовала себя хозяйкой. — Тебя мама как в детстве звала?

— Ритка...

— Давай, Рита, выкладывай все начистоту. Если уж ты сегодня у меня оказалась, иди тебе, видно, больше не к кому. Так ведь?

Марго с готовностью кивнула. То, что ей говорили «ты» и называли ее просто Ритой, сделало сразу все простым. Вот сидит умная, прожившая жизнь женщина, и она готова выслушать ее. А Марго готова ей все-все рассказать.

И она рассказала про свое некрасивое детство, про почетного железнодорожника, про отца, которого бабка до сих пор «желторотец» зовет. Про то, как старалась, как сама всего добилась, и как помочь было некому.

Про Сухова, про его женщин, с которыми он не может разобраться, про то, как он испугался и в лёгкую отказался от нее, и на совещании сделал вид, что вообще ни при чем. И что совсем непонятно, почему ее так срочно и без объяснений решили выкинуть из компании. Неужели это Жан-Жак в ее отсутствие постарался?

И вот теперь, когда рухнуло все — и карьера, и Сухов — выясняется, что у нее шесть недель беременности.

— Валентина Федоровна, ну вы подумайте, куда мне рожать. Тем более, от него. Мне не то что за ребенком, мне за собакой ухаживать некогда, вечно ее родителям подбрасываю. Я весь вечер на вас смотрела, завидовала. Такие внуки чудные, вы одна никогда не останетесь... А у меня резус...

— Рита, Рита, все ты в жизни перепутала. Зачем ты с ним связалась? Ты что, еще не знаешь: такие, как он, на любовницах не женятся...

— Я же для него на все была готова...

— Ты-то да, а он, видно, не очень. А потом, ты женщина одинокая, прости, свободная. А у него детей двое и жена.

— Да плевать я хотела на его жену...

Валентина лепила из пластилина, брошенного детьми тут же на круглом столе, какую-то замысловатую фигурку. Потом выпрямила спину и посмотрела на Марго.

— Слушай, Рита, а ты никогда не задумывалась о том, сколько боли ты причинила этой женщине? Вот жила она, тебя не трогала, а ты ей, может, все поломала. И сейчас ей и уйти некуда, и остаться нельзя. И на мужа глаза не глядят, убила бы. Так ведь тоже может быть. Не думала об этом?

Марго вспомнила улыбку и прищуренные глаза его жены. Вспомнила, как ненавидела ее, как хотела, чтобы она исчезла. Куда-нибудь и навсегда.

— Не думала.

Валентина помолчала, потом быстро скатала пластилиновую фигурку в колобок.

— Не хотела тебе рассказывать. Но расскажу. Ты вот моих внуков хвалила. Да, хорошие ребята, и я их люблю. И они меня любят, бабушкой зовут. Только они мне совсем не внуки. И Катя мне совсем не невестка. Она дочь. Только не моя, а мужа.

У него, пока я детей растила и огурцы в банки закатывала, тоже на стороне любовь образовалась. Сначала одна, потом другая. Так вот и жили. У нас дети болели очень, я с ног валилась. А он тогда все мне жаловался, как ему трудно. Говорил, что я его должна во всем поддерживать и понимать.

Я всегда должна была его понимать. Как ему тяжело, как его не ценят, как ему все гадят, как он устал, как у него в поясницу «вступило», как ему все надоело, и так далее. Честно тебе скажу, хотелось уйти, но все не до того было. То один заболит, то другой. То денег нет, то его самого из депрессии надо вытаскивать.

И потом, конечно, что врать. Не уходила, потому что некуда было, потому что любила его, наш дом. И мальчишек было жалко.

И он ни в какую разводиться не хотел, не могу, мол, без тебя и детей. Это у них у всех вечная песня. Так и жила — ни туда, ни сюда.

Знаешь, раньше журнал такой был: «Хочу все знать». Так вот, я тогда поняла, что для нас, дур, кого обманывают, нужно специальное издание: «И знать ничего не хочу». И бесплатная пожизненная подписка для многодетных матерей.

Хорошо он меня помучил, прежде чем успокоился.

И вот мы уже и детей вырастили, и сами постарели, и Никита мой, вроде, перебесился. И вдруг появляется эта самая Катя. Она уже из новых, как ты. Терпеть не захотела, мужика своего в шею вытурила. Все за то же. А самой жить не на что. Дети — погодки, а мать — та, с кем муж мой эту Катю на свет произвел, на том свете.

В общем, долго рассказывать, только получилось так, что больше помогать ей некому. Вот сейчас она ребят у нас оставила, в госпиталь в ночную побежала. Утром их заберет. Вот так, Рита.

— И как же вы с ее детьми? Неужели вы их любите?

— А куда денешься? Не гнать же их в шею. Я, когда не сплю, все о нашей жизни думаю. У меня старший сын врач, ты знаешь. Так он говорит, что все наши страсти-мордасти — это сплошная химия и гормоны. Может, и так. Потому что как постарел Никита, так его из

дома экскаватором не вытащить. И такой, понимаешь, стал моралист, все распушенность нынешних нравов кроет. А давно ли...

Тебе, наверное, трудно поверить, но знаешь, с возрастом так все меняется. И мне когда-то камнями хотелось забить обоих. Думала, что матери Катиной своих мук никогда не забуду. Я же с мужем десять лет, целых десять лет не разговаривала. Жили, как чужие, только перед детьми вид делала, что все нормально.

А прошло время, и жалко мне теперь и себя, и Катину мать, и дурака этого старого. Он после инфаркта, как ребенок — один в доме оставаться боится, забывает все. Тяжело. Хорошо, Катя помогает.

И теперь растут эти малявки, знают, что есть у них бабушка Валя. Ждут меня, скучают. И мне без них плохо. Наши ребята далеко, оба в Америке. Зовут к себе, а я не хочу. Не могу без этого дома. Здесь каждая дощечка помнит, как мы жили. Иногда счастливо, а иногда не очень. Но все равно, это была наша жизнь. И она ушла, и больше уже никогда не повторится. А если бы повторилась, я, может, много чего по-другому сделала.

Занавеска по-прежнему маялась между подоконником и столом. Ходики на стене равнодушно подъедали, минута за минутой, время.

— Я тебе что хочу сказать, ты подумай, подумай насчет ребенка. Жизнь такая длинная и такая короткая. И сколько в ней такого, о чем потом плачешь, убиваешься, а изменить ничего уже не можешь. Поверь, пройдет время, ты все другими глазами увидишь. А Сухов... Говно мужик. И уж больно всего боится. Я точно знаю.

XII

Бабушка почетный железнодорожник уже неделю требовала забрать от нее собаку. Дом без лифта, выгуливать ее некому. Дочь и зять со своими спиногрызами на даче сидят, кабачки опыляют.

Марго с третьего этажа услышала визг и толчки в дверь: Дуся рвалась ей навстречу. Расцеловалась. Сначала с собакой, потом с ЖД. Сели на кухне пить чай. Кухня крошечная, столик еще меньше.

Марго тут же въехала локтем в тарелку с селедочной головой, которая с неммым укором смотрела на бабушку. А та, с силой соединяя сложенные в щепотку пальцы, объясняла Марго, как именно зять опыляет соцветия: «И, тебе, пестиком в тычинки и, тебе, пестиком в тычинки все тычет да тычет... Тьфу, без слез не взглянешь...».

— Баб, поклянись, что ты матери ничего не скажешь.

— Чего еще?

— Ну поклянись!

— Ну клянусь.

— Я в марте рожу.

— Тю, удивила. Тебе уже внуков скоро нянчить пора, а ты только с дитем определяешься. А мужик твой как?

— Мужик не знаю. Без мужика обойдемся.

- Ты чего это, замуж за него не пойдешь?
- Ты ведь мне поможешь, баб?
- Так это что ж, опять мне на четвертый этаж пешком шкандыбать, как с Дуськой?
- Я тебя к себе возьму. Я специально приехала тебя просить. Или мне няньку чужую брать?
- Сказала еще — «чужую». Сами управимся. Ты кого хочешь-то? Девку?
- Мальчишку.
- Ну вот еще, мальчишку. Я на мальчишку не согласна. Знаю я их. Насмотрелась на этих мальчишек и дома, и в нашем депо. Давай, девку рожай.
- Баб, пусть лучше будет мальчик. Чтоб так, как мы, не мучился. Вот скажи, ты от де-душки много радости в жизни видела?
- Да какая радость, какая от него радость? То с одной бабы его сыму, то с другой. И всё депо знает. Хотела его как-то на товарищеском суде засудить. А как помер, так жалко его стало. Ведь хорошо жили. Любила я его, и он меня.
- Да ты же говоришь, что то с одной, то с другой его снимала?
- Ну, снимала. Эх, Ритка, не жила ты еще по-настоящему, не понимаешь, что такое муж. Вот я старуха давно, а в душе до сих пор осталось, как мы с ним на электричке зимой ехали, как он руки мои себе за пазуху положил, а шапку свою на меня надел, чтоб не мерзла. И знаешь, только вспомню, как колеса тогда стучали, как сердце его под рукой у меня билось, так все другое уже и неважным кажется.
- А как же знамя твоё дурацкое? Баб, ну что ты плачешь?



Надя ДЕЛАЛАНД



Родилась 02.01. 1977 Россия, г. Ростов-на-Дону

Окончила филологический факультет Ростовского госуниверситета, ныне — ЮФУ (1993 — 1998), аспирантуру при РГУ (1998 — 2003), докторантуру Санкт-петербургского госуниверситета. С 2006 по 2009 гг — сотрудник ЮФУ, преподаватель латинского языка, курса введение в языкознание и спецкурса по языку М. Цветаевой.

Семь поэтических книг,

Публикации в коллективных сборниках, литературной периодике и на сайтах:

«Новая юность», «Дети Ра», «Зинзивер», Литературная газета, Новая литературная карта, Другие берега, Русский переплет, Авророполис, 45 параллель, Знаки, Мегалит, День и ночь, Воздушный Змей, Пролог, Южный город, Южное сияние, Белый ворон и др.

Премия в номинации Серебряный голос, 2008г. (конкурс Серебряный стрелец)

Лонг-лист премии «Дебют» в 2011г.

Впечатление первое — в этих стихах нету искренности. Талант есть, а искренности нет. Неврозы — сколько хошь, а искренности нет. Похоже, у Делаланд вообще нет ни искренности, ни неискренности.

Впечатление второе — это разыгранная шизофрения, где за симулированным потоком сознания прячется довольно плоская мораль.

Впечатление третье — это холодный расчёт на якобы почти случайность, почти непреднамеренность пробрякнутого.

С отвращением воображаешь восторги маленьких залов, набитых маленькими тщедушными современниками, аплодисмент в награду за очередную порцию слов, таких же невротичеких, как и сами современники.

А талант есть. Талант настолько очевидный, что из деланого (да простят — делаланого!) потока сознания вдруг проклёвывается подлинный. И вроде бы даже и искренность нет-нет да и проблеснёт.

И за душу потянет.

Размышление: так, может быть, это такая поэзия? К ней не проникнешься симпатией, не обольёшься над ней горячею слезой, она раздражает. Но, может быть, так и надо? Может быть, в эпоху Hammer Stretch и Вани Урганта, когда словосочетание «суеверный ужас» вызывает неконтролируемый суеверный стыд, и этот стыд — вечный интеллигентский pudore — спешно прикрывается йорническим «ужос»... может, теперь как раз такие стихи и нужны? Может быть, это просто я вовремя не сумел мутировать? Стихи Делаланд прекрасно управляются с большими количествами слов, которые она не отбирает, но как-то очень убедительно подбирает. Задаёшься вопросом — а могла ли это быть проза? Да вроде не могла. Постепенно въезжаешь в монолог. Научаешься радоваться тому, что он о внутреннем.

Всё-таки о внутреннем, не о наружном. После пятого чтения замечаешь, она тебя перевербовала. И как-то так незаметно в тебе возникает и начинает звучать самопроизвольным рефреном концовка одного из её стихов (услышанных!):

Почему ты, скотина, думаешь о работе,
когда нужно любить меня и не нужно ничего больше.

А правда, почему? Почему я, скотина, думаю о поэзии, когда нужно просто любить Надю Делаланд, верить её строчкам и так же просто, — не отказавшись, впрочем, ни от одного из впечатлений и размышлений, тебя посетивших, — признать, что перед тобой талантливый, временами раздражающий (а почему не должен?), сложившийся автор с поэзией общего высокого уровня, не говоря уже о таких явных удачах, как «Не дари ты мне...» или «Ты очень вовремя...». А стих «Поганей не придумаешь...» — так и вовсе шедевр.

Живи всю жизнь — всю осень и всю зиму,
хоть заживись, хоть тресни, хоть умри —
уходит лето как-то изнутри,
свежеет изнутри невыносимо.

Молода, а уже права.

И пусть даже два «изнутри» через слово — всё равно права. Причём, самое-то обидное — права поэтически!

Б. Левит-Броун

* * *

Не дари ты их мне — ни живых, ни мертвых,
ни в тюремных горшках, распутивших нюни,
ни в торжественных похоронных свертках,
подари мне поле цветов в июне.
А слабо — все поле? Чтоб днем и ночью
стрекотало, пело, жужжало рядом,
семантическое, ага, в цветочек,
в мотылек, в кузнечик, в листок дырявый.
Я бы этим полем твоим владела,
любовалась, глаз с него б не сводила,
и вдыхала запах бы и балдела,
и бродила, и хоровод водила.

* * *

хожу пасмурная ноябрьская режу плоть
воздуха скрюченную рукой
виртуальность реальности не побороть
хрустом и запахом — никакой
нет этой осени в общем куда ни ткни
все рассыпается на ничто никогда
не процарапать лапой куриной дни
ни оставить в них своего следа
мокрые залежи бедной реки во рву
времени лужицы небо сморгнут и тьма
шею потрогает разворошит траву
тише и ниже воды и травы зима
осенью наземь сойдет шестью семь один
молча проглотит дома зачерпнет людей
ненастоящее — трогаешь погляди
ненастоящее длящееся весь день

* * *

Поганей не придумаешь — облом —
закончилось, как лето, лето. Пишешь,
и принимаешь ласковый излишек
тепла и света, если повезло.
Но ветрено, и выдувает душу
наружу парашютом, и летишь
над скатами засвеченными крыш,
испытывая суеверный ужос
перед собой — лучиною проткнешь,
ан не готова к смерти, сыровата,
оглядываясь жалко, воровато,
спускаешься на землю прямо в дождь.
Живи всю жизнь — всю осень и всю зиму,
хоть заживись, хоть тресни, хоть умри —
уходит лето как-то изнутри,
свежеет изнутри невыносимо.

* * *

Ты очень вовремя. Заходи. Еще полчаса —
и ты бы меня не застал — ни здесь и ни где-то...
Хочешь чаю? Хочешь меня? Говори: «Я сам».
Мне это нравится. И мы все еще дети.
Раскадриль проклятушая тянет меня к другим
кадрам, сильно засвеченным. Дело в пленке.
Я не могу так больше. Говорю тебе — помоги,

помоги мне хотя бы родить от тебя ребенка,
мальчика, с тем же цветом волос и глаз,
с той же манерой смеяться, склоняя набок
мир... Ничего, если б даже у нас родилась
девочка. Я бы любила ее и нам бы
не приходилось время делить — пирог
был бы уже разделен ее дыханьем,
тихо, не двигайся, слышишь, как между строк
сущность ее толкается, льнет, порхает —
просто пусти ее в комнату, в теплоту.
Да, мне получше...кажется, я старею
с севера, волшебство превращает стул
в рухлядь, не говоря уже про карету.
Я потом починю, не надо — тебе идти.
Рада, что ты зашел. Ну, конечно, надо.
Все хорошо. Извини, что поныла. Прости, прости.
Заходи, когда будешь рядом.

* * *

прости не кормила твоих голубей
их клювы смотрящие из ожидания
они сразу все поняли и продолжили
есть «лошадиный суп» с дымящегося люка
забыв обо мне но я о них помнила
стоя на мерзнувшей платформе
рядом с танцующими от холода
девushками смеющимися и думала
об анекдоте про тумбочку в которую
и из которой приходят деньги
и думала про птиц не заботящихся
о пропитании
и думала о себе не позаботившейся
о птицах

* * *

молчание моя стихия
я в одиночестве как рыба
но свой остекленелый свет
в меня бесстыдно вперив осень
несется в окнах
и поезд мчащийся
мочающийся старик
как памятник ребенку
под рябиной

* * *

Дождь экранирует слух серым шумом
(слышу ли я как дышу и дышу ли?..)
Август в обход, не сводя с меня взгляда,
в осень бредет. По утрам одна радость —
спать до обеда, писать до заката,
не замечать жестяное стаккато
напоминаний, то робких, то ярых —
время идет (дождь сезонович, старость,
смерть), замечать учащение пульса
от наваждений растерянных — пусть их
входят, садятся и бороду сушат,
тоже — пройдут, что мне их не — послушать?
(Знаешь, мне — странно. По чьей это части?
Вот, я о том же. Печалься, печалься).
Амбулаторно я, всеми ногами,
их избегаю. Почти помогает...

* * *

Июль сворачивает листья — пора, пора
заканчиваться, сколько можно уже идти.
Там гложет трепетное солнце в углу двора,
там мальчик Миша ест конфету — угрюм и тих.
Так равнодушно-добр к живому, как ты ко мне,
слегка напуган, но приветлив еще июль.
Будильник свистнул, просыпайся, следя во сне
за промедленьем, украшая им жизнь свою.
Еще немного, полминутки, побудь со мной,
июль, мой мальчик, ты же знаешь, как знаю я,
все повороты и обрывы, и то звено,
где слабнет воля — надышаться б! А нафига?

* * *

Немереное море дней до дня,
когда, вплетаясь, в равенстве и братстве,
настанет он, и те, что шли подряд,
в его вневременности растворятся.
Но точка, из которой всё росло,
сожмется вновь, зажмурится, прикроет
ладонью лоб, и в зашептание слов,
мельканье свечек, в остановке крови —
проявится, поставится — итог.
Всё, ты не объяснишь уже сложенья
строк и теперь читайте между строк

без выраженья. С тем же выраженьем.
Ползёт, дыша, сдыхая, пылесос.
Да, das ist кома-с. Точка? Запятая?
Смерть после смерти схарчит целиком
цветочек жизни. Так и расквятились.
Жми, Теофраст Бомбастый Парацельс,
на магнетизм, на суггестивность жизни,
там всё равно стоит уже в конце
стол, на который что-то положили.

* * *

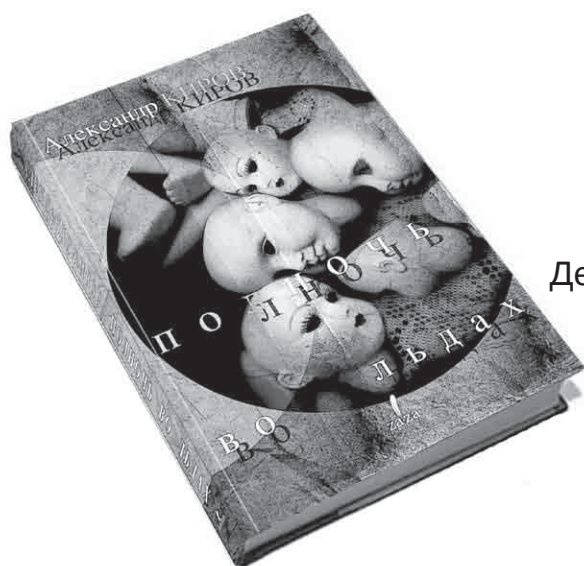
смерть приходит без ног... руку в тело продев
кукловод разыграется в чревовещанье
помоги мне невидимый где ты? нигде
отчего я так сильно тебя ощущаю?
от меня огради меня спрячь меня съешь
мне за пазухой жарко твоей и любимо
а в груди у меня безразмерная брешь —
заходи и живи не оставь помоги мне
помоги не оставь отведи меня в дом
освети уголки поясни мне неясность
не касаясь войди наступи в меня — до
наступления смерти мне страшно бояться

* * *

Живу себе точная, прихожу и делаю,
бедная рифма, работу вовремя,
от глаз обольстителя, что там! — от стрел демона
защищена, я правильное животное:
дети мои накормлены, чисто вымыты,
убраны комнаты, ужин для мужа выстиран,
жареные рубашки лежат навывтяжку,
ровненькой стопочкой, башенкой, в небо высятся
(ой, высока! Гляди-ка — а не разрушится?
шо-то она подозрительно как-то клонится...),
ля-ля-ля-ля я стихов никаких не слушаю
и не пишу, я послушная и спокойная,
уши заткну, покойница, и работаю,
сор выметаю (когда б вы...) из закоулочков,
дергаю одуванчики подзаборные
(тайно сушу — а вдруг и из них получится?).

* * *

Что ли дождь шипит по прорехам снов,
затекая левою их ногой,
промокает взгляд, тяжелее смокв
на ресницах виснет живой огонь.
От твоей воды горячо в груди,
это верный градус и широта,
ты иди один, но предупреди,
что collega, nauta, сирота.
Мимо рта по каплям да по стеклу
протекая жизнь, шевели листвою,
разбредай траву и в прическах клумб
разводи блоханий дождевой свой.
До чего же робок во тьме сырой
перестук всех поступей, разнотой,
и глотки, и глотки, и общий рот
прязыкий, где говорим с тобой.



ПОВЕСТЬ
«Полночь во льдах»
Александра КИРОВА

Действие повести происходит
во время **ВОВ**
в санатории
для детей, страдающих
КОСТНЫМ туберкулезом.
Главный **герой...**

Роман МИХЕЕНКОВ



Родился 11.02.73. Период с 4-х до 24-х лет был серьезно обезображен музыкальным образованием. За это время успел подарить родителям дипломы музыкальной школы, училища и института им. Гнесиных, дипломы лауреата всевозможных конкурсов. Музыку удалось полюбить только после 30-ти. Что подтвердил наличием в бардачке машины дисков с классическими произведениями, написанием музыки к рекламным роликам и саундтрека к художественному фильму. С 20-ти до 27-ми был жестоко ударен телевидением — работал журналистом, редактором, режиссером практически на всех каналах во множестве программ. Участвовал в предвыборных травлях, выдавал желаемое за действительное, нагло обманывал невинных, не вызывая негативных последствий. За последние десять лет поставил спектакль «Портрет Дориана Грея», снял несколько фильмов, написал несколько пьес. Писать рассказы начал неожиданно. Первый рассказ «Двор моего детства» — это экзаменационное задание, которое было написано при поступлении на режиссерский факультет Щукинского института. В процессе написания понял, что получаю удовольствие. Институт окончил, а рассказы взял за правило привозить из путешествий. На данный момент телевизионный и кинопродюсер, театральный и кинорежиссер, пишу музыку, пьесы и рассказы. Стараюсь получать удовольствие от всего, что делаю...

Зарисовка с виду легкая, улыбчивая, семейная и даже уютная; а внутри нее живет драма.

Это уже высший пилотаж — рассказать судьбу двумя, тремя штрихами.

Эта проза — почти стихи; и, как стихи, она просится на музыку, благо музыка внутри нее уже есть. Уже живет, как кудлатая собака в дворовой конуре.

У каждого есть двор его детства.

Елена Крюкова

ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Рондо

Allegro accelerando

Шустрый мальчишка в полосатой футболке с «десяткой» на спине элегантным финтом подбрасывает футбольный мяч и, повторяя трюк великого Марадоны, вгоняет его в ворота. Следующий за этим дикий танец подробно отрепетирован: разворот в левую сторону, прыгая на правой ноге, разворот в правую сторону, прыгая на левой, и три прыжка «шимпанзе».

— Маэстро! К инструменту!

Это крик отца на весь двор. Он вернулся с работы — футбол на сегодня закончен. Черни отдает пас Гермеру, и мы выходим к воротам Бетховена.

Раз — и — два — и — три — и...

«Маэстро»... Считать, сколько раз мне приходилось драться из-за этой клички, бесполезно. Мальчика, играющего на пианино в уголовном районе провинциального города, не травить не могут по определению.

Раз — и — два — и — три — и...

Садистская гордость отца, желающего воспитать вундеркинда, распахивает балконную дверь.

— Маэстро! — Это уже крик с улицы. И я уже знаю, кому буду завтра бить морду. Или будут мне.

Раз — и — два — и — три — и...

Двор заставляет жить двойной жизнью. Дома заведено общаться с родителями «на вы», на улице я «ботаю» исключительно «по фене». Годам к двенадцати я умудрился найти точку гармонии на лингвистическом уровне:

— Что же вы, мамочка, милый друг, кидаете мне гнилые предъявы, я уроки сделал.

— Папа, вы рамсы не путайте. Сначала математика, потом пианино. Завтра контрольная.

По другую сторону «баррикад» это срабатывало довольно неожиданно:

— А не соблаговолите ли вы, сударь, пойти на...

Бывало, что шли.

Раз — и — два — и — три — и...

Я неделю не появляюсь во дворе. Домашний арест. За «драку с применением специальных средств» я поставлен на учет в детской комнате милиции. Даже родители не поверили, что «фрагментом арматуры» я защищался. Зато ни одна награда мира не сравнится с этой чарующей формулировкой — «за драку с применением специальных средств»! Круче только сесть в тюрьму или короноваться в «законники». Но это уже как аспирантура.

Когда в Воркуте «короновали» моего соседа Прокофа, двор гулял неделю. На какое-то время Прокофьев стал моим любимым композитором. Я выучил даже «Джюльетту-девочку».

Раз — и — два — и — три — и...

У меня сегодня праздник! В «Советском спорте» вышла статья об Олеге Блохине с огромным заголовком «Браво, МАЭСТРО!» Еще два часа этюдов, и я покажу газету этим уродам во дворе. Пусть дразнят. Теперь мне эта кличка даже нравится.

Раз — и — два — и — три — и...

Я моральный урод, никчемный человек, и место мне в ПТУ. Отец таскал меня на концерт детского хора Попова. Несчастные детишки из Москвы, душимые пионерскими галстуками, ангельскими голосами пели песню «Летите, голуби», а потом играли с залом в музыкальную «угадайку». По пути домой отец поинтересовался, в какие игры играю я во дворе. «Побег из зоны» его не впечатлил. А я испытывал такую гордость, игру ведь я придумал. Она развивала ловкость и стратегическое мышление. «Зарница» отдыхала.

Раз — и — два — и — три — и...

Мне купили гитару. Родители долго упирались, но я пообещал научиться играть за сутки.

Через двенадцать часов я заунывно провыл «Утро туманное», а через двенадцать часов и десять минут я надрывался во дворе: «Голуби летят над нашей зоной», «Гоп-стоп» и прочая «классика». Местные урки постановили, что к зоне я готов: «на учет» есть, на гитаре играю. Одноклассники страшно завидовали.

Раз — и — два — и — три — и...

Маэстро — бабник! В соседний двор приехала семья военных. Я пригласил Верочку в кино. Меня ненавидели все: девочки — за то, что выбрал не их, мальчики — за то, что первый решился. Верочка крайне удивила меня, попросив сыграть ей на пианино. До этого момента я считал свои занятия музыкой чем-то постыдным, недостойным мужчины. Уж не знаю, целовали ли Баха в шею, когда он писал свои прелюдии и фуги, но у меня в этом сочетании они звучали потрясающе.

Раз — и — два — и — три — и...

Оказывается, пианино — замечательный инструмент обольщения. Жаль, что Верочка этого не оценила в полной мере. Она замерла на прелюдиях, не позволяя фуг, и очень обиделась на мои музицирования с другими, более «полифоничными» девочками.

Раз — и — два — и — три — и...

Ни один выигранный мною музыкальный конкурс, ни один блестяще сданный экзамен не сравнится с тем, что произошло сегодня. Отсидев свои пять лет, из зоны вышел Прокоф — «законник», мой сосед по подъезду. Я осмелился пригласить его в гости, пока нет родителей, чтобы сыграть ему произведения Прокофьева. Мне, мальчишке, это почему-то показалось уместным. Прокоф внимательно слушал мою игру. По глазам-щелочкам я понял, что ему понравился «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». Потом я поил его чифирём, слушал рассказы о зоне. Уходя, Прокоф сказал, пристально посмотрев мне в глаза: «Валить тебе отсюда надо, Маэстро...»

* * *

Я приезжаю в этот двор один раз в год — на мамин день рождения. Сейчас деревья, служившие штангами футбольных ворот, стали вдвое выше. Верочка умудрилась выйти замуж за военного, охраняющего местную пересыльную тюрьму. В каждый мой приезд кто-нибудь из одноклассников обязательно на свободе. Рассказывают мне о жизни двора. Мальчишки слушают, учатся фене. Мою игру «Побег из зоны» забыли. Правила придумал я, а на момент своего исчезновения преемника себе не воспитал. Жаль, хорошая была игра. Я в нее выиграл.

Тимур РАДЖАБОВ



Тимур Раджабов. Родился в 1976 году в Буйнакске (Дагестан). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (2007), куда поступал по письменной рекомендации Расула Гамзатова.

В 2006 году вышел сборник стихов «Озорное вино».

Имеется более 20 публикаций в бумажных и известных сетевых литературных изданиях.

Полуфиналист конкурса стихов газеты «Вечерняя Москва» (2012).

Призёр (3 место) международного поэтического конкурса «Осенние традиции» (2007).

Лауреат международного конкурса «Серебряный стрелец-2007».

Лауреат фестиваля гражданской лирики под патронатом мэрии Москвы «Московские салюты — 2006» (Москва).

Лауреат премии им. Юсупа Хаппалаева за 2012 г. (Союз писателей Дагестана. Махачкала).

Выбирать всегда трудно.

Из двадцати стихов, представленных поэтом... любым поэтом, едва ли все двадцать будут в десятку.

Не стал исключением и молодой одаренный Тимур Раджабов.

Ясно, что перед тобой поэт, но окончательно состоявшихся стихов мало.

Много слов... часто нехорошо много — мешают, созидают ложную значительность, за которой теряется истинная.

Отдельные строфы просто замечательны, но в растворе стиха тонут.

Ну вот к примеру, не могу не выхватить, уж очень здорово:

Говори о столетиях, словно о прожитом дне
на скалистых отрогах, где небо всегда голубое,
где бездомные ветры разносят молитву гобоя
и противно хихикают скрипки при полной луне.

Какая экспрессивная перекличка сдвоенных-строенных согласных, какая мускулистая строфа... да что там строфа — целый стих в четырёх строках! Тут и резвая фонетика и резкая строчность, и безыскусственно масштабная образность. Это состишие даже на вкус убедительно, потому что изобильно не только вкусным «р», а ещё и пружинистыми звуко сочетаниями «пр», «тр», «кр» и даже «скр». Когда его произносишь, оно оставляет рокочущую радость во рту. Но тут же рядом:

Говори, словно тысяча юношей разом поёт
о немыслимо страшной, отчаянной девушке-боли...

Без меры внедряемые определения заставляют вспомнить противное, но неизбежное: в определениях мы теряем себя и теряем поэзию.

Весь дальнейший стих... — а он, увы, есть таков, каков есть, — отобразить не представилось возможным. Это не единичный случай у Раджабова, и просто хочется с досады захныкать гётевским Вагнером: «Жизнь коротка, а путь до совершенства дальний!». (Господи, что ж меня всё на композиторов кидает: то пушкинский Сальери, теперь вот гётевский Вагнер, а он у Гёте и не композитор даже совсем!) Дальний путь до совершенства — так-то так, но есть у Раджабова определенные удачи, заслуживающие публикации. Наиболее красив в строгой экономии средств, в выразительном короткостроичии, стих «Весна», открывающий подборку. Встреча с ним радостна и даже удивительна, поскольку такую дисциплину стиха у Раджабова встретишь нечасто. Близок к нему по поэтике стих, подборку завершающий, «Не скучай обо мне». Как жемчуг рассыпаны по стихам прекрасные фразы-образы, звучащие, а значит, музыкальные... . говорящие, а значит, смыслоносущие, отворяющие горизонт.

Только одно двустишие:

Ты влюбишься в безветрие свободы,
Забыв, как сон, несчастье своё.

Остальное искать и находить читателю в общении с лирикой и горьким романтизмом Тимура Раджабова.

Б. Левит-Броун

Весна

Апрельский ветер
целует крону
берёзы юной.
Нагие ветви...
немые стоны...
живые струны...

Во тьме безбрежной
уже не важно
влюблённой паре,
о чем так нежно
и так протяжно
молчат гитары.

Глазам счастливым
любовь покажет
весну без края:
не плачут ивы,
им в радость даже
вороньи граи.

Весна вернулась
букетом света,
цветов и красок.
Ты знаешь это,
ты видишь это,
но ты не счастлив.

Немое солнце
поёт лучами
для тех, кто слышит.
Ты — свет в оконце,
ты зван и чаян —
совсем не лишний,

но взглядом умным
ты смотришь мимо —
большой, серьёзный...
А ветер юный
уснул в любимых
ветвях берёзы.

Черный свет

Надень ливрею, сядь и не скандаль:
дублон, дукат — клише для дубликатов,
жизнь — одинокий в косточке миндаль.
Вразрез велениям щучьим, карасята
уснут лишь на минуту а расплата —
глубокая, утробная печаль...

С гадательной ромашки не зачах
счастливый лепесток, но дело швах,
и счастлив будешь на земле едва ли,
когда на мир глядишь из-под вуали,
и мальчики кровавые в глазах
окрепли, подросли и возмужали.

А небу — что идальго, что бандит,
как девочке с наклонностями шлюхи:
грустит луна в одном небесном ухе,
с другого — солнце весело глядит.

На этот образ — в духе ты, не в духе —
на странный и отчаянный гибрид

молись весь век, и, на коленях стоя,
(забыв, что и в коленях правды нет),
шепни тучегонителю-ковбою,
отринув недоверие пустое:
с ночного неба льётся чёрный свет,
он по ошибке назван темнотою!

Утешение

Невесело траве на сенокосе:
Сентябрь её не любит горячо...
Когда-нибудь и к нам заглянет осень,
И, улыбнувшись, тронет за плечо.

Мечтами обезличенные годы
Уйдут ко дну — уйдут в небытиё;
Ты влюбишься в безветрие свободы,
Забыв, как сон, несчастье своё.

Не верится цветам, таким игривым,
Таким свободным и таким живым,
Что даже солнце может быть фальшивым,
И через миг развеяться, как дым.

Мы чуда ждём, и смотрим всё на двери,
Как в грустные глаза плакучих ив...
Холодный ветер — сонная тетеря
Отшелестит излюбленный мотив,

И на круги своя вернётся странник,
И спросит: «Где избранница моя?
Ответьте! Это я — её избранник...»
И ты ответишь: «Здравствуй... Это я...»

Искать в осенней глухоте...

Искать в осенней глухоте
любовь — ребячество пустое,
«разнообразные не те»
у Пенелопы на постое.

Всё той же юностью искрясь,
душа — румянец и кисЕя,
лишь несмываемая грязь
легла на руки Одиссея.

Он видел земли, где блюли,
и берега, где предавали,
недеревянные рубли
и деревянные медали.

Когда вернётся Одиссей
в свою далёкую Итаку,
его приветят, как собаку,
а после — выгонят взащей

скитаться двести сорок ид,
и чтобы в прах и в пепел — Троя,
не надо родине героя,
пока герой не знаменит.

Письмо отцу

Вёсны арабской вязью сплелись в года.
Линия жизни зияет каменоломней.
Семь с половиной было тогда всего мне,
помнишь решение мудрого нарсуда,

мол, эти двое друг другу теперь никто
(будто такое под силу решать кому-то).
После — турне-путешествие по приютам...
Помню, в треухе и в тёплом чужом пальто,

бритый под ноль, ободряемый ребятнёй,
в комнату я залетел, пацанёнок-пуля:
«Папочка... па... ты приехал... не обманули!..»
Как же тогда я мечтал о тебе, родной!

Годы-кирпичики выстроились в года —
не полвосьмого уже и не восемнадцать.
Знаешь, отец, ты... я должен тебе признаться —
я ведь почти ненавидел тебя тогда!

Нынче, скользя по предзимнему хрусталу,
я улыбаюсь той радости ноябрёвой...
Как твои дети, отец? Поцелуй их!.. К слову,
знаешь, отец, я тебя всё равно люблю.

На севере юга

На юге любви, а точнее — на севере юга
не в чаще лесной потеряла меня подруга —
сказала: ты правда хороший, вздохнула шумно...
могла не заканчивать — я ведь и правда умный!

И вот потянуло полынным раздольем грусти,
но запах разлуки однажды меня отпустит,
и в шелесте дней я не стану глядеть покорно
всё то же кино, а точнее — всё то же порно.

Меняются в небе лампы — полёт нормальный,
но эхо молчания — громче мечты опальной:
любил как умел, ненавижу я тоже звонко,
и глокая куздра кудрячит в куски бокрёнка

на севере юга, где душный мороз и морок.
Кто предал однажды — разлюбит опять, и скоро
счастливец вчерашний пополнит печали стаю.
А я не люблю тебя. Я тебя так — листаю...

Не скучай обо мне ...

Не скучай обо мне,
смейся громче, когда смешно.
Лаконичное «нет»
не короче упрямых «но».

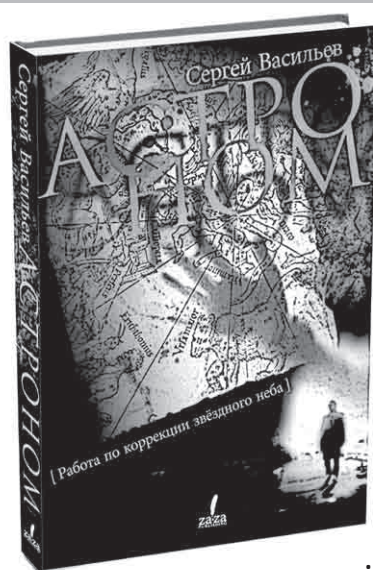
На счастливом пути
перекрёсток добра и зла —
не огонь поутих,
а костёр догорел дотла.

В речку Лету — бултых,
и улыбку — не на войне;
одиночество злых
одиночественней вдвойне.

«Се ля ви» и «ля фам»
адский хохот и бабий вой,
или что ещё там
гордо реет по-над Москвой.

Из кармана туман
вынимает не нож, а ложь.
Если хочешь — сама,
и не слушая разберёшь:

лаконичное «нет»
не упрямей коротких «но».
Не скучай обо мне.
Смейся громче, когда смешно.



«АСТРОНОМ или работа по коррекции звездного неба»

Сергея ВАСИЛЬЕВА

В этой истории переплетаются
детектив, фантастика,
ирония и текущие заботы.
Выпускнику журфака
«улыбается» удача:

...работать на новостной **ТЕЛЕКАНАЛ**...

Редактор
Е. Жмурко (Германия)

Редакционная коллегия
В. Порудоминский (Германия), Е. Крюкова (Россия), И. Дж. Курас (США)
И. Иохвидович (Германия), Б. Левит-Броун (Италия)

Редакционный совет
Евгений Витковский (Россия), Ольга Кольцова (Россия), Евгений Кольчужкин (Россия),
Леонид Зорин (Россия), Виктор Каган (Германия), Ян Паул Хинрихс (Нидерланды),
Наталия Крофтс (Австралия)

Обложка The Val Bochkov Studio © USA
Компьютерная верстка и внутренние оформление О. Гураль (Германия)

Copyright © 2013 За рубежом Задворки
ZA-ZA Verlag: www.za-za.net
Düsseldorf, Oktober 2013 — 240 s.

Гарнитура «Calibri»; кегль «12»
Отпечатано в типографиях: LULU, USA и ООО «Книга по требованию», РФ
ISBN: 978-1-291-57997-0